

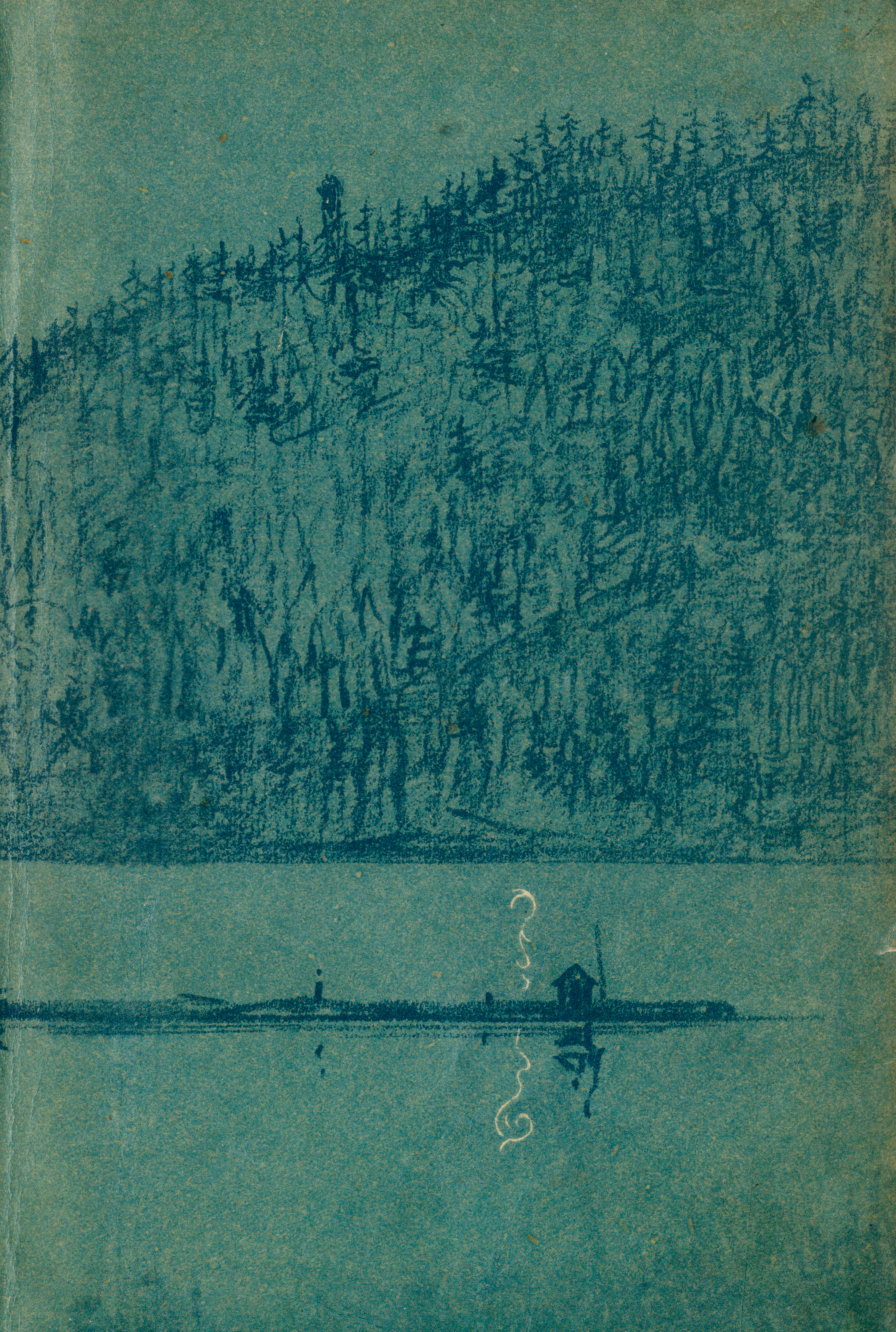
Иван Евдокимов



ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ МЕЩЕРИНА

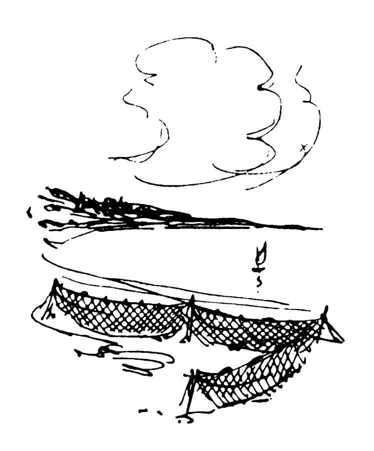
ОГИЗ · ГИХЛ · 1934





ИВАН ЕВДОКИМОВ

ПОРТРЕТ ВАСИЛИЯ МЕЩЕРИНА



ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1934

И. Евдокимов — Портрет В. Мещерина.
ГИХЛ, Москва, 1934.

*

Редактор О. Резник.
Технический редактор С. Симонов.
Художник Л. Эппле.

*

Сдано в набор 29|VIII 1933 г.
Подписано к печати 25|XII 1933 г.
Формат 82×110 1/32. Тираж 10 000
Бум. л. 6 1/4 115 328 зн. в бум. л.

*

Инд. Х-11. Огиз № 163.
Уполномоченный Главлита Б-33962.
Зак. 3396.

*

1-я Образц. тип. Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига“. Москва,
Валовая, 28.

Автобиографическая повесть некоего человека „Портрет Василия Мещерина" посвящается всем близким.

ОТЦЫ

Поля, леса, реки, паромы — и опять поля, и опять леса. Частят деревни, и редки села. Это Кирилловский тракт. От Вологды до Кириллова. Из одной губернии в другую. Желтая, кривая, похожая на суковатую палку, летняя дорога. Или иссиня-сверкающая от полозов, точно вмяты в снег широкие плоские рельсы. Дорога идет по нагорью.

Внизу справа видать, как с высокой башни, сизое, в белых кудряшках, в ворохах путаной стружки, олово Кубинского озера. Зимами это огромная молчаливая снежная впадина с чернью мужицких обозов и рыбацких дуванов.

Дон-дон-дилидон,
Загорелся кошкин дом,
Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин дом. —

кричит на всех путях и перепутьях деревенская челядь, стремглав гонясь за почтовыми парами и тройками. Чистые звуки колокольцев и россыпь ширкунцов сливаются с ребяческой задорной песенкой.

— — — — — — — — — — — — — —

По этому тракту, в восьмидесятых годах, в ноябрьскую стужу, около солнечных полудён проходила шумная орава

рекрутов. В урочное время по проселкам и тропам они вытекли на большую дорогу, оглянулись на родные медвежьи и волчьи углы, смешались деревнями и повернулись лицом к городу.

Разнодеревенских мужиков не стало. Они приняли обличье новобранцев. Мужики были провожатыми: пехтурой, верховыми, на дровнях и на санях с хмурыми бабами, с заплаканными молодками, с печальными девушками.

Отчаянная гармошка, пьяная и заунывная рекрутская песня вели новобранцев. По морозу шли споро. Будто приплясывали на легких ногах. Бабы догоняли впритруску и старались ухватиться за мужичьи кушаки и карманы. Старичьё понукало лошадей...

Федор Мещерин и старуха мать его, бабка Афанасья, как называли ее поголовно все деревенские, крепко и уверенно шагали впереди. Оба рослые, прямые, долгоногие, они точно были коноводами толпы. Мать и сын словно не замечали дороги, не обращали внимания на еле поспевающих за ними ходоков и не испытывали никакой усталости.

— Эй, журавли! — кричали со смехом однодеревенцы. — Остановись, что ли! Нешто так косяки водят?.. Бабка Афанасья, держи своего коня! Успеет еще царю угодить! Чего он наставил паруса будто под ветер! А сама ты бежишь ровно нахлестанная! Не со службы идем, а на службу! Погодят там! Эй, привáл надобно!

На коротких привалах мать и сын держались отчужденно от всех, молчали, глядели строго и сосредоточенно. Бабка Афанасья, без кровинки в лице, мрачно прислушивалась к общему пьяному балагурству новобранцев, отвертывалась от несвоевременной и невеселой пляски и явно осуждала искусственную потеху, какой пытались развлекать себя подневольные весельчаки — будущие солдаты и провожатые.

Так пришли в Вологду. Мать и сын промолчали день на постоялом дворе. Нелюдимы, не расставаясь, рука-об-руку, бродили по городу. Бабка Афанасья на ходу жевала хлеб.

Сын словно утратил в нем всякую надобность и наотрез отказался.

Бабку Афанасью не пустили за высокий забор у канцелярии воинского начальника, куда собрались новобранцы на перекличку перед отправкой.

Когда же взвыли по сю сторону забора старухи, молодки и девушки, а старики, пересиливая себя, зафыркали носами и бороды у отцов затряслись от плача, бабка Афанасья сурово огляделась вокруг и торопливо пошла прочь.

На развилке улицы, где стояли в снежном инее две-три березы, бабка Афанасья остановилась и, казалось, ни для кого незаметно утерла глаза. Мимо пробегали с санками два стремительных мальчугана. Они мельком взглянули на нее и, не замедляя бега, оба враз спросили:

— О чем, бабка, плачешь?

И сами себе ответили:

— Новобранца сдала!

— Не плачь, бабка, — сочувственно бросил один мальчик, — не у тебя у одной, — у нас всю улицу замели.

Бабке помешали. Она овладела собой. Только почему-то на этой развилке улицы, никак не похожей на деревенскую улицу, вместо двоих городских ребятишек бабка увидала целую артель деревенской озорной мелюзги. И старуха вспомнила, как часто она слышала из палисадников, из-за колодца, из-за садовых огородцев челядинное свое прозвище.

— Бабка каменная! Бабка каменная! — дразнила старуху деревенская вольница.

Бабка Афанасья устало придержалась за ветку, осыпала себя легким и летучим снегом — и вдруг жалко и одиноко улыбнулась над своей твердостью, зажмурила глаза, пошатнулась: холодный ствол березы помог ей устоять на ногах...

Вечерние станционные огни в фонарях были похожи на зажженные церковные свечи и лампады по большим праздникам. Так же походила на иконостас стеклянная вокзальная стена, отражающая огни. Бабка Афанасья нигде больше не

видала столько света. Поезд с новобранцами стоял у платформы.

Мать и сын молча глядели друг на друга, часто глаза их косило в стороны, точно новобранцу и провожатой непременно хотелось для чего-то запомнить это вокзальное освещение или они желали, чтобы оно потухло и не мешало им скрывать тяжелые чувства расставания.

Федор Мещерин уехал с сухими глазами под бабий вой и стенания, раздававшиеся на каждом вершке переполненной народом платформы. Бабка Афанасья прижалась к сыну в прощальном объятии, не дрогнула, не обессилела, а только сказала:

— Н-ну... слава... богу... Пора... Долго копались...

Старуха не стала дожидаться, покуда скроется в ночь, за поворотом, красный фонарь у последнего вагона. Она, чуть горбясь, протолкалась сквозь сиротски рыдавшую толпу и постаралась не встретиться в городе со своими деревенскими.

Бабка Афанасья заглянула на ночевку, взяла свой мешок — вместе с сыном успела закупить ситцу для дочерей — и, не откладывая, двинулась домой.

Так глухой и холодной, но лунной ночью бабка Афанасья медленно и разбито шла в свое Котлово, а сын в те же бессонные часы не отходил от вагонного окна и тоскливо глядел на луну, сопровождавшую поезд.

Луна не дала спать и третьему человеку в эту ночь.

О поле с Котловым под невысокой горкой, точно на корточках, низко присела рыбацкая деревушка Пряхино. Семь крылатых ветряных мельниц выстроились в ряд.

Мельницы махали над Пряхиным своими темными скрипучими крестами. Казалось, мельницы не просто мололи ржаное и овсяное зерно, а были какими-то неназванными машинами, благодаря работе которых деревушка Пряхино, гора, вся земля вокруг не стояли на месте, а куда-то безвестно плыли.

Дочка мельника Вьюркова Марьюшка, выплакав все слезы,

окаменело приподнялась с лавки и оперлась локтем на подоконник.

В маленькое оконце, залитое лунным половодьем, Марьюшка не отрываясь глядела на мельницы.

Она еще никогда не видала их такими странными и страшными. Мельницы явственно жили своей особой и таинственной жизнью. Ветер гнал по небу морозную паутинку облаков. Высветленное, точно все в разводах от наждачной шкурки, расплавленное ядро луны дрожало за облаками и качалось из стороны в сторону подобно мячу на волнах. Ветер яростно дул и словно мог погасить луну, он уже разделался с тяжелыми облаками, истончив их до рваной кисейки, колеблемой с легкостью тающего дыма. Мельницы сумасшедше вертелись.

Марьюшке показалось, что они накренились на один бок, еще стоят, еще сопротивляются ветру, но уже недалек тот последний срок, когда мельницы оторвутся от земли и полетят над ней. В сознании Марьюшки причудливо возникло желание полететь вместе с ними, оставить это сонное, мертвое, выбеленное снегом и месяцем Пряхино. Деревня представилась такой же страшной, как эти ночные, безумолочно движущиеся и шатающиеся мельницы.

Марьюшка закрыла глаза. И вспомнила. В последние дни перед бабьим летом котловские молодцы нагрянули в Пряхино с большой поздиной. В Пряхине была гулянка. Но котловане где-то пропадали целый день. Пришли они под сильным хмельком.

И сразу не поладили с анфаловскими и чебоксарскими ребятами.

Посреди деревни под разноголосый рев гармошек шла плясовая топотня. Славились анфаловские плясуны, перенявшие от дедов и отцов залихватское умение выделывать ногами помрачительные кренделя.

Помещик Кожин, прежде владевший Анфаловым, был помешан на хороводах и танцах. Он обучил всех своих кре-

постных плясать. Гонял их целой деревней на ярмарки и устраивал там плясовые балаганы. По праздникам объезжал с плясунами уездные усадьбы и сельские сборища. Самовольно плясали даже на монастырских помочах, а сеяли и жали в свободное время. Кожин наряжал плясунов в разноцветные рубахи и поддевки. В усадьбе, называемой „Плясовая“, огромный амбар хранил несколько сотен „перемен“ для плясунов. Костюмы висели вгустую на вешалках. Над каждым был свой номер. Кожин тридцать лет заготовлял плясунье шитье, покуда как-то не нашли помещика в амбаре с петлей на шее, подтянутого чьими-то старательными руками к самой крыше, к средней перекладинке. Так он и болтался в виде черного обрубка, схожего по толщине с мельничным валом, над всеми своими плясовыми богатствами.

Помещик отплясал, мужики пустились отдыхать, но выучки не забыли, вспоминали старинку и не оставили наследников в одном мужичьем звании.

Анфаловские покоряли пряхинских девок таким молодецким топотом, присядками и скачками, что для других деревень словно бы девок не оставалось.

Чебоксарские были подстать анфаловским весельчакам — первостатейные гармонные игруны. Чебоксары и Анфалово — обе деревни рядом: одна на этой опушке во̀лока, а другая — на той, за полторы версты. Может, и чебоксарских обучил управляться с клапанами и го́леницами гармошек свой Кожин. Но об этом говорилось вскользь.

Зависть, со стороны мало чем примечательных рыбаков котлован, к мастерам плясового и тальяночного дела послужила к обоюдному несогласию. Бурные кубинские пучины, по которым плавали на пятериках-парусниках котловане будто по тихой воде коровьего пруда, приучили их к отчаянной бесшабашности и к дерзкому нраву.

В самый разгар плясовой кучка анфаловцев с румяными лицами, словно за день напекло им щеки солнце, в поту

и задышке, красуясь, пошла кружком один за другим. В серединке крутился веретеном в красной рубахе большак и голова плясунов, а чебоксарские ускоряли и ускоряли бег пальцев по гармонным клапанам. Тогда Федька Мещерин оглушительно свистнул, как свистел еще мальчишкой на конвей в ночном, сунув два пальца в рот.

Только этого свиста и ждали завистники. Пряхинская челядь поддержала свист. Пятеро котловских сделали анфаловским подножки, шестой пнул из-под низу в гармонь чебоксарца — и пошло...

Девки взвизгнули и кинулись разнимать. Плясуны и гармонщики удали бесталанным, но ядреным рыбакам. На деревенской улице скоро остались оторванные планки гармоний, растоптанной ширмочкой покоилась в пыли целая тальянка, алели клочки чьей-то красной рубахи, как змеи изогнулись несколько разноцветных поясов, и оказался один некрепкий каблук.

Победители преследовали побежденных с такими воплями, что они слышались далеко из поля. Пряхинские девки выбежали за деревенскую околицу, ругали вдогонку и тех и этих, досадуя о расстроенной гулянке.

Марьюшка Вьюркова не без причин отмалчивалась и сторонилась девок. И не убереглась. На нее прямо разогнался целый табун крикливых и разгневанных подруг. Они враз зашумели:

— Это все твой шалый Федька! Который раз, окаянный, путает веселье! Драчун и свистун! Несчастный заводила! Котловский атаман! Хоть бы забрили немилокрового поскорее в солдаты! Всю округу баламутит! Гуляй с ним, дура, одна, а мы от него за тридевять земель! Не станем, не станем принимать на посиденки! Пускай окошки бьет, пускай перегороды ломает! Как он в избу, мы подушки с козелками подмышку — и на другой двор! А то, девоньки, все на него накинемся и закидаем его чем попало! Осрамим. Тогда, может, остепенится! Девок станет бить, мужики нас не дадут и про-

учат его всей деревней! Ишь, какую власть забрал над разнодеревенскими молодцами!

Марьюшка не перечила и не оправдывала своего дролю. Девки, негодуя и фыркая, бросили ее за околицей. Они еще долго кричали в деревне, покуда Марьюшка виновато стояла у огорода и растерянно теребила ленту в косе.

А потом недостало сил бранить Федьку и уйти от него, когда он смущенно возвратился. Под отцовской мельницей, в кустах, выследив, как отец засыпал на ночь зерно в жернова и ушел спать в деревню, Марьюшка крепко и долго обнимала буяна Федьку с расцарапанным носом и подбитым глазом. Федька ревновал и дрался. И Федьку нельзя было не любить.

Около полуночи Марьюшка осторожно пролезла в узенькую щелку ворот на назьму к корове, чтобы не скрипеть в трескучем и гулком тесовом крылечке и не разбудить ворчливых стариков родителей. С этой гулянки Марьюшка понесла плод.

За бабьим летом сразу ударили ранние дожди, заморозки, навалились осенние работы, котловане брали осеннюю путину и мерзли на озере и денно и нощно. Потом подоспел набор. Марьюшка и Федька встречались урывками, наспех, на ходу.

Федьку забрили. Только последнюю гулянную неделю Федька не покидал Пряхино.

Тогда-то и грянула беда. Соседи закачали головами и с подозрением насторожились. Федька за пять суток перед отправкой, хлебнув через край для смелости, посватался. Мельник Степан Вьюрков сперва остолбенел, а потом даже захохотал, а через минуту обиделся на весь свет.

— Мы не купцы, и товар у нас не продажной, Федор Степанович, — насмешливо и с злобинкой забормотал мельник, — сватовство твое... без ума. Ты эт что же моей девке срам делашь? Кто это берет бабу в избу... на слезы и разлуку... без медового месяца? Молодку свекрови в кабалу, а

сам на царскую службу, на четыре, на пять годов? Побывками молоду жену хошь натешить! Да и подумал ты сналету, Федор Степанович, об этом самом с пьяных глаз. Марьюшка моя... ровно бы... не пара тебе!

— Наотрез?! — крикнул, в ярости сжимая кулаки, жених.

— Наотрез.

— Жалеть будешь! — грозил Федька.

— Не буду! — вопил мельник.

— Остерегись, Степан!

— Не угрозишь! — упорствовал мельник. — Отворачивай по-добру по-здорову. Ворота наши для тебя закрытые.

— Нет, не закрытые, а открытые!

— Чего? — побелел старик, трясясь и в свою очередь наступая на сватуна.

— А ничего! — не сошел с места Федька. — Самоходкой уведу!

— Я вот как тебя по роже-то помелом! — взвыла мельничиха Аграфена и рывком схватила помело. — С глаз наших долой, пьяница, отрепок, солдатишко несчастной! Аль похваляешься худым делом? Бесчестишь девку! Аль поддалась тебе наша Марьюшка? Славу худую думашь пустить, так и уведешь жену?!

— Молчи-и, дура! — бешено топнул ногой мельник. — Что-о ты неладное бормочешь, окаянная!

Федька молча повернулся, хлопнул дверью, и старики услышали, как он стремительно побежал, громыхая сапогами, по разговорчивой крылечной лесенке.

— Гольтепа! — плюнул мельник вслед. — Нищий Афанасьин выкормок! По-миру не по-миру ходят, а, поди, рады бы собирать куски! Пятеро суток на неделе пробавляются крестами заместо хлеба, а к нам, людям им не чета, в родню лезут! Тьфу!

— Охальник! — подхватила Аграфена. — Спьяна негодяй дебоширство делает! Нашу Марьюшку, видишь ли, облюбовал! Обрадеет она, гляди!

Старуха язвительно засмеялась. Мельник, однако, серьезно насупился, долго смотрел на жену, мялся и, наконец, в колебании спросил:

— А чего это он, Аграфена, больно смел? Не пойму... Чего эт он угрожался?

Мельник не спускал глаз со старухи.

— Может, Марьюшка...

— Чего Марьюшка? — в свой черед подозрительно заколебалась мать. — Аль ты слыхал... нехорошее?

Мельник отер потный лоб и тяжело вздохнул.

— Слыхом не слыхал, видом не видал, — мрачно протянул старик и опять уставился на жену пронзительным недоверчивым взглядом. — Мы... ведь... мужики узнаем... обо всем... опосля...

Вдруг Аграфена горько и обиженно заплакала, швырнула помело в угол и беспомощно опустилась на лавку.

— Матушки! Батюшки! — всхлипывала старуха. — Родной отец в чистом дитяти своем червоточину углядел. Беда мне...

— Дура, я не углядел! Чегой ты пустое вякаешь?

— Не углядел, так впал в сумление! Степан, да ты рехнулся? Давеча меня одернул, а нынче сам ляпнул... Как язык только не отсохнул! Марюшка... наша славнуха... и, накося... не соблюла себя... Ой, ой, горе мне!.. Стены услышат, и те ужаснутся...

— Затвори рот втулкой! — крикнул мельник. — Я ж не на людях, а тебе одной помысл поведал! Нишкни выть! Люди добрые не увидели б! Полезай на печь за трубаки и уливайся там!

Старик крутил в избе и не находил покойного места. Часы-ходики хрипло проскрежетали недалекое время перед павжной. Мельник прослушал их скорый бой. В избе было оставаться невмоготу. Встревоженное сердце гнало в уединение, чтобы можно было вдуматься во все, разобраться без всякой помехи от других, угадать неизвестное и не подчиниться ему.

Степан поспешно натянул шубу. Он уже взялся за дверную скобу. И тут в отчаянном испуге хватился дочери, как будто он только что вспомнил об ее отсутствии.

— Где девка? — жадно воззвал мельник.

Аграфена подняла заплаканное лицо и, морщась, сердито выкрикнула:

— Где, где, недовера?! Борода до пупа, а как маленькой! Девка плетет кружева в задней избе. Небось, не уведут! Самокруток у нас не быват в роду!

Мельник испытал удовлетворение, но с притворным недовольством бросил:

— Не бреши языком, старбень, пустяки! — И ступив за двери, наставительно заключил: — Поглядывай за девкой! С тебя спрошу! Сундуки с приданым на запор! Ключ мне ужо отдашь... на сохраненье. А его... Федьку... боле не пущать в дом!

Мельник вернулся из крыльца, заглянул в заднюю избу, удостоверился, что Марьюшка действительно находилась там одна, и хотя кружев не плела, но стояла у окошка и для чего-то ковыряла пальцем пушистый иней на стекле.

Марьюшка, вздрогнув, обернулась на скрип двери. Мельник заметил ее испуг и осторожно прикрыл тяжелое полотнище. Марьюшка наблюдала, как отец сосредоточенно и не спеша отправился вдоль улицы в поле.

Едва он исчез, Марьюшка так покраснела, что огненного ее лица испугалась сама виновница этого смущения. Мать почти вбежала в избу, молча толкнула дочь на лавку и требовательно приказала:

— Ложись на спину! Вытяни ноги!

Красная и потрясенная Марьюшка безвольно исполнила все, чего хотела мать. Девушка только схватилась остерегающими руками за юбку, когда старуха хотела закинуть ее на грудь.

— Опусти, — зашипела в гневе мать, — живехонько опусти, покуда никого нет, я должна удостовериться в тебе.

Марьюшка зарыдала и ослабела. Старуха открыла белый и пухлый живот, ловко и быстро выщупала его, набросила опять юбчонку, посадила дочь на лавку, уселась рядом и с плачем обняла обиженную. Обе женщины враз начали всхлипывать.

— А я-то думала — бяда, — лепетала довольно мать, — а ну как ты согрешила?.. Отец-то убьет тоды... От деревенских-то срам какой! В могилу он сведет... И надавало этого Федьку на нашу голову... И пошто ты его полюбила?.. И што ты в нем хорошего нашла?.. Рваной середыш! Род-то их весь по-дурацки гордячий и озорной. Нищенствуют, и ничегошеньки в хозяйстве нету. Не женихи, а обида всякому мало-мальски исправному дому, чуть они со сватами покажутся.

Мать долго и любовно допытывалась от Марьюшки, как и где и когда она гуляла с Федькой, просила у ней прощения и оправдывалась перед дочерью.

— Так-то лучше, я ж мать тебе, у нас между собой все и скрыто, — шептала в самое лицо потная и горячая Аграфена, — на мать и сердца не бывает. Я для тебя. Отец с ума может сойти. Слава для него — лучше в петлю. Ты ж знашь, какой у тебя батько! Он захочет похвалиться и худую славу про тебя втоптать в землю, возьмет да и велит чужим старухам подол тебе загинать. С него станет. А я теперь и поручусь.

— Поручись!.. — рыдала Марьюшка.

— И самоходкой не уйдешь?

— Не уйду.

— Мыслимо ли это на горе-злосчастье, зажамши очи, итти! В пекло к этой свекрови Афанасье. К золовкам. Ему ночка одна потеха, потом его в солдаты, как шар по дороге покатят, обратно не поворотишь. Может, война будет. Может, он из солдатов и не воротится. А ты не мужья жена, а навек солдатка-вдова. Чтой тебе слаще гнуть спину в чужом поле, а не в отцовском?

Когда Марьюшка перестала плакать, старуха ей уже сулила неизбежное счастье в будущем.

— Ты погодь, печали не поддавайся. Тебе приглянется другой какой-нибудь молодец, фасонистой, умной, не пьяница и с зажитком. Нам ро́вню надобно.

И старуха обольщала дочь, не встречая у нее сочувствия хулам Федьке и всему Федькину роду.

— А уж коли не вытравишь Федьку из сердца, четыре годика его не забудешь — судьба. Тоды и отец согласье дас. И не люб, а дас. Мы Федьку в дом возьмем. Своего-то у него никогда не будет. Сестреницы растащат по замужествам и последние тряпочки. В одних гнилых стенах не проживешь, не поцарствуешь. А у нас Федька будет с отцом на мельнице молоть. После нас и заступите в полные хозяева.

Но все это повернулось не так, как хотела Аграфена.

В канун отправки Федька выследил, как Марьюшка шмыгнула к соседке-подруге. Марьюшка сидела последние дни взаперти. Мельник уверился, что теперь-то уж, когда осталось Федьке проспать одну последнюю ночь в Котлове, Марьюшка была отбита от неприятного жениха. Марьюшку спокойно выпустили.

Федька просил и молил Марьюшку. Подруга пожалела их и оставила ненадолго в избе одних, неся верную сторо́жу.

Отец не ошибся. Марьюшка осталась у родителей. Федька раньше времени прошел мимо удивленной подружки на страже и даже не попрощался с ней.

— Не хнычь, — уверенно тормошила подружка Марьюшку. — Что он спятил — вести тебя самоходкой в кабалу к своей матери! Эт лучше прямо на кладбище. Где это видано, чтоб молодая слезами уливалась в перву же ночь? Перестань, Марья. Семя мы его вытравим! Я тебе говорю — вытравим!

...Марьюшка просидела до утра, следя за обезумевшими от ветра мельницами.

В те же часы, измученный вагонной тряской, полузасыпая, Федор Мещерин отчетливо видел пряхинские мельницы, кусты за ними, отряхивающуюся Марьюшку и почему-то лиловую усатую бородавку репья у нее на плече. Мещерин просыпался и замечал, что пальцы на правой руке у него шевелились: это он во сне осторожно и бережно снимал репей с голубого платья Марьюшки, как сделал тогда.

Мельник со своей мельничихой почти без тревог заглядывали в будущее. В потаенном углу на полатях, где старики спали по привычке, нажитой за сорок лет супружества, они усмехались над опасным сватовством Федьки Мещерина.

Все обошлось легко и просто: Марьюшка уцелела и даже начала со средины зимы добреть. Щеки ее наливались розовым подкожным соком и пополнели.

Меж тем на адрес Марьюшкиной подружки приходили нечастые солдатские письма, похожие одно на другое, как голуби, прикормленные Марьюшкой с лета, ворковавшие и топотавшие в крыльце неразличимой стайкой.

А в рождественскую ночь, в церкви, в сожженном лампадами и свечами воздухе, вдруг Марьюшка неловко схватилась за начищенный, как лемех у плуга, приземистый и широкодонный подсвечник. Она непривычно пошатнулась. Лязгнул и дрогнул подсвечник. Оба, однако, устояли. Мать уже придержала дочь.

— Жарища, — расслабленно шепнула Марьюшка, — я на паперть. Отдышусь. А то и домой...

— Пошто домой-то, — ответила старуха, — обедню отстоять надобно. Люди осудят. Парням подстать в сторожке проводить время заместо молитвы, а девушке нехорошо бегать от бога.

Марьюшка, пряча глаза в пол, с трудом пробилась на паперть. И тогда еще раз, вдвое сильнее и требовательнее, ребенок в животе толкнул ножкой.

Это движение живого существа, скрытого в таинственной утробе, было так ново и необычайно, что Марьюшка широко и удивленно раскрыла глаза.

Ребенок успокоился и перестал лягаться. Марьюшка вышла на тихий церковный двор.

Рождество было с гнильцой. Вчера, в сочельник хлестал настоящий дождь, какой бывает после летних гроз, только холодный, как в позднюю осень, смешанный с крупой. Сегодня подморозило. Но легкий ветерок-поперечник, дующий из-за озерья, — он всегда теплый, — был как-то не по-зимнему мягок и как будто пушист, точно лица касались заячьей лапкой. Небо чистое, словно разглаженное, без единой облачной морщинки, закиданное звездами в густоту и чащину, светлело перед рассветным часом.

Марьюшка прижалась к стене. Девушке казалось, что без подпорки она должна была непременно упасть. Но прошло несколько минут, и Марьюшка почувствовала полное освобождение. Голова ее прояснела, дыхание улеглось. Марьюшка, крадучись, осмотрелась. Никого вокруг не было. Она решилась дотронуться до живота и даже надавила то место, откуда подавал непонятные знаки ребенок. Ничего не произошло. И вдруг Марьюшка пережила радость, что теперь она не одна, с ней попрежнему Федька Мещерин, который напоминал о себе и звал ее.

Радость ее была так глубока, что неожиданно даже окружающие могилы с полузанесенными крестами показались ей уютными, добрыми и нисколько не страшными. А всего милее и дороже было Марьюшке, что в ней жило неиспорченное семя. Значит, она ему не повредила, вытравляя всю осень и зиму распаренной ромашкой, горькими травами, жаркой баней.

Сморщенная и растрескавшаяся, как земля в засуху, бабка-повитуха и ворожея в Анфалове, у которой неузнанно никем была Марьюшка с подружкой, напрасно заговаривала зачахнуть плод, будто яблочко-падунец. Без пользы пры-

гала Марьюшка в снег с сеновала и кувыркалась через голову на дорожном распутьи.

Марьюшка примиренно и бодро возвратилась к матери, отстояла обедню и на обратном пути затормошила старуху ласковым заигрыванием. В темном крыльце избы, едва Марьюшка оступилась, ребенок снова начал бить ножкой. Но теперь уж он не испугал. Марьюшка так звонко засмеялась в ответ, что беспричинно поддержала ее и мать, хотя потом и спросила:

— Ты чтой это так... в колокольчики? Ровно во сне смеешься?

— Не знаю, — залилась снова Марьюшка, — сама не знаю отчего... а весело, будто раньше и не умела радоваться.

— Ну, ну, радуйся на здоровье! — довольно сказала мать.

— — — — — — — — — — — — — — —

В Вологду на январскую ярмарку пряхинские девки пошли спозаранок. Деньги на ситцевые и сарафанные покупки готовили от ярмарки до ярмарки. Плели кружева. Весь последний месяц работали особенно налòжно, не досыпали, не доедали, откладывали даже с церковного блюда. Приходский поп так и знал, что в декабре пожива будет не в пример другим месяцам. Девки обходили угодников и угодниц, ставя копеечные свечи вместо пятикопеечных, а на блюдо совали полушки.

Глубоким вечером в ярмарочное подторжье, едва переставляя затекшие ноги от сорокаверстной дороги, девки прибрели на знакомый постоялый двор. Он уже был набит людьми. Но невзыскательные ночевальщики — и те и эти — внавалку, друг на друге, на полу, на лавках, на печках кое-как разместились. Ходили по надобности, перешагивая через спящих, наступали на ноги, на руки, на окутку. Постояльщики отличались редкой понятливостью и выносливостью.

Гудит, звенит, полощется флагами развеселая ярмарка. Город утопает в мужиках и бабах. Мохнатая полушубочная, заячья, овечья и волчья деревня заполонила ярмарочные

улицы и площади. Горожанин вылезает из толпы как редкая невидаль. А всех их хватит на один подгородный цыганский табор. Город в тесноте от каруселей, балаганов, дощаных палаток, лавок, розвалов с товарами...

Пряхинские девки с утра растирали натруженные ноги, а с полуден разбрелись по торговым рядам.

Марьюшки хватились на ночевке поздним вечером, после запора ярмарки. Ждали-ждали, выбегали к воротам, глядели в отпотелые окна, протирая их рукавами. Где ее искать в городе? Подружка беспокоилась больше всех, то-и-дело охала, разговаривала о Марьюшке, проглядела глаза, не отходила от окон и от ворот.

Подружка вернулась с ярмарки позже всех, только этого никто не заметил, как не заметили и ее узла с ситцами, вдвое большего, чем у других, — то Марьюшка посылала своим старикам ярмарочные гостинцы.

Пряхинские девки переспали еще ночь, пробродили новый ярмарочный день и, малость передохнув на постоялом, с девичьей бойкостью шага вышли на Кирилловский тракт.

Утрата подруги занимала их всю дорогу. Еще не доходя до Пряхина, девки распустили молву о пропаже мельниковой дочки. С каждым знакомым встречным останавливались на перепутьи и судачили.

Пряхино всколыхнулось в ту же минуту, как девки разошлись по своим избам. От двора к двору побежали мальчишки, торопливые бабы-кумушки, вразвалку пошли к соседям отцы и деды.

Марьюшкина подружка сунула свои покупки в избу и с оставшимся узелком шмыгнула к Вьюрковым.

Мельник с мельничихой враз заплакали.

— А и зря, — решительно сказала подружка, — ребеночек у нее на пятом месяце. В деревне-то стыд — заели бы, захулили бы! А в Питере глаз деревенских нет. А в Питере двоюродная тетка Анисья живет. Марьюшка к ней на гостины поехала...

— Кто ж поверит! — воскликнула отчаянно мать. — Как это так... собралась вдруг... и поехала... а деревенские и не знали?..

— Знали, не знали, — пренебрежительно протянула подружка, — никто брюха у Марьюшки не видал. Пускай что хошь думают. Мало ль про кого языки сучат! Скрепитесь — вот и все. Виду не подавайте. Шито-крыто. Эт для Марьюшки надо. А разнюнитесь — всякому веселье, а вам одним напасть... и хула. Марьюшка ладно сделала.

На двор к Вьюрковым, как ни хотелось бабам, да неловко, послали с разведкой одну старушонку-бобылку только к вечеру. Старая клюка пришла с солоницей займовать соли.

— Вся вышла до капельки, — шамкнула бабка, обводя избу ищущими глазками, — а без соли как же! Мальчонка соседкина пошлю поутру к лавочнику в Анфалово. Отдам. Ссудите покеда.

— Ссудим, ссудим, — весело ответил мельник и вдруг, огорашивая разведчицу, громко засмеялся до слез в глазах и похлопал старуху по спине. — Ах, греховодница! Соли у тебя, поди, запасена мера! Ка-ак подкатилась! Про Марьюшку тебя подослали узнать?..

Бабка притворно начала отмахиваться руками и отступила назад.

Старики Вьюрковы вняли уговорам Марьюшкиной подружки и уже подготовились к неизбежному деревенскому любопытству.

— Не вышло, не вышло, хитрюга, — продолжал насмешливо зудить мельник, — а о Марьюшке скажу точь-в-точь. Шум в деревне сделали! Питерскую нашу сродственницу Анисью упамятовала? Ха-ха! Племянницу повидать тетке охота, а племяннице — людей добрых, столичных...

Бобылка согласно, хотя и с большой недоверчинкой, кивала головой-трясуньей. Мельник крепко стоял посередь избы, важно подперев руки в боки.

— Марьюшке-то, — шептала старательно Аграфена, — тег-

ка Анисья все свое добро по себе на память отказывает... Так и в письме писала.

— Эт хорошо, эт славно, — радовалась вместе с Аграфеной бабка-дряхлуха, — сундучок-то с приданым и крышкой не придавишь... Полным-полно...

Не верили, сомневались, пересмешничали за спиной, осаждали подружку Марьюшки с допытками, но правды не узнали...

— Глашь, а Глашь, так ли? Чего ты в укрытки играешь? Нанялась, что ль?

Бойкая и озорная Глаша гнала вон непоседливое бабье.

— Вам бы хотелось, дуры, — кричала она во весь голос, — дегтем ворота Марьюшке вымазать! Да не придется! Да не за что! Взяли тоже корысть — славу худую пускать про девушек! Снаряжайте вскладчину ходока в Питер! Я вам адресок дам. Пущай выглядит и привезет вам желанную весточку!

Глаша поддерживала стариков Вьюрковых.

— — — — — — — — — — — — — — —

До побега Марьюшки бабка Афанасья знала столько же о сыновнем грехе, сколько и другие, — Федька не обмолвился даже словом. Теперь бабка Афанасья все поняла. Она наткнулась где-то в поле на Глашу и, хоронясь от людей, тихонько спросила:

— На каком месяце Марьюшка?

— Родит, когда черемуха зацветет, — сразу же ответила та.

Бабка Афанасья задумалась, что-то подсчитывала в уме, потом внезапно ласковая улыбка осветила ее строгое лицо, как будто на него навели зеркальце, отражающее солнечный луч.

— Занеси мне адрес. Я Марьюшке подготовлю одеяльце и новины. Пошлю ко времени подарок внучонку али внучке.

Бабка Афанасья отошла было и вернулась снова.

— А те-то, — спросила она серьезно (Глаша поняла, что это Вьюрковы), — в заботе? Али больше в сердцах?

— Отмякают, — усмехнулась Глаша, — тихо, а росток есть.

— И на росточке спасибо. С собой богатство унесут. Пожалуй, не дочке завещают, а соседу мельнику в закрома. У того, поди, всегда свободный заготовлен. Карахтерные! Федька не люб, а обидел. Ничего. Обыграются!

...Тетка Анисья давно променяла родину на Нарвскую заставу. Двоюродная племянница была тетке как любая встречная девушка на улице. Марьюшку приветили на один день. Тесный и сырой подвал, точно долго валявшийся на дворе и протухший под дождями дырявый ящик, переполняло несколько семей. Жилец многодетный, нищий, крикливый и хмельной не был расположен к мягкосердечию и лишнему стеснению.

— Да-а, — откровенно сказал муж тетки, кондуктор на товарных поездах Николаевской железной дороги, — у нас, сама видишь, не жилье, а настоящий пакгауз на перегрузочной... Где тут тебе рожать... на постоялом дворе? — Он осудительно и нехорошо усмехнулся. — Больно далеко заехала. Зря. Стыдиться, подумаешь, бабьего дела. В Пряхине куда б было вольготнее! Зря истратилась на дорогу. — Он нахмурился и резко спросил: — Деньги у тебя на прожитье есть?

Но тут вмешалась тетка.

— Какие разговоры! — пренебрежительно воскликнула она. — В такую даль с пустыми карманами кто же кинется. Нам нет дела до ее денег, а только жить у нас негде.

Марьюшка с ужасом озиралась в клетушке, из которой ее выгоняли. Там, за ржавыми решетчатыми окнами подвала открывались просторы светлых и веселых улиц. Но там не было ни одного знакомого человека. Там пугал каждый камень. Там жили какие-то чужаки, казавшиеся еще более враждебными, чем откровенные и бесхитростные родственники.

— Ничего, ты не бойся, — смягчилась тетка. — Я тебя нынче не гоню. Куда ты пойдешь такая — безъязыкая? Я тебя сначала научу ходить по городу. Завтра с утра мы с тобой пойдем и поищем квартирку. Тебе немного и надо.

Угол найдем. На боку в Питере не належишь. Таких тут лежунов раз-два — и обчелся. Покуда еще не барыня! Место тебе надо получить в прислуги или в прачки, или в поломойки...

Тетка Анисья действительно помогла.

— Ты ее поскорее выпроваживай, — недовольно шептал ночью муж: — лишний рот. Деньги с нее брать стыдно: по-деревенски родственница, а и кормить — зарез. Самим не хватает.

Через улицу от тетки в таком же подвале сняли проходной угол у молоденькой бабенки с двумя ребятишками, вдовы, домашней прачки.

— Вот квартира, — с явной симпатией к розовощекой жилице засмеялась хозяйка: — и ночлег и работа. Может, и деньги за половицу на полу не придется платить: отработаешь стиркой.

Тетка Анисья была довольна освобождением от хлопот.

— Гляди, Марьюшка, как устроилась! Третьеводни приехала — и уже самостоятельная питерячка. В гости будем друг к другу ходить. Живи всласть!

Было условлено, чтобы до поры, до времени Марьюшка никому не говорила о своей тягости.

— Никуда на место не возьмут и на квартиру не пустят, — предупредила опытная тетка: — ты с поклажей всем обуза! Скрывайся от людей. Торопись прикрепиться к городу покрепче, а там привыкнешь, все и обойдется. Ты не наособицу. Нас тут, баб, кто нагулял с ветру ребят, — тысячи тысяч. Одна опростается, а другая опять с закладом.

Тетка Анисья через день-другой забежала к Марьюшке в самом возбужденном и торопливом состоянии.

— Скорей, скорей, — подняла она Марьюшку на ноги, — принарядись. Я тебе место в приходящие прислуги нашла. К одному вдовому барину. У него двое балбесов лет по шестнадцати, по семнадцати. Учатся. Барин две комнаты снимает. У настоящих хозяев прислуга на кухне спит, а

тебе места нет. Ты на ночь домой. И готовить не надо. Комнаты убирать. Самовар ставить. Стирать. И за обедом в ресторан ходить. Умна будешь, не все к столу подашь. Кроме объедков от барина — лучший кусок останется.

Марьюшка начала служить. Бывалая хозяйская прислуга почуяла в красивой и приветливой деревенщине соперницу. К ней уже приглядывалась хозяйка. Не прошло недели, как однажды Марьюшку перед самым ее уходом домой недоброжелательно окружили на кухне все жильцы квартиры. Марьюшка с недоумением взглянула на злые, затаенные лица знакомых людей.

От непривычного внимания к себе она покраснела, как поздняя спелая кисть рябины.

— Где твоя кофта? — строго спросил старый барин. — Покажи!

Вместе с Марьюшкой люди передвинулись из кухни в прихожую. Марьюшка в тревоге потрогала рукав ватной неуклюжей кофты.

— Ага! — торжествующе надулся барин. — Она сразу берется за нужное место!

— Ты воровка! — оглушительно взвизгнула хозяйская прислуга. — Я второй год живу у господ... На меня могли подумать. Как тебе не стыдно! А на личико глянуть — загляденье. Простота и милота! Вот вы какие ласковые да аккуратненькие простушки!

— Н-не ожидал! — развел возмущенно руками старый барин. — Никак не ожидал. Я был совершенно спокоен за вещи! И вдруг... золотые часы исчезли!

Только тут Марьюшка поняла, в чем ее обвиняли. Перед обедом пропали часы со столика. Перерыли всю квартиру. Марьюшка лазила под кровати, под диваны, переставляла шкапы. Она делала это с такой заботой и усердием, так сочувствовала горю старого барина, что, казалось, не могло пасть на нее никакого подозрения.

Вечером Марьюшка ходила на угол за газетами. Пропавшие

часы перестали искать. Как будто все о них забыли. И вдруг...

— Я часов не брала, — захлебываясь, дрожа от оскорбления и с перепуга, сказала Марьюшка.

— А это что? Не часы? — резко и в полном неистовстве выкрикнула хозяйская прислуга, сорвала кофту с вешалки, выворотила рукав наизнанку и, поднося к глазам каждого, показывала золотое колечко часов, торчавшее из подкладки.— То ли не гнездышко сделала! Кому придет в голову искать тут? Подпорола испод кармашком. И бариновы часы в ватку... чтобы не тикали громко. Не хватает пуговку пришить. Видно, не успела!

Все люди зловеще молчали и ненавидели хитроумную Марьюшку.

— Д-да, работа! — поморщился от отвращения барин. — Чисто! Весьма предусмотрительно! И... даже тонко проведена операция!

— Это она мне подсунула! — неожиданно просияла от своей догадки Марьюшка, уверенная, что ее сейчас поймут и не будут больше незаслуженно обвинять. — Что я ей сделала? За что она меня бесчестит? Я в воровках не бывала.

— Я?! — возопила хозяйская прислуга и с плачем и визгом вцепилась в волосы не ожидавшей нападения Марьюшки и начала ее таскать по прихожей. — Я... я... я... я тебя в полицию отправлю! Я тебя в тюрьму засажу! Не у меня нашли, а у тебя! Ты с больной головы на здоровую!

Часы уже были вынуты из подкладки, возвращены владельцу, а кофта брошена на пол. Потасовка надоела господам.

— Стеша, — приказала хозяйка своей прислуге,—прекрати это безобразие! Во-он! — показала она пальцем на дверь расцарапанной в кровь Марьюшке.

— А как же в полицию, барыня? — тяжело дыша, точно в необоримом страхе, что воровка благополучно и безнаказанно уйдет, с полной готовностью не пожалеть своих, за

день уставших ног, сказала Стеша. — Я живо приведу городового! А, барыня?..

— Связываться! — брезгливо поморщился старый барин. — Просто гони ее... в шею! К чорту!

Сигнал был дан. Стеша снова обрушилась на Марьюшку и выгнала ее в толчки на лестницу. Потом стремительно вернулась в прихожую, подняла затоптанную кофту, разодрала ее и швырнула в лестничный колодец. Где-то далеко внизу шлепнулась Марьюшкина кофта, а двери в квартиру захлопнулись с резким щелчком.

Не с легкой руки тетка Анисья приискала и другое место, куда взяли Марьюшку на испытание. Из осторожности решили угол пока держать. Марьюшка не ночевала дома какие-нибудь двое-трое суток.

За перегородку к Марьюшке под утро пришел в халате купец-хозяин. Марьюшка вскочила и, закрываясь одеялом, забилась в угол комнатушки.

— Тише, дура, — зашептал уверенный в успехе ночной гость, — никто не узнает. Все спят. Я тебе буду хорошо платить. На, получай! — Купец разжал стиснутый кулак с несколькими кредитками. — Тут десять рублей, — подчеркнул он с уважением к деньгам: — ублаготворишь, вознагражду по совести.

Купец распахнул халат, прикрывавший голое волосатое тело.

Он бросил деньги на подоконник, скинул халат и улегся на край кровати. Тяжелая махина как бы вдавила заскрипевшую кровать в пол.

— Спа-а-си-те! — изо всех сил закричала Марьюшка. — Спа-а-си-те!

Голого человека подбросило кверху, как дубовый огромный кряж, лежащий на берегу, катит и смывает высокой водой. Он расторопно скатился на пол, ухитрившись схватить одной рукой подушку и зажать рот Марьюшке.

— Что ты, миленькая, — ошалело зашептал покрывшийся

сразу испариной перепуганный купчина, — ведь всех перебудишь! Нехорошо. Цыц! Не буду, не буду! Уйду! Я думал, ты... таковская!

Он шагнул в коридор. Марьюшка слышала, как хозяин, удаляясь, солидно и степенно покашливал и шаркал туфлями. За стеной вдруг громко заговорили. До слуха поспешно одевшейся Марьюшки доносился виноватый, оправдывающийся голос хозяина.

— Манефа, ты рехнулась! — юлил он. — Да что ты, голубушка, одумайся... Да разве так можно! Немыслимое тебе приснилось... Ложись-ка на перинку, беспокойная женщина, простынешь в одной рубахе, стоючи на полу! Чего взяла в ум! Наказанье!

Марьюшка укладывала недавно купленный сундучок.

Хозяйка суетливо прибежала в одной ночной рубашке.

— Он у тебя был? — наклонила она жалкое, в красных пятнах, лицо к прислуге.

Марьюшка кивнула.

— Ты звала на помощь? Ты прогнала его? Или... он... сделал?

Марьюшка вспыхнула, и в ней проснулось унижаемое достоинство женщины.

— Я буду жаловаться, — пригрозила с негодованием Марьюшка: — он хотел снасильничать надо мной!

Купчиха горько заплакала и села на кровать.

— Мне такую-то крепкую и надо, — бормотала она, — а ты, девушка, уходишь. Он, негодяй, со всеми прислугами баловался. Деньгами всех сманивал. Закаивался не баловаться. И опять за свое. Я всех разочла. А на тебе ожегся. Останься, Марьюшка. Мы его вместе пристыдим. Я тебе велю засов у дверей сделать железный. Не посмеет сломать. А будет приставать, ты меня сразу и покличешь.

— Манефьюшка, — нежно позвал из коридора купец жену, — не верь ей, потаскушке! Напраслина на меня. Иди спать. Сердце раздирают твои напрасные слезы. Ей-ей, девка

все выдумала. Угрожает. Деньги с нас хотела получить лишние. Запугать. Все подстроено.

Марьюшка почти бегом выскочила из злосчастной квартиры.

Работать было лучше и проще на поденщине. Дядя-кондуктор порекомендовал племянницу, и она изредка стала мыть полы на Николаевском вокзале. В дядином же подвале жили ночные подметальщики улиц. Нашлась Марьюшке и другая работа: подметать улицы и площади и сады от дневного столичного мусора.

Деревенские деньги давно были прожиты. Марьюшка добывала не каждый день. Не каждый день покупала хлеб. Отец не прощал и отказался от нее. Но мать выдержала недолго. Подружка Глаша продавала краденое матерью зерно и холсты — и копейки пересылала Марьюшке.

На красную горку мельник от перепоя огорчился выше меры на свой отцовский срам, схватил топор, изрубил на дрова сундук с дочерним приданым и в клочья истюкал сарафаны, платы, кофточки и рубахи, что не захватила с собой Марьюшка.

...Федор Мещерин вырвался из Кронштадта, где служил матросом, в самом конце мая. Марьюшка дожидалась его у ворот. В воскресный день домашняя прачка гасила плиту с баком. От корыта переставал итти вонючий пар. Прачечная затихала. Не шипело, не клокотало, не капала остуженная роса с потолка. Хозяйка забирала ребятишек и отправлялась с ними до вечера в гости к каким-то родственникам.

Молодые провели весь день в Марьюшкином углу. С последним кронштадтским пароходом обласканный моряк уехал. Теперь он узнал дорогу.

Бабка Афанасья не опоздала со своими дарами. За неделю до родов тетка Анисья принесла посылку с выбеленными холстами. Был в ней и маленький мешочек с вяленой репой: это сласти роженице.

С домашней прачкой Марьюшка поладила хорошо. В осо-

бенности с ребятишками. Они, полные любопытства и жалости к доброй и ласковой тете, не шевелясь под одеялом, выглядывая в щелочки, наблюдали за возней в углу, когда начались родильные потуги.

Мать в подоткнутом переднике, засучив рукава, была наготове. Лампа на столе горела во весь свет. Тетка вскрикивала все чаще и чаще. Она извивалась и выгибалась на постели так, как ребятишкам еще не приходилось видеть. Но они все же нашли подходящее сравнение. Кошка дворника Барсиха, когда пугалась забежавшей на двор с улицы собаки, вся взъерошивалась и делала верблюдика. Похожа была на тетку Барсиха, когда ее никто не беспокоил, и она лежала на солнышке, свернувшись муфточкой. Тетка через ровные промежутки успокаивалась, затихала, вздыхала с облегчением, зажмуривала глаза и укладывалась на постели смирным и неподвижным калачиком, как замерли ребятишки под одеялом.

Мать подходила к детскому матрасику на полу и вглядывалась. Но ребята были осторожнее матери. Они притворялись спящими, которые проснутся только в положенное для вставания время, их можно унести на руках куда хочешь, над ушами у них можно звонить в колокол, кричать, шуметь, ребята не увидят, не услышат, разве перевернутся с боку на бок и покряхтят. Мать, испытывая напрасно, загибала одеяльную кромочку.

Ребятам надоедало однообразие криков и тишины после них. Наблюдение притуплялось. Наблюдатели дремали. Какие-то куски времени выпадали. Нарушалась непрерывность происходящего. Как будто надо было восстанавливать — что же случилось до этого, до пробуждения?

Но середь ночи ребята проснулись по-настоящему. Раздался сплошной и отчаянный крик, каким кричал в прошлом году татарин на дворе, когда на него кинулись две охотничьих собаки из десятой квартиры, из квартиры хозяина дома. Они истрепали татарский халат в клочья, искусали ноги и руки скупщику и оседлали его.

Что-то странное и непонятное делала мать над бедной теткой. Она посадила ее к себе на колени и, стиснув зубы, держала ее обеими руками поперек грудей. Потное и красное лицо матери высовывалось из-за теткиной спины. Тетка с хрипом и с криком вырывалась из рук матери, сползала с колен и страшно кидалась вперед.

Ребята почувствовали враждебность к матери. Они решили, что мать почему-то выжила тетку с кровати, уселась не на свое место и теперь ее же, настоящую владелицу кровати, мучит. Ребята, однако, находились в сомнении. Если мать хотела обидеть тетку, то почему мать столь дружелюбно просила ее:

— Марьюшка, да ты понатужься, да ты держись за кровать.

Ребята не успели выступить на защиту тетки. Вдруг обе женщины оказались на полу. Марьюшка вырвалась из рук матери и встала на четвереньки, выкрикивая одно страшное и бесконечное слово:

— Караул! Ка́раул!

Ребята затрепетали от ужаса. Они были уверены в неизбежном появлении разбойников. Не зря же тетка призывала людей на помощь! Но эта уверенная и бесстрашная мать опять все спутала и все повернула по-своему. Она сильно рванула тетку за руки, к кровати и заставила тетку обхватить кровать поперек.

Ребята с бьющимися сердцами, как пойманная птичка в руке, позабыли осторожность и почти совсем вылезли из-под одеяла. Мать умело и ловко подостлала на пол только что выстиранное и еще не катанное чье-то белье, лежавшее горкой на столе.

Мать, не глядя, стремительно протянула руку, ухватила за верхушку и поволокла, роняя, новое белье. Руки матери делали совершенно необычайные вещи. Тетка широко раздвинула ноги, а мать подставила между ног ладошки, покрытые полотенцем с вышитыми на нем петухами.

Эти петухи больше всего почему-то и напугали ребят. Когда на них вывалилось и сразу запищало что-то красное, скользкое, большое, петухи на концах полотенца как будто взмахнули крыльями, должны были закукарекать и треща полететь в подвале и заклевать всех, — ребята дико и горестно завыли. Они вскочили на ноги, прижались в угол, закрывая одеялом свои тельца, и вытаращенными глазами, в слезах, открыто уставились на затихающих женщин.

Мать недовольно обернулась назад, что-то хотела сказать сердитое, но вдруг лицо ее дрогнуло смехом, и она радостно сказала Марьюшке:

— Гляди, наши-то дурачки не спят, ревут! Жалеют... Перепугались-то как!

Марьюшка, постанывая, отдохнулась, и в глазах у нее дрогнул светлый здоровый луч любви и освобождения от страданий.

Первенец населил Марьюшкин угол.

— — — — — — — — — — — — — — —

Мельник изрубил дочернино приданое, но дочь осталась, — мысль о ней внезапно появлялась в сознании. Старик чаще ходил на мельницу, чтобы побыть там одному и бессчетно вспоминать все сначала.

— Сердись, не сердись... — сказала однажды Аграфена на обратной дороге от анфаловского лавочника, почуяв невеселую молчаливость старика.

— Ты это к чему? — притворился муж.

Аграфена осторожно и хитро усмехнулась.

— Все к тому же.

— А я тебе что говорил? — нетвердо погрозил он.

— Я помню, — не сдавалась Аграфена, — а слава-то все равно прилипла. Не оттрясешь. По-за спинам-то нашим, поди, на чужое горе вò как радуются. А Марьюшка-то сама и покрыла все...

— Покрыла? — заинтересовался отец.

— Ну да, покрыла, — совсем осмелела Аграфена и с умильной слезой в глазах тихонько засмеялась. — Усищи у тебя

ровно у таракана топорщатся, злые-презлые, а ты... хе-хе... дедушка!

— Хорошо покрыла! — с огорчением и неприязнью пробурчал старик, — от такой покрышки у меня десять годов жизни убавилось.

Но Аграфена уже ничего не слышала и не хотела слышать кроме ликовавшего в ней бабушкиного восторга.

— Парнишка родился здоровенький, — шептала она, — Марьюшка пишет — две капли воды похож на дедушку, на тебя значит, бородавка твоя у него на шейке приметна. Са́нком назвали мальчика. А Глашку записали в божатки...

— Кто-о записал-то? — резко перебил старик.

— Как кто? — удивилась Аграфена нарочно. — Кто записывает: мать да отец.

— Отец?

— Федька из Крамшлата приехал, да они вместе с Марьюшкой пошли в церкву да у попа и записали на свою фамильку.

— А как у них однакая фамилька сделалась?

— А больно просто: тот самый поп и под венец поставил и ребеночка в купели окрестил. Они теперь законные...

Мельник долго молчал, пошел крепче и увереннее и, выкурив две трубки подряд, вдруг остановился и остановил старуху.

— Кажись, верно законные? — раздумчиво произнес он, блестя покоренными глазами. — Кажись... в таком разе и Са́нка... не прижитой... с ветру.

Старуха так и привскочила.

— Да ты рехнулся, — возмущенно задребезжал ее голос, — родного внучонка так ремизишь! На улице его нашли? К чужим воротам подкинули? Была б не венчанная Марьюшка — это так, а мужняя жена родит в одинаковости, как и все бабы. Нам ныне головы не́пошто клонить к земле: не обесславленные!

План вострухи Глашки удался: она его подсказала Аграфене. Мельник подозрительно приглядывался к старухе, не

разговаривал с ней и, ему казалось, нагнал достаточно страху, чтобы внезапно огорошить.

И не огорошил.

— Ты чего мне врешь, старая?—идучи с мельницы, еще в дверях избы, зло насупившись, повысил голос мельник.— Ты чего набрехала, а я, думаешь, и поверил? Машка, — он нажал на этом слове, — Машка твоя не законная жена, а приходящая, приблудок... Разве на службе солдату дадут стать под венец?

Аграфена пренебрежительно махнула рукой и напустилась на недоверчивого старика.

— Ты это на мельнице надумал, хрыч? — с издевкой прошипела Аграфена. — Тебе с такими твоими думушками бороду в вал затянет да и голову отмелет. Ребеночек все узы отпирает. Как о ребенке Федька начальству сказал, так оно, начальство-то, ему не только что благодарность за хорошее дело, а на медовый месяц Федьку послало в отпуск. Они с Марьюшкой да со своим Са́нком по Питеру и нынче ходят рука-об-руку.

Тогда мельник, выждав чуток, недовольно бросил старухе:

— Знаешь ты эти дела ме́не меня, а тараторишь за четверых знающих. И... в денках была такая... находчивая врунья!

Старуха отмолчалась, подзадоривая любопытство мужа. На другой день он и сдался.

— Пошто она, — не назвал имени дочери мельник, — на Глашку письма шлет? Разе у нее родителев нету в своем дому?

Теперь мельник часто приставал к жене и настойчиво твердил:

— Зови ее в деревню. Чего там по чужим людям хныкать!

Аграфена, однако, посмеивалась с Глашкой над нетерпением старика. Мать несломимо была на стороне дочери.

— Да, вот тебе подавай Марьюшку на двор для раз-

глуски, — не соглашалась старуха, — а бабочке возле муженька любее. Когда ни когда, а и нагрянет он. Выпросится на побывку в Питер. День какой и поживут вместе.

Пряхино не сбавило строгости. По наружности поддакивали и соглашались с Вьюрковыми, а думали по-своему. У мельника — непочатый угол ссор с мужиками. И мельник в перепалке слыхал укоры и тыканья в глаза непутевой Марьюшкой. Старик лез в драку и отказывал обидчикам в размоле.

Марьюшка кое-как перебивалась крохами из деревни, крохами от копеечных сбережений невенчанного мужа, стиркой исполу у хозяйки подвала. Выпадали дни голодные. Марьюшка по нужде брала Саньку на руки и где-нибудь в малолюдном месте просила милостыню.

А раз, так через полгода после родов, занемогла домашняя прачка, слегла. Марьюшка достирала и понесла по заказчикам. В одной квартире, покуда экономка проверяла и принимала белье, Марьюшку, розовую от смущения и от неистребимого деревенского здоровья, углядела старая барыня-генеральша. Марьюшка приглянулась. Ее выспросили. Она пожаловалась. Позвали притти с ребенком. Показать. Понравился и налитый крепыш-мальчишка у скромной и застенчивой нищей. Марьюшку приласкали и повели к доктору. Взяли у ней молоко. Доктор осмотрел мальчонка. И старая генеральша сказала:

— Я возьму тебя в кормилицы к моему четырехмесячному внуку. У дочери нет молока. Ты не бойся. И брось свой угол. Будешь жить у нас. Мы с тобой заключим контракт.

Разговор этот произошел после того, как Марьюшка, вымытая и вычищенная в ванной, поднесла сосок к худенькому ротику заморенного и тщедушного генеральского внука, а тот жадно схватил его, долго сосал, постепенно краснел, отвалился от груди и заснул.

— Он... хмелеет! — восторженно вздрогнула худосочная и

бледнокровая генеральская дочь-мать. — Мамочка, Дима оживает! Смотрите, он как будто даже усмехается во сне!

Проба была выдержана: молока у Марьюшки хватало и на Диму и на Шуру, как вместо Саньки приказали Марьюшке называть сына.

— Но одно условие, — строго заявила довольная нанимательница, — если нельзя тебе совсем расстаться с твоим... возлюбленным, он будет, конечно очень редко, видеться с тобой только здесь. Я понимаю, тебе тяжело такое стеснение, но нам нужна кормилица надолго... Дима привыкнет к твоему молоку. Нам нужно его сохранить. Хочешь — подумай, хочешь — соглашайся сразу!

— Согласись, Марьюшка, — умоляющим голосом попросила дочь генеральши.

Марьюшка стояла красная и обиженная, колебалась. Но выход был найден.

— Я, барыня, берусь ее ухранить, — вмешалась экономка. — Уж доверьтесь мне!

Старая генеральша и дочь ее с надеждой уставились на известного и проверенного человека.

— И вот как, — находчиво продолжала экономка, обращаясь с усмешкой к Марьюшке, — ты, дружок, совсем и не почувствуешь стеснения. Ты, я и твой матрос — мы прекрасно можем проводить время вместе. Незачем сидеть в квартире. Пойдем на улицу, в сад, в балаганы, на карусели... куда угодно...

Марьюшка всплакнула: запрет был унизителен. Но ей пришлось уступить: протягивать руку было еще труднее.

— Ты должна понимать, — наставительно обучала экономка, — тебе доверяется жизнь и здоровье нашего барчука. Быть кормилицей в благородных домах — почетно. Кормилица должна содержать себя, как безгрешная монахиня. Зато жизнь-то какая: сыта, обута, одета, первый человек в семье, и жалованье хорошее. Можешь на черный день скопить. Тогда и матросу твоему будет хорошо.

Месяца два спустя сам генерал Чернявский вызвал Марьюшку в кабинет. Этого еще не бывало. Растерянная кормилица, подозревавшая неладное, робко и связанно вошла.

— Я тебе скажу неприятное, — хмуро вымолвил генерал, повернувшись к ней на кресле у письменного стола: — слез чтобы не было... не люблю, — брезгливо поморщился он. — Ты должна расстаться со своим сыном.

Марьюшка перестала прикованно смотреть в глаза хозяину и опустила голову.

— У тебя стало меньше молока, — неожиданно взволновался и укорил кормилицу генерал, — Димочке недостает питания. Твой Шура отсасывает слишком много. Наш мальчик обнаруживает беспокойство. Доктор говорит, что ребенок просто голодает. Это — беспорядок!

Марьюшка с трудом поборола в себе страх перед горячим генералом, иногда кричавшим на денщика и на посыльных из солдатских казарм так, что крик этот слышался во всех десяти комнатах квартиры. Беспокойство за сына придало ей смелость и желание оспорить хозяина.

— Я, Николай Николаевич, — тихонько пролепетала Марьюшка, — вы не подумайте худого, не жалею молока для Димочки. Как своего люблю. Обоим хватает. Груди у меня набухают. Остается от обоих. Я молоко зазря отцеживаю. А то мне больно.

Чернявский с неудовольствием выслушал кормилицу, почему-то побагровел вдруг и резко выкрикнул:

— Я лучше тебя знаю! Раз я говорю... — он многозначительно остановился, — возражения излишни. Но я доволен тобой. И не оставлю твоего сына. Я уже его устроил. Ты пойдешь с моей запиской в воспитательный дом. И там сына твоего возьмут. Он будет жив и здоров. Никто тебе не мешает навещать его. Иди.

Марьюшка в эту ночь пролила обильные и неутешные слезы над сыном, мирно посапывавшим носиком. Неприятное состояние переживала вся генеральская семья вместе с гор-

ничными, поварихой и экономкой. Во всех углах шептались. Чернявский за плотно закрытыми дубовыми дверями кабинета на семейном совете, морщась, жаловался:

— Она не так глупа, как я думал. Она поймала меня во лжи. Она заставила меня внутренне смутиться. Помогла моя выдержка и... военный закал. Я ей приказал.

— Да, — расслабленно заметила генеральша, — как будто мы несправедливы, но так поступить лучше. — Она подумала. — Все же лучше. Материнское чувство мне понятно. Шура для нее дороже Димочки. Когда она останется с одним Димочкой, она к нему больше привяжется. Больше будет обращать на него внимания. С двумя она не управляется. Мы же не вышвыриваем ее сына на улицу, а, наоборот, заботимся о нем, помещаем в прекрасный воспитательный дом. Мальчик в летнее время будет жить в чухонской деревне на воздухе, будет пользоваться молоком образцовых чухонок-кормилиц.

Чернявский от таких доводов жены даже развеселился.

— Ты у нас, Мари, — засмеялся он, — настоящий царь Соломон. Рассудила безупречно. Но, право, получается очень занятно: у кормилицы своя кормилица! Ха-ха!

Одна дочь пребывала в непроходимой тревоге и задумчивости.

— А вдруг она не согласится? — изменившись в лице, спросила молодая некормящая мать. — Димочка так поправился на ее молоке!

Тут уж генерал Чернявский не выдержал и решительно заявил:

— Глупости, Лизок! Не посмеет. Она — тихоня. И деваться ей некуда. В противном случае я ее заставлю. Разницу в наших положениях она понимает!

Марьюшка плакала над сыном. Долго не могла уснуть и молодая хозяйка кормилицы. В порыве тревожных чувств Лизок встала с постели и ночью написала о всех своих переживаниях, называя их тяжкими мучениями, длинное письмо

мужу, полковнику, находившемуся в какой-то отдаленной командировке в Сибири.

Вскоре Марьюшка подчинилась неизбежному и отдала сына. В тот день Марьюшке сделали приватные подарки и деньгами и старым, поношенным бельем обе хозяйки — и молодая и старая, а сам генерал был с ней и ласков и шутлив.

За обедом, когда в столовой не было никого из прислуги, генерал громко засмеялся и сказал дочери:

— Ну, Лизок, поздравляю тебя. Димочка — победитель! Бесплатного нахлебника мы сплавили весьма удачно!

Дочь перепугалась, зашикала и остро поглядела в коридор.

Безраздельно овладев молоком кормилицы, господа постарались обставить всеми надлежащими мерами бренную жизнь Димочки.

Удаление Шуры не принесло никакой пользы, а, напротив, очень повредило. Дима страшно кричал, сучил ножками и отказывался от груди, едва Марьюшка подносила ее мальчику. Молоко явно испортилось, смешиваясь с частыми слезами кормилицы.

В тот год Чернявские за месяц до начала летнего сезона предупредительно отбыли в свое полтавское имение. Кормилицу увезли подальше от Шуры, — молоко постепенно очистилось и стало благотворно усваиваться Димочкиным расстроенным желудком. На розовевшего от молока и солнца Диму не могли нарадоваться находчивые помещики. Марьюшка раздобрела и обливалась молоком.

— Она — как после отела, — шутил со своими домашними генерал, — надо ее, что ли, кормить меньше!

Дамы усмехались. Но Димочку уже спасали от жадного перекушивания.

К осени Марьюшка рвалась в Петербург. Но кто же из нанимателей поступит себе во вред? И на городскую квартиру возвратились позднее обычного. Возвратились с тревогами и боязнью перед предстоящими Димочке испытаниями.

— Не шалить! — пригрозил генерал взволнованной кормилице, не отходившей от окна вагона и заранее плакавшей от встречи с сыном. — Слезы уместны раз-два... но постоянно? Я запрещаю тебе отравлять молоко!

Марьюшка взяла себя в руки и на людях притворялась спокойной: она подслушала разговор помещиков, решавших в случае повторения Марьюшкиных слез, для благополучия и выкормки Димочки, запереться в имении хотя бы даже на зиму.

Марьюшка скоро оценила хваленую чухонскую деревню. В воспитательном доме матери вынесли синего, худенького, изможденного сына взамен краснощекого пухляка и здоровяка. Сама генеральша, будто из особого расположения к своей кормилице, пожелала присутствовать при первом свидании.

— О! Да Шура просто прелесть! — воскликнула генеральша. — У него совершенно осмысленная мордочка! Чувствуется уход и хорошее наблюдение за детьми. А ты горевала, — укоризненно обратилась хозяйка к страдальчески мигавшей кормилице, — и совершенно напрасно. Ты теперь видишь? Мальчик худ... Но еще неизвестно, когда он здоров: при полноте или при худобе. Здесь дети находятся под постоянным присмотром врачей.

Марьюшка уже научилась скрывать свои мысли и чувства от господ. Она не выдала себя и сейчас. Она даже изобразила на лице подобие радостной улыбки. Мать плакала тайно.

Совсем по-другому принял горе Марьюшки отец Шуры. Мещерин не мог вырваться из Кронштадта перед отъездом Марьюшки в полтавское имение. Он, запыхавшись, вбежал по черной лестнице к дверям генеральской квартиры и получил от оставленного на лето сторожа-денщика одну прощальную записку с адресом. Так полгода матрос и кормилица не видались.

Год службы во флоте не пропал даром. Мещерин пообтерся. Свиданье с Марьюшкой после долгой разлуки он устроил

уже помимо разрешения начальства, когда доброго, а когда и привередливого. Мещерин рискнул на самовольную отлучку.

Обманули и бдительных барынь с самоуверенным барином. Дворник за двугривенный вызвал Марьюшку. Она собралась навестить сына одна. Экономка была не нужна. Мещерин заменил ее. Кормилица успела возвратиться во-время.

— Шурку в деревню, — так полюбил называть Саньку и Мещерин. — Чего тут хорошего ожидать? Мыло из парня пора варить, как из кляч варят. Живодерня, а не воспитательный. Гиблая смерть мальчонке. Неужто у двух бабушек, а может, и у дедушки, наследник не выйдет из заморышей?!

Тогда-то, как только бабка Афанасья получила от Федьки нужную весточку, старуха пришла к Глаше, подняла ее на ноги и повела к Вьюрковым.

— Я без дальних, — серьезно и угрюмо сказала бабка Афанасья, — любая не любая я гостья, а и я бабушка, а и я о внучонке своем в заботе. Замучают его там господа хорошие. Так вы али я берем внучонка? У вас ему просторнее и сытнее. У меня три девки на выданьи. Нянек много, а и хлопот много. Откажетесь — возьму к себе.

Мельник недоброжелательно разглядывал бабку Афанасью, не посадил ее и явно чуждался незваной гостьи. Но Глаша уже шепталась с Аграфеной.

И вдруг мельник был так озадачен, что даже в полной растерянности отодвинулся на лавке от приступившей вплотную к нему с каким-то неистовым лицом жены.

— Мой внучонок! — крикнула горячо старуха, точно от бабушки бесповоротно отнимали внука и она ни за что его никому не отдаст. — У нас будет жить! Слышишь, старик!

Мельник ничего не отвечал, сидел с раскрытым ртом и только в большом волнении для чего-то бессмысленно расстегивал ворот рубахи.

Три женщины, не обращая никакого внимания на старика, ладно уселись на лавку и вполголоса обсуждали поездку за Санькой.

— Я привезу, — сказала бабка Афанасья. — Дорога напополам, а внучек ваш.

Бабка Афанасья заслужила генеральское одобрение: она освобождала Димочку от всяких неожиданностей кормления. Бабка Афанасья возвратилась в деревню даже с лихвой и с придатком: Чернявские снарядили ее возвращение и сытно и денежно. Дорогу бабка оправдала. Она привезла еле живого внука, но в теплых генеральских одеялах, в капоре, в байковом невиданном конверте и с корзиной всякого детского скарба.

Тогда же на стенках избы у двух бабушек — в Пряхине и Котлове — появились карточки молодых Мещериных: Федька в матросской бескозырке с ленточкой, а рядом с ним дородная Марьюшка в белом наряде кормилицы с высоким, вышитым мишурой кокошником.

Мещерин научился как-то удачно обставлять самовольные отлучки в Петербург. При первой возможности он появлялся или у тетки Анисьи или через дворника вызывал Марьюшку на двор. В генеральской квартире Мещерин показывался редко, чтобы господа были довольны нечастым посещениям гостя и не заподозрили Марьюшку в притворстве, если бы гость исчез совсем.

Чернявские выезжали по гостям, в театры, на концерты. Когда возвратился из Сибири отец Димочки, полковник Ставровский, выезды участились. Без господ раздолье. Прислуга пользовалась свободой и разбредалась по городу, успевая вернуться домой к ночному приезду хозяев.

Марьюшке нетрудно было рассчитать вперед дни и вечера, принадлежащие ей. Мещерины видались без докучного надзора.

А на исходе зимы и молодая хозяйка и Марьюшка почти враз понесли новый плод. Кормилица скрывалась. Наедине она с испугом разглядывала смуглые, как яблоки шафран, полные и упругие груди. Марьюшке казалось, что они на виду подсыхали и утрачивали свою упругость. Марьюшка

заметила, как убавилось молоко. Она чаще, чем нужно, совала Диме сосок в губы. Мальчик непривычно похныкивал. Молоко портилось, как от слез.

Тетка Анисья научила:

— Ты незаметно прикармливай сосуна чем попало. Молоко у тебя невкусное, с молóзивом. Мальчонка это своим брюшком чувствует. Придет день — он совсем откажется от твоей груди. И молоко у тебя скоро пропадет. Они... генералы тебя за обман сживут со света. А ты от шлепочка увернись юлой. Прикорми ребенка. Ему больше году. И совсем пора отнимать от груди. Молочку — кырк, а ты господам: „Димочка готов кашку кушать!“ Тебя еще и похвалят. Усердная и заботливая, значит, слуга.

— — — — — — — — — — — — — —

Генерал и полковник попеременно, оба багровые, дрожащие от возмущения, страшно кричали и грозили. Дамы плакали и укоряли в неблагодарности.

Дима сильно исхудал, но он немного привык от Марьюшки к грубой пище, с мальчиком справились и посадили его на питательную кашку. С восторгом и ликованием любовались, как пухлые губки его проворно управлялись с кашей. Ребенок даже жадничал, кряхтел от удовольствия и — самое замечательное — обводил наблюдателей глазами, ласково усмехался и привскакивал у Марьюшки на коленях, размахивая маленькими ручонками. Нагрудник на Диме вспархивал, как птичье крыло.

Марьюшка тосковала от надвинувшейся беды, уложила надаренные в хорошие минуты генеральского расположения к себе нужные и ненужные вещи и дожидалась расчета. Домашняя прачка согласилась временно, до прискаканья Марьюшкой места, потесниться и снова уступить ей знакомый угол. Кормилица перенесла туда часть вещей, чтобы господа не отняли подарков.

— Везде погонют, — сказала тетка Анисья, — как распознают, что ты в тягости. Торопись копить деньги на житье-

бытье. Подвезло раз, вдругорядь не жди. Родишь — опять в кормилицы. Твоя служба. А приплод — к бабушке. Шли да шли старухе одного молодца краше другого.

Марьюшка прождала несколько дней. На генеральской половине происходило что-то непонятное. Туда накрепко закрывались двери. Подслушивали экономка, и горничная, и повариха. И все трое передали Марьюшке одно и то же: ей откажут от места и засудят ее. Марьюшка похолодела и замерла от страшного ожидания.

И действительно, генерал в сердцах говорил:

— Гнать! Немедленно гнать! Все они приживаются и... пакостят!

— Она могла изуродовать Димочку, — негодовал Ставровский. — Мерзкая обманщица! Какая тут может быть жалость к подобному существу? Я как отец не могу ей больше доверить моего ребенка! Я... я опасаюсь... Я не знаю... этого... матроса... ее любовника... Я могу что угодно предполагать...

Полковник Ставровский схватился за голову и убежал в свой кабинет.

— Какие ему мерещатся ужасы! — воскликнула бабушка-генеральша. — Марьюшка... все такая же чистая и опрятная!

Тогда громко заплакала Ставровская. Вокруг нее забегали старики. Примчался обратно с пузырьком нашатырного спирта потрясенный муж и дрожащими руками совал ей нюхать его.

— Лиза! Лизок! Успокойся! Тебе нельзя волноваться! Вспомни о своем положении! — на разные жалобные голоса твердили окружающие.

Молодая мать медленно приходила в себя. Но справившись со слезами, уверенная, что эти родные ей люди сделают все так, как она захочет, Ставровская потребовала:

— Марьюшка должна остаться. Она спасла моего Димочку. Он из худенького червячка стал неплохим мальчиком. Она поступила неблагородно с нами. Но вы, вы... — и Ставровская снова начала всхлипывать, и снова все пришли в полнейшее отчаяние, — вы забыли, что я должна родить снова...

Кто будет кормить мое... другое дитя? Я не хочу, — крикнула истерически избалованная женщина, — другой кормилицы! У этой хо-хо...рошее м-м-мо-локо!

Марьюшка не смогла выдержать тяжелого ожидания и сама попросилась отпустить ее. Марьюшке не верилось, что она услышала в ответ.

— Не выдумывай! — рассерженно и повелительно бросила старая генеральша. — Ты виновата, но я тебе, по молодости, прощаю. Ты будешь у Димочки за няньку, а когда родишь и Лизанька родит, ты опять будешь кормилицей. Но твой матрос больше не переступит порога моей квартиры!

Марьюшка выпестовала и второго Ставровского. Выпестовала и своего сына Васеньку. Его уже отбила и не отдала в воспитательный дом. Страх потерять испытанную кормилицу заставил господ смириться и уступить ей. Генеральскому денщику Шарову Чернявский приказал расписаться в метриках восприемником.

Васеньку даже допускали в комнаты, покуда его носили на руках. Когда же он стал ходить, старая генеральша решила, что в комнате Марьюшки ему было гораздо удобнее. Мать приучила Васеньку не бегать за ней и разбираться со своими игрушками в отведенном ему уголке.

Дима и Валя Ставровские рвались в запрещенную комнату. Но к ним привозили играть детей знакомых военных. С Васенькой не позволяли сближаться. Три мальчика жадно выглядывали из дверей друг на друга и мгновенно прятались при звуке шагов старших.

Так Васенька и прожил взаперти три года. Разве когда Марьюшкина подружка — домашняя прачка — приходила за мальчиком и вела его на свиданье с приезжавшим отцом или матери изредка позволяли брать сына с собой на улицу, только без баричей. В генеральской квартире время не нарушало установленного порядка.

Но однажды там переполошились. Марьюшка еще раз ответила за все хозяйское добро черным обманом. Старая ге-

неральша изумленно открыла глаза. Перед ней, несмотря на запрет, не снятый целых три года, стоял спокойный и совершенно независимый матрос. Барыня заметила, что Марьюшка была готова, а Васенька ее даже одет.

— Спасибо, барыня, за все добро, — сказала Марьюшка, — отжила я у вас. Свою жизнь начать охота.

— Что-о? — покраснела генеральша. — Ты уходишь?

— Да. Вот за мной и Васенькой приехали, — показала на матроса Марьюшка. — К пароходу торопимся...

— Так внезапно! — едва сдерживалась хозяйка. — Без всякого предупреждения. Так... вот сразу собралась... Мы остаемся без няньки. Можно было постепенно... Раньше сказать. Потом сделать... Зачем было скрывать?

Марьюшка нисколько не смутилась от упреков.

— Простите, барыня, — привычным и знакомым голосом отвечала она. — Может, и неладно вышло, а я думала, так лучше. Димочка и Валечка на ножках, няньку найти ничего не стоит. А у меня на примете нет. Безвыходная я у вас была. Знакомств не заводила. Что сказала, что не сказала — делу не поможешь. А мне своя семья спать не дает. Васеньку охота братику Шуре показать. Обоих вместе попестовать, и... муж рядом. У нас, барыня, в Кронштадте самостоятельная квартирка снята и...

Взбешенная генеральша прервала ее:

— Мне нет дела до твоей самостоятельной квартиры! Но ты поступила с нами вероломно! Отблагодарила нас хорошо, очень хорошо! — сделала гримасу дрожащая старуха. — Каак тебе не стыдно! Я тебя не уговариваю! Если бы ты теперь сама захотела остаться, я тебя не возьму! Но меня удивляет твой поступок. Кошка — и та привязывается к дому, а ты за наши ласки...

Генеральша смотрела на Марьюшку презрительно прищуренными глазами. Та глубоко вздохнула, подумала и с ясным лицом не торопясь сказала:

— Я к вам, барыня, не нанималась на весь свой век...

Генеральша резко передернула плечами. Экономка, горничная, повариха и денщик Шаров застенчиво жались по углам. Точно вошли на всякий случай, если бы в них явилась надобность той или другой стороне.

— Полюбуйтесь на нее! — горько крикнула прислуге генеральша. — Ваша любимица! А у нас ли ей не жилось!

Прислуга промолчала. Но экономка услужливо шмыгнула к уходившей в комнаты старухе и быстро что-то зашептала ей на ухо.

— Не надо! — отмахнулась рукой хозяйка.

Марьюшка поняла и покраснела. Мещерин посадил сына на одну руку, а в другую взял корзинку с вещами. Марьюшка начала прощаться с прислугой, целуясь со всеми и приглашая их в гости на новую квартиру. Марьюшка задержалась возле экономки, помедлила, разглядела ее всю и вместо прощанья гадливо промолвила:

— Ты барыне подсказывала мои вещи проверять, так знай: мои не стали проверять, а когда тебя погонят, твои станут! И стóит!

Экономка молча отшатнулась, зарозовела и стремительно выскочила из коридора.

— Шаров, — позвал Мещерин, открывая двери, — так смотри не забудь, приезжай к крестнику!

— Ладно, — буркнул Шаров, остерегающе оглядываясь в глубину коридора. — Буду...

Марьюшку он ткнул в спину и, приветливо усмехаясь, шепнул:

— Меньше как на четверть, кума, не помирюсь на новосельи. Выставляй!

Кума согласно кивнула головой.

Мещерины вышли из подъезда. Марьюшку ослепил яркий, играющий на стеклах день. Вдруг радостный, освобожденный свет откуда-то пошел извнутри и разлился на лице ее счастливой улыбкой. Так вот когда и улицы, и небо, и сын, и муж стали по-настоящему своими!

До пароходной пристани ехали на извозчике, неловко сидели в тесной пролетке, поместив удобно сына между собой, и молчаливо сияли. Где-то качнуло набок пролетку. Марьюшка едва не вывалилась. Мещерин удержал ее и резко выбранил извозчика.

Извозчик виновато поёрзал на облучке и стал внимательнее следить за дорогой.

Марьюшка скосила глаз на бывшего котловского Федьку — и не узнала его. Рядом сидел серьезный, сосредоточенный, с умным, немного бледным, городским лицом совсем другой человек. Четыре матросских года изменили его. Он приобрел уверенность в себе, какой обладали многие самостоятельные городские люди. Вот он даже сидел в пролетке почти так же небрежно, как сидел полковник Ставровский, когда подъезжал к парадному своей квартиры. Только в том и была разница, что полковник постарше, наряднее и всегда в белых перчатках.

Марьюшка не ошиблась. Мещерин шибко пошел по службе с первого года. Сналету овладел всей матросской мудростью. Скоренько перескочил из рядовых в унтер-офицеры. Два года провел в заграничных плаваниях. Полюбился начальству и угодил ему. Получил производство в боцманматы-фельдфебеля и прославился стремительным обучением новобранцев. В то же время в тринадцатом флотском экипаже мещеринская рота была самой образцовой по дисциплине и выучке. На Мещерина сыпались награды и назначения. В ту весну, как взял он Марьюшку от Ставровских, Мещерин, по особому доверию начальства, надзирал за хозяйственной ротой экипажа, довольствовал, обувал и одевал матросов, был окружен поставщиками и перекупщиками-торговцами, носился ветром по экипажному двору, гонял по городу, учил, покупал, продавал...

Мещеринская удача вызывала зависть и подражание. Взошла нередкая в те времена фельдфебельская звезда.

Федор Степанович Мещерин решил, что настал срок обза-

вестись собственным домком. Неподалеку от флотских экипажей, на Павловской улице, подыскалась квартирка в две комнаты — и Марьюшка въехала туда хозяйкой.

Через две недели по приезде в Кронштадт под гармонью отплясали на запоздалой свадьбе всем фельдфебельским корпусом, кум Шаров выпил четверть, а во время венчания оставался в квартире за няньку с сыном Васенькой фельдфебельский рябой денщик Кулаков.

КРОНШТАДТ

Маленький Мещерин пришел в мир лет пяти-шести... Где-то на зимней улице, когда извозчичьи санки, подпрыгивая, неслись и в лицо приятно пушило снежным ветерком, мальчик открыл глаза. Серая в яблоках лошадь заржала, повертывая морду к рыженькой лошаденке, бежавшей напротив. Два извозчичьих коня точно здоровались, подражая своим хозяевам, снявшим друг перед другом шапки.

— Как, папа, смесно, — сказал Вася отцу, державшему его на коленях, — лосадки показывают зубы!

— Почему ты думаешь, что они показывают зубы? — спросил отец.

— А я визу!

Мальчик даже испугался быстрого и резкого движения отца, с каким тот поднял его с колен и повернул лицом к себе. Глаза напряженно впились одни в другие. Внезапно глаза у отца сделались мокрыми, и на щеках несколькими складочками появились непонятные морщинки.

Мальчик двигался и понимал движение, мальчик плакал и догадывался, что глаза могут быть мокрыми, мальчик знал множество обозначений и названий окружающих его вещей, предметов, живых и мертвых существ, но он до сих пор узнавал отца по голосу, по шагам, по рукам. Мальчик крайне удивился, что он представлял себе отца совершенно другим.

В особенности же он заинтересовался морщинками. Покуда отец часто-часто мигал, Вася потянулся холодными ручонками к отцовским щекам и стал разглаживать морщинки. Мальчик объяснил себе веселие отца тем, что отцу было приятно избавиться от морщинок.

— Погляди на меня дольше! — приказал отец. — Погляди в стороны!

Вася, смеясь, охотно сделал.

— Закрой глаза и открой.

Мальчик и это исполнил.

— И теперь видишь?

— Визу.

Извозчик беспокойно оглянулся, встревоженный странным и непонятным разговором седоков, а больше всего громким голосом явно потрясенного отца.

— Мальчонка мой, — почти крикнул от восторга матрос извозчику, — мальчонка мой прозрел! Два года не видел. Бельма на глазах. Чем ни лечили — все напрасно. В глазной лечебнице на Моховой в Петербурге стращали — навсегда будет слепцом. И сейчас туда еду.

— Радость-то какая! — сочувственно закивал извозчик. — Из радостей радость!

Мещерин переживал сомнения — не лучше ли повернуть назад и скорее обрадовать Марьюшку, чем продолжать поездку, которая, быть может, вовсе теперь не требовалась.

— А отчего с парнишкой случилось? — спросил извозчик.

— А кто его знает?! Глазок помутнел — и пошла муть собираться в зерно. С одного глаза перекинулось на другой. Говорят, от золотухи.

— Натерпелись?..

— Еще как!.. Тяжело на свет смотреть. Чужой урод сердце тревожит, а свой — и подавно.

— Не отрыгнулось бы! — предупредил извозчик.

Словно только в этих словах и чувствовалась необходимость. Всякие колебания исчезли. Никакого поворота назад!

Надо непременно показать зрячего мальчика старику доктору на Моховой.

Вася входил во вкус нового своего положения. Мальчик сначала разглядывал открывшийся ему мир довольно вяло. Мир был так велик и разнообразен, что на все не хватало внимания. Приходилось скользить по нему. Но понемногу выработалась сноровка. Мальчик начал отбирать в окружающем то, о чем захотелось узнать сейчас же. Узнать и запомнить. Дома, крыши, облака, собаки, кошки, фонари, мамы с перьями на головах, папы в шинелях и в удивительных шубах с воротниками волновали его до крика, до исступления. Вася так вертелся на коленях и так энергично показывал рукой во все стороны, что прохожие с недоумением встречали и провожали извозчичьи сани.

Покуда ехали до пристани, отец уже успел вполне нарадоваться и даже пережил утомление и недовольство от слишком оживленного сына.

Он устал держать на руках эту жадную юлу, буйно начинавшую свою жизнь.

— Ледокол? — спросил удивленно мальчик. — Мы поедем на ледоколе? Ледокол, мама говолила, это палоход, котолый колет лед. А что такое лед? Это такое холодное, скользкое, замелсее, как у нас дома на ламах? Я пальциком тлогал. Папа, папа, вон палоход! Из тлубы идет пал. Это как наш самодыл?

Извозчик провожал растроганными глазами матроса с ребенком, пока седок поспешно расплатился и почти побежал на пристань, где суетились люди в передотвальной горячке.

Эта первая поездка дала Васе такие впечатления, что и всякое повторение их воспринималось почти заново.

Мальчик прижался к иллюминатору и всю дорогу от Кронштадта до Петербурга не сводил своих синих, точно очистившаяся после бури лазурь, глазенок с лязгавшего о ледокольную обшивку мелко и крупно искрошенного льда. Вася кричал и восторгался, когда с шумом и треском ледокол раз-

бегался, нос его высоко поднимало, ледокол точно совсем вылетал на лед — и вдруг обрушивался вниз, и темная вода заливала иллюминатор.

Отец поддерживал сына сзади, а тот с хохотом отбрасывался на отцовскую грудь и вытягивал вперед ручонку, словно желая зачерпнуть через толстое стекло волну в пригоршни.

Мальчик восхищался борьбой ледокола с ледяными препятствиями. Вася открыто скучал в свободном ото льда узком канале, по которому иногда плыли, после того как, сделав несколько прыжков на ледяную поверхность и сломав ее и отогнав на стороны кучи льдин, ледокол свободно продвигался вперед. Удовольствие и возбуждение приходили с возобновлением качки, шума и треска льда, с разбегом ледокола на запиравшее путь поле.

Обратный путь был мирен и сонлив. Мальчика укачало. Но едва счастливый отец принес его на руках в квартиру и поставил на пол, Марьюшка страшно перепугалась. Вася с такой свободой и криком бросился к ней, что мать почти в ужасе раскрыла ему руки. С материнской болью, настоянной в сердце, как постоянно действующая отрава, Марьюшке представилось, что слепец обязательно разобьется. А мальчик вопил:

— Мама, завтла опять поедем на ледоколе! И на белой лосадке, и на палоходе!

Муж нарочно не предупредил жену о случившемся. Но предупреждения и не понадобилось. Марьюшка, захлебываясь слезами, уже села на пол, охватила всего мальчика, поворачивала его на свет, крепко прижимала к себе и целовала в глаза.

Наутро испуг, словно в этот день не взошло солнце над миром, овладел и отцом и матерью. Мальчик ежеминутно тер глаза: они покраснели, поблекли... Мальчик горько плакал и закрывался от света.

— Лезет, лезет! — кричал Вася.

Беда грозила с неделю — и не разразилась. Глаза укрепились. О них скоро и прочно забыли и старались не вспоминать.

Но никогда не проходила в душе жалость к мальчику, а потому появилась и особая любовь к нему. Вася рос вольницей. Ему дозволялось и прощалось больше, чем следовало.

Вася лет до семи не умел бегать, он трусил за ребятишками и отставал. Марьюшка с болью следила за неумением мальчика делать такое простое дело. В эти минуты, а их было много — с утра до позднего вечера, Марьюшка с кипящей ненавистью вспоминала Ставровских. Мать объяснила изъян в сыне тем, что господа заперли его, как невольника, в тесной комнатушке, и за три первых года своей жизни мальчик больше сидел, чем ходил.

И этот недостаток Васе служил оправданием его шалостей. Суровый, дерзкий на руку отец — полный властелин в семье — смягчался при виде мальчика и уступал ему.

Фельдфебельская звезда Федора Степановича Мещерина горела уверенным и сильным огнем. Успех сопровождал каждый шаг расторопного матроса. Федор Степанович широко хлебосолил и постоянно водился с близкой ему фельдфебельской компанией. Компанию разделяли с нужными людьми — флотскими поставщиками мяса, крупы, всякой кухонной снеди, с цейхгаузными молодцами, с покладистым интендантством...

Начальство было в сторонке, но оно ловко и умело направляло подчиненных к тесному знакомству с рыскавшими вокруг экипажей хищниками. Фельдфебелей почитали и задабривали из остатков от крупной дани, которую проглатывало тузовóе офицерство.

Квартира Федора Степановича на Павловской так и называлась, в подражание офицерскому собранию, „фельдфебельское собрание“. Здесь больше пили, гуляли и дулись в картишки гости. Сам хозяин участвовал в складчине, но пренебрегал выпивкой.

— За меня дедушка все выпил, — шутил, отказываясь, хозяин, — так пил... сорока лет от белой горячки сгорел.

Марьюшка вступалась за мужа:

— Не невольте его! Напьется — мне с ним лишняя уборка. „Марьюшка, — кричит, — тазик!“ — и влежку на кровать. В новобранцах отпил свое.

Федор Степанович угрюмо взглядывал на жену из-под кудлатых с рыжеватостью бровей и резко обрывал заступницу, по простодушию сболтнувшую лишнее.

Но Вася, наученный матерью, мог смело забраться на отцовские колени, взять у него стакан с водкой или пивом и вылить на поднос или, под хохот всего собрания, унести стакан на кухню, чтобы там предложить его своей няньке — денщику Кулакову. Пьянчужка, давясь в страхе, чтобы не отняли, мгновенно опрокидывал его.

— Выпил! — объявлял мальчик, топоча из кухни с веселой мордочкой и с опорожненным досуха стаканом. — Не поморщился! Не как папа!

Федор Степанович строго и ревниво наблюдал за трезвостью Кулакова, сажал его за пьянство в карцер, под горячую руку бил. Но денщик пользовался охраной своего воспитанника.

— Вась! Вась! — вопил он, когда матросы, раздраженные нещадным сопротивлением и пьяным дебоширством денщика, волокли его в карцер. — Васенька, заступись!

Мальчик кидался на защиту, колотил ручонками матросов, старался дотянуться до лиц и расцарапать их, а раз даже укусил за ногу отца, пнувшего лежащего на полу Кулакова. Денщика иногда не отправляли в карцер, уступая дикому реву и смешной драчливости мальчика.

Отец шутливо брал за ухо сына, но, не имея сил наказать его, только недовольно говорил:

— Нельзя спаивать Кулакова. Он с тобой не пойдет гулять. Я его посажу в холодную.

Мальчик жестоко подводил мать. Он иногда отбирал у отца стакан и протягивал его ей:

— На̀, мама!

Марьюшка знала, что отцу, как он любил говорить, неприятно вмешательство ее не в свое дело, отец уже хмурился и морщился, жена смущалась и краснела.

— На что мне, — отказывалась она, — поставь на стол.

Мальчик упорствовал и обижался:

— Сама велела, а не берешь!

Гости весело хохотали над материнской растерянностью.

Федор Степанович допускал иногда вольность сына с денщиком, не препятствуя подносить ему стакан, но на Марьюшку он неизменно сердился, неласково ссаживал мальчика с колен, отнимал у него посуду и грозил жене:

— Учи, учи... ерунде парня!

Фельдфебельская компания свободными вечерами и в праздники завсегдатайствовала в одной пивнушке. Марьюшка недовольно жаловалась соседкам:

— Федор Степанович простой кот. Сам пьет мало, а других угощает. А те и рады. Опивают. От компании неохота отстать. По-за глазам моим, смотришь, денег и уйдет в три раза больше. Когда дома — и не любо — а удержится.

Федор Степанович застревал в пивнушке на весь вечер. Мальчик выручал. Марьюшка приводила сына к пивнушке, впускала его за двери, не смея сама входить, и шептала мальчику:

— Зови домой отца! Тяни его за руку!

Вася проделывал все в точности.

Подвыпивший отец, увидав в табачном дыму, в грязи пропахших пивом стен чистенького своего мальчика, понимал, что пришла Марьюшка и дожидается на улице.

Федору Степановичу на короткое мгновенье хотелось рассердиться, хотелось разбранить жену, подсылающую сына в скверную пивнушку. И точно ему становилось стыдно перед мальчиком за окружающее потное, распаренное, орущее трубокурое безобразие.

— Папа, пойдем! — жалобно и настойчиво тянул отца за руку мальчик. — Пойдем спать!

Федор Степанович размягчался, вставал и говорил:

— Мне пора! Я ухожу!

Друзья недовольно шумели:

— Мещерин, не будь бабой! Что тебя женушка, как маленького, укладывает спать! Ровно в монастыре живем: после ужина на покой.

Иногда друзья выскакивали на улицу и уговаривали Марьюшку не тащить мужа. Сердились или подхватывали ее под руки и с хохотом доставляли к столу.

Тогда уже Федор Степанович уходил без всякой проволочки: друзья достигали обратного. Муж делал глазами понятные жене знаки, которые означали, что она не должна была присаживаться к неопрятно залитому пивом и забросанному оглодками раков, черных сухарей и желтым горохом пьяному столу.

— Не хочет без тебя спать! — оправдывалась на улице Марьюшка. — Плачет. Ищет тебя.

Мать подталкивала сына в бок, чтобы мальчик подтвердил ее слова. Не всегда это выходило.

— А я спал, — наивно отвечал сын, — а мама меня разбудила и сказала: „Пойдем за папой“.

Но чаще мальчик обвивал ручонками шею отца и подтверждал:

— Верно, папа. Мы не врем с мамой. Мама по комнате ходила и не спала. А мне без тебя скучно спать.

Федор Степанович отмалчивался. И вдруг, остановившись, сердито выкрикивал жене:

— Не смей меня срамить перед товарищами! Надо мной смеются! Я сижу в портерной и... поглядываю на двери! Вестовым тебя, дура, называют! Вестовой в юбке! Ни за кем не ходят, кроме меня.

Федор Степанович мог сердиться, однако Марьюшка редко отказывалась от испытанного способа.

Современем в квартире появились два властелина: большой и маленький. Маленькому подчинялось и маленькое цар-

ство: две младших сестренки, родившиеся одна за другой, и старший брат Шура.

Года через два, как сняли квартиру на Павловской и обстроились окончательно, житью Шуры у бабушки пришел конец.

Бабка Афанасья припомнила изведанную ранее дальнюю дорогу и доставила внука обратно.

Вася нетерпеливо поджидал его. Старший брат вступил в отцовскую квартиру со слезами. Бабушка ввела его за руку на кухню. В деревенской бараньей шубенке, в коровьих раздавленных валеночках, в заячьей шапке, на голову выше меньшака, Шура, как неподвижный столбик, замер у дверей. Мать целовала и обнимала его. Он держался опасливым волчонком, не разделял ее порывов и хватал усмехавшуюся почему-то бабку Афанасью за платье, а потом с вытаращенными глазами застывал на своем месте.

Васе очень не понравились ласки матери чужому мальчику, совсем чужому, который по бедности наряда представился ему нищим.

Два мальца издали принужденно разглядывали друг друга.

— Вот так братаны, — подшутила веселая бабушка, — мужик и барин. Мужику хоть за дверь беги да пешком в Пряхино, а и барин не больно приветлив. Надулся. Ровно собирается вступить в драку.

— Вася, подойди к Шуре и поздоровайся, — нежно сказала мать. — Ты хозяин, а он гость. Поцелуй его...

В это время Вася с особым неудовольствием рассматривал на брате вытертую грязную заячью шапку. Мальчик поколебался и подозрительно взглянул на мать.

— Ну же, скорее, — понудила она.

Вася решительно шагнул к Шуре. Но мальчик сделал то, чего никак не могли ожидать. Мать и бабушка подготовились и заранее умилились от предстоящего знакомства братьев. И обе они ахнули от неожиданности. Вася подошел к Шуре, резко сорвал с него шапку и бросил ее в помойное ведро.

Деревенский гость взвыл с таким отчаянием, что почти вслед за ним заголосил и виновник происшествия.

Шура был завоеван с первой встречи. Вскоре он перестал дичиться и привык к брату, но надолго утратил старшинство, подчиняясь во всем младшему.

Отец невольно способствовал подчинению Шуры. Рыхлый, неуклюжий тихий мальчик был не похож на огневого, разудалого и громкоголосого братишку. Отец уже научился относиться к деревне свысока. Он хохотал, чтобы почти вслед раздражаться над неумелыми движениями и привычками старшего сына.

— Что за неотесанного вахлака ты привезла, мать! — куражливо и снисходительно восклицал Мещерин. — Какой-то он толстопятый! Заброда! И костюм городской на нем сидит, будто не по мерке шит.

Вася, выстраивая перед окнами квартиры дворовых мальчиков и девочек во фронт, — игра в новобранцев была самой любимой, — голосисто распекал брата, стоявшего, как самый большой, на правом фланге.

— Подбери живот, вахлак неотесанный! Что у тебя брюхо, как два дома ходят!

Мальчик часто наблюдал обучение матросов, видал, как делал это отец, и старался подражать ему. Клоп носился петушком перед шеренгой ребятишек. Маленькая бескозырка с развевающейся ленточкой, на которой серебром по черному было написано название корабля „Боярин", слезла на лоб, курточка распахнулась, ножки в гневе топали по земле почти против каждого выстроенного „рядового". Больше всех доставалось брату.

— Я тебя обучу! — старался как можно грубее и похоже на отцовский голос представить Вася строгое начальство. — Ты у меня забудешь свою глупую деревню. Смирно, толстоголовый!

Он начинал весело хохотать, поддержанный всеми, кроме брата, готового расплакаться.

— Так я же, Шура, нарочно, — ласково успокаивал мальчик незадачливого матроса, — а ты нюня взаправдашную. Ха-ха! Так смешно повернул голову. Ха-ха!

Шура сердился и покидал фронт.

— А ты жаловаться маме! — кричал в негодовании Вася. — Ябедник, ябедник!

— Ябедник, ябедник! Шурка ябедник! — подхватывал весь двор.

— Не примем его больше в игру! — заявлял мальчик. — Он только портит военный строй.

— Не примем! — гремел десяток голосов. — Нам ябедников не надо!

Кое-как улаживали несогласие. Марьюшка высовывалась из окна и уговаривала Шуру:

— А *ты*, дурачок, сдачи дай! Зачем плакать? Ты смелее, смелее будь! Играйте все вместе.

Вася жадно ловил и перенимал отцовские и материнские слова, движения, жесты. Это — в первую очередь. Так же он учился на улицах, в казармах, на дворе, в экипажной кухне, в конюшнях, на Косе за городом, куда охотно ездил с матросами, чуть проглядит мать, за углями для отопления экипажа. Мальчик сновал везде, ко всему прислушивался и приглядывался.

Ссора благополучно пресеклась. Шура опять правофланговый. Он, несмотря на все огорчения, дорожит этим местом. У него преимущество: он самый высокий, — и Вася это понимает.

— Я тебя на левый фланг отправлю! — пугает он. — Ты путаешь всех! Как ты делаешь бег на месте? Смотри на меня!

Обучение продолжалось. Вася легко и ловко отступал взапятки и быстро-быстро семенил ножками, до поту, до красноты.

— Правильно я, ребята, показываю? — спрашивал он с некоторой тревогой.

— Так точно, вашескородие! — зычно и вразброд отвечала шеренга; вместе с ней отвечал и застенчиво усмехающийся Шура.

— То-то! — устало бросал карапуз и опять напускался на кого-либо из новобранцев. — А ты ноги, как гири, поднимаешь! Так в пекарнях тесто месят пекаря, а ты находишься на ученьи, а не в пекарне, обормот!

Вася небрежно отирал потный лоб и, отступив два-три шага, выпятив вперед крошечную тщедушную грудку, надувшись, скрипуче отчеканивал:

— За богом молитва, за царем служба не пропадают. Вот я плавал на „Боярине“ с господами гардемаринами, обучал их морскому делу на практике и получил за хорошую службу в подарок от контр-адмирала Сепягина серебряные часы. Каждый должен стараться для царя и отечества!

Марьюшка, чтобы не смущать детей, осторожно подглядывала за ними из-за занавески и удивленно качала головой. Мальчик в точности повторял рассуждения и похвальбу отца, когда спорили в фельдфебельской компании, сидящей за столом, о радивых и нерадивых матросах. Марьюшка понимала только смысл, но сама бы она не могла воспроизвести все слова в их последовательности. Это удавалось сыну.

— Вольно! — махал он рукой. — Оправьсь! Нет, не вольно, — вдруг спохватывался неугомона, — сначала давайте обойдем двор несколько раз. Я еще сегодня не командовал на ходу. На-пра-во-о!

Ребятишки успели нарушить строй. Две девочки не пожелали ходить. Но Шура сделал направо.

— Становись Шурке в спину! — вопил разгоряченный от непослушания командир. — Он лучше всех сделал. Даром, что самый деревенский.

Команда расположилась гуськом.

— Правое плечо вперед! — гаркнул Вася, пошаркал ножкой, заторопился, пошел с левой и всех сбил.

Дети довольно засмеялись над неудачей командира.

— Я же нарочно, — постарался вывернуться мальчик, — а вы и поверили. Да я сто раз пройду подряд и не собьюсь.

В это не поверил даже смирный и покладистый Шура.

— Шурка вон знает, как я умею! Мы по комнатам ходим! Верно, Шурка? — просил подтверждения Вася.

Но брат разозорничался, свел счеты и выдал:

— И дома путает...

Этого нельзя было простить. Вася возмущенно налетел на правофлангового и толкнул его. Марьюшка не успела предупредить драки. Два брата стремительно, по-воробьиному, клюнули друг друга и с ревом помчались домой.

Слезы ненадолго помешали дружбе. Уступал всегда первым отходчивый Вася. Уступал и опять верховодил.

Через какие-нибудь минуты ребята ускользнули со двора на Павловскую улицу. Было любимейшее занятие, которое никогда не наскучивало: попеременно — черед соблюдался полный — подкрадывались к едущим извозчичьим пролеткам, хватались за что придется назади и почти повисали над колесами. Извозчики доставали кнутами.

Братьям выпал черед, редкий по удаче. Они прицепились к нарядной пролетке самого Иоанна Кронштадтского, часто гонявшего мимо флотских экипажей.

— Едет, едет, — зашептала ватага, заметив издали знакомую пролетку, — Иван Кронштадтский. Мещериным не сесть, не сесть! Как мчит! Смотри, колес не видать!

— Сядем! — дрожащий от возбуждения сказал Вася. — Забегай, Шурка, с той стороны, а я с этой!

На полном ходу мальчики ухитрились взгромоздиться на чуть выступивший задок. Их качнуло, дернуло, помотало, но побледневшие баловники удержались, низко пряча головы от седока в широкой рясе лилового шелка.

Братья висели какими-то корчажками. Ватага одобрительно шумела и бежала за пролеткой. Иоанн Кронштадтский внезапно обернулся, что-то крикнул кучеру, придержавше-

му пару лошадей, и яростно ткнул кулаком в лоб обоих шалунов.

Братья Мещерины оборвались, упали и тотчас вскочили. Ватага окружила их и наперебой стряхивала с курточек дорожную пыль.

— Мы, ребята, как те нищие прокатились, помните, тогда-то, — геройски хвастался Вася. — У Кронштадтского кулак совсем мягкий. Мне не больно.

Месяца полтора назад за пролетку Иоанна Кронштадтского уцепилось двое нищих с обнаженными головами. Знаменитый батюшка мчался. Нищие успевали скакать за ним.

— Благослови, батюшка! Благослови, батюшка! — раздавалась торопливая мольба.

Ребятам показалось, что Кронштадтского везли не две, а четыре лошади. От сильного ветра, похоже на конские гривы, раздувались волосы нищих, а отрепья на босых ногах были как мохнатые лошадиные ноги.

И батюшка поднял для благословения кулак над головой, ударил одного нищего, ударил и другого. А те отстали, начали креститься и в пояс кланялись пролетке.

— Чему они, дураки, радуются? — удивленно спросил у товарищей Вася. — Их же побили, они же еще и благодарят. Вот дурни!

Мать долго объясняла Васе, что Иоанн Кронштадтский — святой, что нищие удостоились благодати, а благодать оттого, что батюшка прикоснулся к ним. Мальчик не понял, но повторил хитрую проделку нищих.

Он победителем вбежал в квартиру и, захлебываясь, кричал:

— Мама, мама, и меня кулаком ударил Иоанн Кронштадтский! И Шурке попало! Мы на лошадях Кронштадтского катались!

На этот раз мать почему-то иначе отнеслась к Иоанну Кронштадтскому и даже бранила его за обиду детей. А отец снял со стены его карточку и куда-то убрал.

Вася долго разыскивал ее. Как-то случайно она попалась ему в отцовской книге с кораблями. Мальчик ее присвоил и выстриг из нее лошадку, приспособив для гривы бумажного коня распущенные волосы святого. Но за это был поставлен в угол, хотя, ставя его, отец смеялся.

Мать закрыла глаза рукой, плечи у нее ходили ходуном, щеки были в смешливых морщинках, и как-то странно шевелились губы.

Вася отстоял недолго. О нем забыли. Мальчик не нашел нужным оставаться в углу, раз на наказанного не обращали внимания. Все же из предосторожности, как бы папа с мамой не пожелали наказать его уже за ослушание, он сначала присел в углу на корточки, выждал и тогда, тихохонько двигаясь по стенке, перебрался в другой угол, к игрушкам. А потом оказался за столом возле матери, чинившей мальчику штанишки.

Вскоре Васе пришлось увидеть Иоанна Кронштадтского ближе, чем он видел его на пролетке.

В одно из воскресений Кулаков повел мальчика гулять. Около Спасского собора, где служил Иоанн Кронштадтский, встретились с какой-то улыбающейся женщиной. Денщик очень суетился вокруг нее, беспричинно улыбался, сделался весь красным и даже вспотел.

Вася нетерпеливо дожидался конца этой, не нужной ему встречи. Кулаков держал мальчика за руку. Он так нагрел ему ладонь, что Вася освободил ее и вытер о пальтишко. Разговорчивый и беспокойный денщик вдруг показался ему маленькой пестрой лошадкой, только без хвоста, которая очень устала, и от нее шел пар. Денщик снял бескозырку и погладил себя по горячему лбу. И действительно, над головой словно бы появился парок и растаял.

Женщина поглядывала лукаво и насмешливо. Внезапно Кулаков что-то начал ей шептать, а она кивнула ему.

— Вась, — сразу сказал денщик, — ты меня отпусти ненадолечко... Мне сходить надо к этой тете. Она живет тут...

рядом. Подь вон за ограду... Поиграй один. Никуда не уходи. Я живо поворочу.

Мальчик колебался. Вдруг женщина ласково и приветливо наклонилась к нему, тепло и хорошо поцеловала в красную щечку и певуче промолвила:

— Ах ты, милая редисочка! Уважь, отпусти Кулакова. Он тебе от меня подарок принесет. За оградкой сядь и подожди.

Вася согласился. Денщик и женщина быстро пошли. Мальчик пожалел, что отпустил няньку, но передумывать было уже поздно.

За оградой Васе скоро наскучило. Ничего интересного. Мальчик заметил огромные входные двери в собор. На ступеньках перед ними, по бокам, сидели груды отвратительных нищих, уродов, безруких, безногих, почти голых, в тряпках и всякой разноцветной рвани.

Васе захотелось проникнуть в собор — в новое место, где он еще не бывал. Некая старушонка-нищая шутливо поиграла с мальчиком клюшкой, ткнув его в бок, и, шамкая, спросила:

— Эй, богомолец-матросик, куды мать-то потерял? Али один пришел, батюшка?

Вася отнесся осторожно к заигрыванию бабки, перепугался ее страшного, беззубого вида и бросился бежать вперед.

— Тише ты, малыш, — раздавался повсюду шопот в толпе, когда струсивший старухи мальчик упорно куда-то лез, чуть не между ногами, — не толкайся! Остановись! Раздавят тебя, червяк ты этакий! Где у тебя родители? Ищешь отца и мать?

Вася духом пробился к самому алтарю — и тогда перепугался окончательно. Впору было зареветь на весь огромный, переполненный народом собор, как делали другие маленькие и грудные дети, пищавшие и кричавшие со всех сторон.

Мальчик оглянулся назад и с раскаянием подумал, что бедный Кулаков, наверное, возвратился, бегает в ограде,

зовет его, плачет и боится папы, а выйти теперь уж из церкви было нельзя. Мальчику представилось, что люди стояли так близко, как будто срослись. Выбраться можно было только по воздуху или ползком по полу. Но люди переставляли ноги. Толпа по временам шаталась — и она раздавила бы всякого, помешавшего ей, как соринку.

Испуг мальчика умножил Иоанн Кронштадтский. Он то пронзительно, то почти шопотом произносил непонятные слова. Люди торопливо и послушно крестились, кланялись, вздыхали и кашляли. Иоанн Кронштадтский служил с таким лицом, что мальчик начал прятаться за огромный серебряный подсвечник и в ужасе выглядывал оттуда.

Суровость лица батюшки мальчик объяснил по-своему. Раз Иоанн Кронштадтский, по рассказам мамы, назывался святым, хотя по лицу он сейчас напоминал Васе настоящего злого разбойника со многих виденных им картинок, то, конечно, он узнал Васю, сидевшего на его пролетке, и потому так неприятно морщился.

Мальчик с трепетом ждал самого страшного, когда, наконец, Иоанн Кронштадтский встанет около царских врат лицом ко всем людям, протянет длинный, как клюшка нищей старухи на паперти, палец и крикнет; „Вот он, мальчик Вася! Смотрите на него все! Он шалит на Павловской улице и забирается на чужие пролетки. Возьмите его из-за подсвечника и дайте мне: я унесу его в алтарь и запру там в наказанье на всю ночь!“

Мальчику стало невыносимо душно. А главное, даже не душно, хотя со стен лило, точно с потных лиц людей, — Васе было страшно.

Страх его усиливали две женщины, бившиеся на полу и кричавшие слова, которые часто употреблял Кулаков, но употреблял их только пьяный. Вот тогда-то папа топал на него ногами и бил его и выгонял на черную лестницу или отправлял в карцер. Почему же этих безобразивших женщин не только никто не трогал, а, наоборот, за ними —

должно быть, родные — ухаживали, закрывали им рты, крестили их и изо всех сил удерживали на месте, жалеючи, плакали над ними и молились.

Одна женщина была особенно опасна и совсем некстати дразнила и так рассерженного батюшку. Красная, с белыми зубами, она беспрерывно извивалась, как мясо, когда мама пропускает его через машинку на котлеты, голову и ноги у женщины сводило вместе, она походила на клубок, на грудку мяса. Безумная вопила громогласно на весь потрясенный и настороженный, утопающий в огнях, дыму ладана и духоте собор:

— Ванька! Дьявол долгогривый! Сатана! Ванька Кронштадтский! Выгони, выгони беса! Ванюша! Покропи меня святой водицей! Поплюй на меня! Иван, Иван, Иван!..

Женщина так безутешно начинала рыдать, что мальчик еле сдерживался, чтобы не ответить ей.

Вася, однако, скоро перестал бояться. Иоанн Кронштадтский ходил взад и вперед из алтаря и в алтарь, пел, говорил, выкрикивал слова, махал кадилом, падал на пол в земном поклоне и тогда точно вылезал из ризы; золотой воротник ризы, схожий с воротником армяка извозчика, полз над головой, в него как бы прятался от людей священник и бормотал что-то неясное и неразборчивое. Иоанн Кронштадтский никого не трогал. Он даже ни на кого не глядел.

„Да он будто слепенький“, — подумал мальчик. Васе понравилась эта привычка Иоанна Кронштадтского не видеть и не слышать, что происходит в церкви.

Он совсем осмелел и перестал скрываться за подсвечником.

Иоанн Кронштадтский вышел с дарами для причастия, и к чаше насильно потащили орущую, как зарезанная, женщину. Четверо мужиков подняли ее на железных, напруженных руках, пятый схватил ее за голову, шестой крепко нажал пальцами за ушами, и женщина, застонав, выпучив больные глаза, широко открыла рот. Мальчик вспомнил раз-

верзтый рот мертвой щуки, лежавшей у мамы на кухонном столе во время готовленья.

Иоанн Кронштадтский, как и мама, только у той был длинный кухонный блестящий нож, а у этого — длинная блестящая ложка; не стал, как мама щуке, отрезать женщине голову, а опрокинул ей в рот ложку. Женщина хлебнула и вдруг выплюнула в лицо и на бороду священника красное причастье.

Вася не заметил, как откуда-то взялась высокая худая, как бабка Афанасья, старуха и с ревом захлопнула рот причастнице рукой.

Синевшую и бьющуюся женщину, словно огромную икону в киоте, понесли через толпу на паперть.

У чаши шла давка. Вася с изумлением наблюдал полное равнодушие Иоанна Кронштадтского к неопрятному своему лицу и бороде, на которых оставался плевок сумасшедшей женщины.

Мальчик зазевался и был придвинут вплотную к Иоанну Кронштадтскому. Вася совершенно оправился от всякого страха и даже смущения. Где-то, почти над брюхом у священника, мальчик заинтересованно погладил шероховатую золотую парчу ризы.

А едва он бережно провел ручонкой по ней, как Иоанн Кронштадтский высоко вознес чашу, глянул из-под нее, нагнулся, зачерпнул полную ложку и причастил мальчика.

Васю давили и комкали. Люди почему-то все сгрудились и лезли к Иоанну Кронштадтскому ближе и ближе...

Молчаливое движение толпы было грозно. Мальчик выбивался из сил, не умея побороть захлестывавшую его человеческую волну.

— Дядя! Тетя! — кричал отчаянно Вася. — Мама! Папа! Кулаков!

Слезы лились из глаз мальчика, как весенняя капель.

Кто-то большой, с огромной бородищей, с лохматыми волосами, будто их собрали в одно место с нескольких голов,

красноносый, в синей извозчичьей поддевке, заметил Васю, поднял его над народом и, тяжко кряхтя, вынес на улицу.

Так из рук в руки мальчик и перешел к Кулакову. Денщик в расстройстве и смятении успел сгонять домой. На счастье, ему не пришлось каяться в оплошности. Дома он не застал ни хозяев, ни мальчонка. Кулаков кинулся обратно. Старушонка, заигрывавшая с мальчиком клюшкой, открыла денщику местопребывание его воспитанника. Осчастливленный воспитатель встал в самом тесном проходе.

На шинели денщика оборвали пуговицы, он изнывал в дикой парнé, с ним вступали почти в рукопашную, чтобы спихнуть с дороги это загораживающее ее чучело, — Кулаков не пропустил мальчика. Он еще издали, осклабившись, протянул к нему радостные лапы.

Приняв возвращенного Васю на попеченье, Кулаков тотчас же забыл всякую радость и весьма недружелюбно шлепнул его по задку.

— Дьяволенок! — проскрежетал мокрыми губами денщик. — Не хочется стервецу ходить, где детишки ходют! Козел несчастный, все ладит через огород... да на потраву... да в пекло, окаянный!.. До поту уморил!

Злость денщика-няньки никак не дошла до мальчика. Он как будто не слыхал, что ему говорил в сердцах Кулаков. Вася был захвачен своим. Он без умолку рассказывал.

— Пойдем скорее, — сказал нетерпеливо мальчик, — папа и мама будут смеяться. Я все помню как Иван Кронштадтский служил.

Тогда Кулакову пришлось опомниться и всячески умасливать Васю, долго его водить по городу, вытащить из кармана раздавленную коробочку — подарок неизвестной тети, покупать пряники, прежде чем мальчик отвлекся и обещал дома молчать и об отлучке денщика и об Иване Кронштадтском.

— Только не на совсем, — огорошил Кулакова Вася уже перед дверями квартиры, — я... понимаешь... одной маме...

папа вечером уйдет... И тебя позову... Мама любопытная... Она тебя обо всем расспросит... И тебя и меня...

Кулаков безнадежно сунул мальчика домой и прибито затих на кухне. Скоро он услыхал возбужденный голос рассказывающего Васи и шаги Федора Степановича, не выдержал, сорвался с места и тайком скрылся из кухни.

В тот вечер буянящий пьяный денщик попал в часть.

Кулаков крепко верил, что все на свете обходится как не надо лучше. Сначала беспокойно, неловко, не бывать бы прорухе, а потом и ничего. Обошлось и это.

Перевели денщика из части в карцер. Федор Степанович грозил тут „сгноить“, но у Марьюшки в хозяйстве нужда. Не самой же ей рубить дрова для плиты, бегать за всякой мелочью на базар для обеда, и готовить, и ребят няньчить. Сам же Федор Степанович рано утром разбудил безмятежно спавшего на карцерном полу денщика и выгнал его вон.

— Пошел, сукин сын, домой, — шипел строгий хозяин, — смотри — домой, а не опохмеляться!

Кулаков вскочил, пригладил для благообразия волосы, вытянулся во фронт и „ел“ бессмысленными глазами начальство. Федор Степанович хотел удержаться от смеха при виде этой нелепой, кургузой рябой фигурки, насквозь придурковатой, но и продувной, — и не удержался.

— Ах ты, притворщик! — так и раскатился фельдфебель. — Какие рожи умеет делать! Со стороны глянуть, любой за дурака примет! Лентяй! Лежебок!

Кулаков уже смотрел совершенно осмысленно, со скрытым смешком в глазах, как будто никаких недоразумений не произошло, а просто в карцере случайно встретились и беседовали исполнительный слуга и требовательный хозяин!

— Ничего нести домой не надо? — услужливо предложил денщик.

Федор Степанович, развеселившись, продолжал смеяться.

— Иди ты с глаз долой, немытая образина! — сквозь слезы, вызванные смехом, говорил фельдфебель и шутливо толкал

денщика в спину. — Старатель какой, подумаешь! На̀ вот, посади меня на закукорки и доправь до дому!

— Грузны-с, Федор Степанович! — похохатывал денщик, убираясь из экипажа. — Не дотяну! Ножки ваши по земле волочить стану! Смазные сапоги спорчу! И не отчистишь! Глянцу не навести!

После минутных горе́й Кулаков старательно бегал по хозяйству, таскал корзины с провиантом, ругался с угольщиками, выторговывая гроши, чистил картошку, рубил дрова, мыл полы, начищал до солнца фельдфебельские и свои сапоги, вышивал гладью детские рубахи, стирал, плясал для потехи и удовлетворения капризов Васи, мастерил Шуре самодельное ружье из березового полешка, чтобы надольше хватило, а отслужив, вылезал с гармошкой на лавочку во двор, усаживал вокруг себя кухарок и прислуг, подмигивал, причмокивал и веселился по нескольку часов.

Ненадежного весельчака по-своему любили в семье Мещериных. Когда он выпросился на побывку в деревню и, конечно, в два раза просрочил отпускное время, Федор Степанович ходил сам не свой. Все заместители денщики, — а фельдфебель мог взять любого из роты, — не подходили, не приживались, в квартире чувствовался посторонний, молчаливо-враждебный человек.

— Куда же это запропал незаменимый дурак? — часто вспоминал Федор Степанович. — Уж не погиб ли где? С ним все может статься!

Кулаков, обходя с гармошкой одну избу за другой во всем приходе, важно вынимал из кармашка тужурки полученную от Мещерина телеграмму и спесиво похвалялся:

— Зовут! Обойтиться без нас не в силах! Все из рук валится у фельдфебеля! А... мы и покуражиться мастаки! Месяц прогулял, а сердце и не ёкнуло!

Денщик, укрепив на самом затылке бескозырку, шел по деревне и во все горло ухарски, беззаботно, стараясь перекричать гармонь, выводил с выкрутасами и ломаньем:

Дайте ножик, дайте вилку,
Я зарежу свою милку...
Ер-кер-кимер, ер-кер-кимер,
Ер-кер-кимер, ер-кер-кимер,
Я з-зарежу свою милку!..

С Васей у денщика была дружба наособицу. Марьюшка наблюдала. Ценя своего безответного работника и няньку ее детей, она с приязнью говорила мужу:

— Не по нужде любит мальчишку, а от чистого сердца.

От Васи перепадали Кулакову лучшие куски. Мальчик получал лучшее и делился со своим любимцем. Шаловливый и неудержимый Вася портил вещи в квартире, резал столы и стулья, царапал стены и обдирал с них обои, разрушал все свои игрушки, добираясь непременно до их внутренностей, потрошил коней и сестренкины куклы, выковыривал музыкальные механизмы, был нещадно драп за все это, но никогда не прикоснулся к гармонье и не сделал ни одной царапины на вещевом сундуке своего друга.

Кулаков покрывал мальчика в озорстве, расплачивался за него, когда озорство всплывало наружу, часто по вине самого же забияки.

Мальчик становился расчетливо-нетерпимым, выручая денщика из карцера, отказывался пить и есть, выл на всю квартиру, незаметно уходил на двор, где-нибудь прятался за мусорным ящиком и, сколько бы, хватившись, ни искали и не окликали беглеца, не отзывался.

Иногда он ускорял освобождение денщика. Караульные матросы, рискуя попасться, не могли устоять перед мальчиком, который, выкрав у матери белую булку и кусок мяса, появлялся у карцера и жалобно просил принять от него передачу:

— Кулакову от Васи, — таинственно шептал малыш.

Ему позволяли заглянуть в щелку на заключенного. Тот приникал к ней изнутри и дул горячим дыханием. Вася видел веселый сверкающий глаз денщика, медлил у щелки, по-

куда матросы, заслышав чьи-то шаги, испуганно не прогоняли его. Вася ловил условный знак и мчался во весь дух прочь.

В отсутствие Кулакова мальчик совсем отбивался от рук. Он обманывал всякий материнский надзор, как бы он ни был предусмотрителен и тверд. Мальчик своевольничал.

Не раз и не два Васю считали погибшим. Однажды он исчез среди дня. Рассеянный Шура возвратился домой один. От него не могли добиться никакого толку. Он несвязно рассказывал, где они с Васей были, и не помнил, где они расстались. Кулакова, еще не протрезвившегося, выпустили из карцера, облили из ушата холодной водой и заставили искать мальчика по всему городу.

Вася не нашелся и ночью. Без вести пропал и Кулаков. Оба они явились на другой день утром, довольные и счастливые.

Едва хмель стал проходить, Кулаков, знающий привычки и любимые места прогулок мальчика, обскакал их все до единого, отчаивался и, наконец, очутился на пристани. Тут Васю всегда поражали выставленные в огромных лоханях живые рыбы, которых продавали рыбаки. Мальчик часами разглядывал их.

— Пропал мальчик! Не видали? — волновался денщик, расспрашивая всех людей, живущих на пристани. — Он сюды хаживал со мной.

— Пропал и найдется, — вяло сказал старик сторож. — Может, на пароход прошмыгнул и гуляет теперь в Питере. Гоняю их тут, баловников, метлой, отогнать не могу. Давеча вертелся один такой. По приметам как бы твой.

— А когда пароход ушел? — жадно спросил денщик.

— Часа два назад. Вон ему встречный пришел. И сейчас отвалит. Последний.

— Сейчас?

— Да. А неужто ты мне и поверил?

— Беспременно он уехал...

— Я, кажись, глядел. Не видал. Ежели увезли, билеты станут проверять, поймают и обратно доставят на пристань, а отсюда сдадут в часть.

Кулаков помчался к билетной кассе под тусклым фонарем.

— Стой, чудило, — кричал сторож, — да ты лучше здесь подожди! Неравно разъедетесь с мальчиком. Два парохода будут из Питера. Над тобой же фельдфебель засмеется.

Кулаков не ошибся. На петербургской пристани у Николаевского моста он разыскал перепуганного, но кем-то уж накормленного мальчика. Его должны были отправить с последним кронштадтским пароходом, но в суматохе запамятовали. Кулаков подоспел во-время. Хорошо, что он забегал домой и, на всяк случай, сунул в карман кошелек с последними не пропитыми монетами. Денщик рассчитывал, найдя мальчика, загубить безопасную в таких обстоятельствах чарку. Деньги понадобились на проезд двух пассажиров.

Пропавшие с первым утренним пароходом возвратились. Мальчик обещал больше не ездить. Ему запретили одному ходить на пристань, а Кулакову — водить его туда.

— Я и сам-то туда боле не загляну! — испуганно восклицал денщик. — Я так и думал: ежли парнишка свалился, узнаю, в море, утоп, так я этому причина, и мне туда дорога. Потому я его приучил шататься на пристань. Так бы я и сделал. Хлебать мне, как морским рыбам, соленую водичку!

Кулаков говорил это с рыданьями и рвал на себе волосы.

Мещерины сияли, словно незакатный свет взошел в их было осиротелой квартире.

Мальчик держал всех в неуверенности. Даже отцовская любовь к сыну иногда забывалась и переходила в неописуемое раздражение. В такие минуты разъяренный Федор Степанович кричал:

— Сорванец, все детство сидит или на крыше или на заборе! Как только башку сносит! Один тюлень, а другой молния! И нет настоящих детей, как у всех. Наказанье какое-то!

„Тюленем“ назывался Шура. Вася подхватил это прозвище и уже дразнил брата, шепча ему тут же на ухо:

— Ты, Шурка, тюлень, папа сказал.

Шура жаловался. Отец свирепел и наказывал Васю. Его отнимала жена. Тихая и трусливая женщина преображалась, голос у нее становился громким и требовательным.

— За что бьешь? — укоряла она Федора Степановича, прикрывая от него руками и юбкой мальчика. — Сам же учишь разным неподходящим словам. Не говори — и не станет перенимать худого!

За эту защиту Марьюшка и считалась главной виновницей и потаковщицей озорного характера баловня.

Ссоры ссорами, не оберешься неудовольствий из-за него, но в то же время шустрым выдумщиком-мальчиком гордились. В пьяной фельдфебельской компании, собиравшейся за радушным мещеринским столом, подвыпивший в меру Федор Степанович, горделиво растроганный смелым и решительным своим отпрыском, похвалялся им.

— Вася, — серьезно и строго спрашивал он, точно производил ученье на плацу, — когда ты вырастешь большой, кем ты хочешь быть?

Фельдфебели любопытно замирали: и о мальчишке были наслышаны с самой дурной стороны от своих жен, и не хотелось обидеть расхваставшегося товарища.

— Ротным командиром, — живо и привычно отвечал малыш.

Отца это не удовлетворяло: казалось малым и легко достижимым.

— А еще кем?

Мальчик, не задумываясь, отрубал:

— Адмиралом.

В комнате поднимался одобрительный шум: товарищи охотно льстили горделивому отцу, благо это им ничего не стоило и ни к чему не обязывало.

Федор Степанович заливался радостным хохотком, усажи-

вал Васю на колени, крепко прижимал к себе и с надеждой гладил по головке. Одна мать, недовольная пустой потехой, недоверчиво усмехалась и частенько портила отцовское расположение духа.

— Больно высоко залетаешь, — несогласно заявляла Марьюшка, — хоть бы до фельдфебеля выслужился. И то хорошо. И то дано не всякому.

Скромность хозяйки имела больший успех, чем гордыня хозяина. Фельдфебели смеялись сердечнее. Но Федор Степанович не сдавался.

— Вот поглядите на эту кикимору! — грубо и презрительно восклицал он. — И сама не знает, что выпалит! Глупость и дурость!

Гости чувствовали себя неловко, отвлекали хозяина от продолжения разговора и заминали супружескую размолвку.

Огорчал и сам будущий ротный командир или адмирал. Увлечения его быстро сменялись одно другим. Но у мальчика была неистребимая и заповедная страсть к лошадям.

В глубине огромного двора экипажа находились конюшни. Вася почти все свое время, остававшееся от прогулок с Кулаковым по городу, от беготни с ребятишками по дворам Павловской улицы, вертелся в конюшнях и возле них. Денщик и мать одобряли облюбованное место для игры: оно было окружено со всех сторон зданиями и стенами, а у единственного выхода — экипажных ворот — стояли матросы на карауле, Вася не мог проскочить незамеченным, мальчика легко было разыскать к обеду, к чаю, по всякой надобности...

У конюшен, вместе со своим коноводом, держалась и вся ребяческая ватага. Кучерам и конюхам были лишние хлопоты. Матросы развлекались с ребятами, покуда те не надоедали. Но гнали их с осторожностью, памятуя о фельдфебелях.

Нужен был присмотр и глаз, чтобы кони не затоптали и не залягали снующих повсюду озоровых висельников. На

кучерской памяти запечатлелся случай. Экипажные ребята привели с улицы мальчика. Чужака распознали после. Мальчик прельстился длинным и пушистым хвостом выездного белого коня „Ратника“. Мальчик неловко выдернул на лесу несколько волосинок и угодил хилой грудкой под могучий рывок конского зада. Конюха судили и послали на кухню чистить картошку.

Вася знал по прозвищам всех лошадей, смело и уверенно гладил конские морды, таскал лошадям сахар, восторгаясь, как хрустел он на белых конских зубах, точно наступал мальчик на морскую раковину и давил ее.

И Вася вгонял в краску посрамленного отца. Словно в веселой и шумящей комнате, когда очередная пирушка забиралась на самый высокий взвод, раздавался оглушительный выстрел.

— Кем ты хочешь быть, Вася? — выдавал свою мечту отец. — Скажи мне, мальчик, порадуй! Только хорошенько подумай сначала.

— Конюхом, — мечтательно отвечал Вася.

Не умолкающее надолго ржание нарушало всякую меру поведения гостей. Федор Степанович отшвыривал мальчика от себя и дулся на всех.

А Шура, в подражание Васе, угрюмо отвечал на тот же вопрос, заданный кем-либо из папиных товарищей:

— А я хочу быть Иваном Кронштадтским.

Федор Степанович огорчался будущим неудачам своей отцовской жизни.

— Марьюшка, — хлопал он в азарте по мокрому столу кулаком, — кого ты мне родила? Один парень стрела — в конюхà, а другой, увалень — в сумасшедшие попы, в юродивые, во святые угодники в шелковой рясе... нищий народ околпачивать!

Марьюшка не принимала всерьез такого огорчения, любовно обнимала обмишулившихся перед отцом ребятишек и даже подзуживала мужа:

— Не всякую пьянку... в адмиралы! Надобно и попроще, пониже сесть. А Шура так и не знай чем тебя огорчил? Худо ль Иоанном Кронштадтским?.. Почет, богатство, с самим царем за одним столом обедает, с государыней. Руку у батюшки целуют, как к мощам прикладываются цари... И работа не больно трудная: служи себе обедни по воскресеньям да падучую выгоняй из больных баб!..

Шура был нагладко выстрижен, толстоголов и неуклюж.

— Шурка, — кричал насмешливо отец, — мать-то тебе что пророчит! Поповская грива у тебя на голове отрастет, как у лошади. И-го-го!

Шура пускался в дикий, неутешный плач. Отец сердился и запрещал выть. Детей отправляли на кухню к Кулакову. Мать прикрывала наглухо дверь. Денщик — тот умел утешить.

— А я вот, — оживленно вскакивал Кулаков с койки, — думаю, чего это Вася и Шура не идут ко мне змей доделывать, мочальный хвост привязывать? На дворе ветерок, завтра выпускать надо, а змей не готов. Трещотку на змее будем делать, аль без трещотки?

— С трещоткой, я хочу с трещоткой! — уже увлекался Вася.

— И... м...мне с трещоткой! — боясь опоздать, заканчивал рев Шура.

— Т-т-тихо, — важно произносил Кулаков, — чтобы без шуму и по согласу... Я плаксунам змеев не делаю...

Бывают такие ребятишки — общие любимцы. Вася чем-то трогал черствоватые и озабоченные службой сердца конюхов и кучеров. Наряд матросов отправлялся на нескольких подводах за углем. Место хранения угля за городом называлось „Коса“. На улицах кричали матросы:

— Куда?

— На Косу.

Вася в белой матросской рубашке с синим воротником восседал в глянцевито-черной от угля телеге. Мальчика знали во всех экипажах.

— Вася, — смеялись матросы с тротуаров, — наряд твой не совсем к месту. Ужо тебе мать штаны спустит! Васютка, ты рукавицы-то взял грузить уголь?

Потом матросы-угольщики оправдывались перед Федором Степановичем:

— Отбою нет. Просится. Возьмите да возьмите. Плачет. Сжалостивились. Думаем, обидишь дитё. И парнишка хват. Занятной. Ровно при нем и грузить легче уголь. Мы, Федор Степанович, от пыли его устерегали, а он где-то весь перемазался. Глаз не спускали, знаем, свой малыш, — и не уследили.

Мальчик подчинялся запретам плохо, скоро забывал о них, зато приучался ловко проводить родителей. Он притворно просил прощения, обещал никогда больше не делать того-то и того-то. Его прощали и радовались ранней сообразительности сына. Но мальчик попадался. Отец раз поймал его.

Будучи одурачен, он крепко покраснел и после этого подозрительно вглядывался в мальчика, когда тот в чем-либо оправдывался. Как-то Федор Степанович разбранил Васю за долгую отлучку, внял его тихому и скромному извинению, а затем разрешил мальчику итти на двор, к нетерпеливо дожидавшимся товарищам.

Мальчик, как шар, скатился с лестницы. Отец секретно наблюдал из окна. Вася бурей вырвался на двор, манерно отставил ножку, щелкнул пальцами и довольно громко сказал:

— Вот как наши объегоривают! Я прикинулся несчастненьким, а папа и попался на удочку!

Дети одобрительно смеялись. Отец возмущенно и глупо вытаращил глаза. Он еле-еле сдержался, поняв, что было бы выгоднее запомнить оплошность мальчика для будущего обращения с ним, чем снова открыться сыну в смешном виде. К тому же мальчик испугался собственной болтливости и осторожно косил глаз на раскрытое окно, у которого заметил отца.

И поездки на Косу продолжались, и мальчик не мог отка-

заться от разглядывания плавающих рыб в рыбацких лоханях у пристани. Вася пропадал, несмотря на все рогатки, препятствовавшие его изворотливости. Но теперь было легче: знали, где искать мальчика и у кого спрашивать о нем.

В веселые минуты Федор Степанович укорял Васю и подсчитывал его шалости. Мальчик неотразимо-нежно улыбался, лукавил и оспаривал их. Шура служил удобной мишенью.

— Помнишь, ты в прошлом году залез в котел на дворе? — скрывая смех, хмурился отец. — Мать только сделала тебе новый костюм, и его пришлось выкинуть на помойку. Отстирать не могли.

— Это, папа, не я, — отрицал спокойно мальчик: — это Шурка первый залез. А мы с ребятами за ним. Котел из котельной вытащили на наше место. Нам играть негде. Мы думали — он не грязный. Зимой смотрели — огонь в топке очень страшно горел. Шурка нам сказал, что в огне сажа горит и стеночки чистые.

— Я не говорил, папа, — отпирался Шура. — Он залез да и кричит из котла: „Шурка, давай в котле жить: тепло и не дует“. Сначала ребята залезли. Потом меня стали из котла дразнить: „Трус, трус!“ Я последний был, а не первый.

— Кто нынче в пасху кулич потерял, баловник? — Федору Степановичу казалось, что он теперь-то поймал Васю. — А?.. И тут отопрешься?

Мальчик даже сердился.

— И отопрусь. Кулич тяжелый. Я его нес-нес. Спина у меня заболела. Я его Кулакову отдал. Или Шурке...

— Да-а! — перебивал брат. — Обманывай, обманывай папу! У меня свой был кулич, а у Кулакова — пасха с яйцами. А ты за оградой бегал-бегал да с ребятами полез на колокольню. Кулич-то на камушке и забыл. Нищие рядом сидели. Они его забрали и съели.

— За ухо тебя следует, вруна! — с поддельной мрачностью говорил Федор Степанович. — За ушко да и на солнышко. Кто в роте у меня из матросов врет, того я не люблю.

Мальчик с хитринкой спрашивал:

— А не в роте, папа, можно?

— Нигде нельзя.

Когда с Павловской улицы переехали в тринадцатый флотский экипаж, где Федору Степановичу в нижнем этаже, под матросскими помещениями, нашлась бесплатная квартира — и он не захотел упустить удобное для службы жилье, — Вася реже и реже стал пропадать в городе.

Огромные матросские дортуары, всякие закоулки на лестницах, на чердаках, конюшни, кухня, двор, равный по длине улице, почти вполне заменили город.

Туда, за город, на Косу, на кладбище в деревьях, купаться в заливе ходили с мамой и папой.

Особенно интересно было купаться. В экипаже и на экипажном дворе такого удовольствия не сыщется. Папа, высокий, — мальчик сравнивал его почему-то с пароходной трубой, — голый, шел впереди, за ним шлепали по воде руками Вася и Шура.

Мутная вода. Цепкая зеленая скользкая морская трава заплетала ноги. Долго и далеко шли. И все было папе до колен.

Но вот папа садился в воду и скрывался с головой. Это казалось очень страшным. Папа, отфыркиваясь, показывался наружу. Он протягивал руки, на них ложился Вася и бултыхал ножками. Плаванью обучались каждое лето. Но научились только одновременно опускаться в воду, зажав уши и нос и стараясь пересидеть друг друга.

Мальчик завистливо наблюдал, как папа пересиживал их с братом. И тогда он пустился на уловку. Только папа приготовился вынырнуть, Вася, забрав воздуха как можно больше, присел в воду.

Но уловка не удалась. Папа с изумлением заметил сидящего в воде Васю, понял, улыбнулся и погрузился снова. Купанье скоро так и стало называться: кто кого обманет?

Город был почти не нужен. Но нельзя было не ходить

в гавань и жадно, до рези и слепоты в глазах, не отрываясь, смотреть на спящие в цепях корабли, крейсера и броненосцы, на веселые щуки-миноноски, на широкие пароходы-транспорты.

Вася сопровождал отца и на собственный броненосец, — таким он считал корабль, на котором плавал папа. И „наш броненосец“ представлялся лучше всех: он пылал на солнце золотом и серебром точно огромная зажженная люстра в церкви или ночной — в огнях — Андреевский собор в Кронштадте. А медные трубы на капитанском мостике казались вытянутыми лебедиными шеями, обернутыми почему-то в золотую бумагу, как игрушки на елке.

Жизнь экипажа вошла в маленькое существование Васи как нераздельное и большое и почти главное. Мальчик встречал в декабрьскую поморозню у экипажных ворот, как ему казалось, чудаковатых деревенских людей, будущих ловких и щеголеватых матросов. Новобранцы рваной, мохнатой бедной запуганной кучей вваливались во двор. Их вели, как арестантов, под конвоем. Вася слышал громче и чаще других слов один окрик:

— Деревня! Деревня! Деревня!

„Зимние мужики“ — так называл мальчик новобранцев — кой-кто подмигивал ему и сдержанно пересмеивался между собой.

— Деревня! — повторял Вася недовольно.

А тогда из кучи, должно быть самый смелый, насмешливо выкрикивал:

— Здорово, ваше благородие! Эй, малыш, пошто мою шинельку надел? Как зовут-то... полковника?

— Вася, — улыбался мальчик.

— Ишь ты, — вольничал тот же новобранец, — а мы думали, такие Васи у нас только в деревне водятся!

По экипажному двору везли на открытых телегах матросский румяный, машинного печения, ровный, точно двойные кирпичи, черный хлеб. Он так вкусно и остро благоухал,

что мальчик с удовольствием втягивал ноздрями знакомый сытный запах.

У ворот помещалась кухня с яркими, как купола, медными кастрюлями, баками, сковородами. На кухонных столах, точно длинными саблями, светлыми ножами, в белых халатах, мордастые, распаренные от жары, маслянистые коки резали сочное, чавкающее в крови мясо. В углу, за плитой, на полу, словно на базаре, лежала большая груда очищенного картофеля, свеклы, капусты. Плиты шипели, трещали и чадили, как на „нашем броненосце“ в машинном отделении горящие топки котлов.

В обед через маленькие сенцы мчался из экипажа черный, без шапок, крикливый табун матросов. Щелкали деревянные ложки, дымились блюда, распотрошенный хлеб лежал кочками на продолговатых столах.

Мальчик любил обедать с матросами. И они его сажали с собой, выбирали необкусанную ложку, чтобы Вася мог свободнее управляться со щами, нахваливали, как мальчик аппетитно, из подражания соседям, жевал и глотал ароматичный хлеб.

Вася иногда так набивал живот, отобедав подряд с двумя сменами, что дома получал от отца за третьим обедом выговор или даже затрещину: мальчик неладно вертелся за столом, чуть-чуть прикасался к жаркому, больше ковыряясь в нем вилкой, чем кушая его.

Мальчик первым приносил Федору Степановичу тревожное известие с кухни, когда матросы сердились, не обращали внимания на Васю, не сажали его рядом, а блюда со щами и кашей стояли такими же полными, как их принесли от кричащих что-то, злых коков. Матросы выплескивали из ложек белых жирных червей. Один раз какой-то матрос набрал их горсть, сунул в кулачок Васе и сказал:

— Поди, парнишка, снеси отцу и покажи.

С тех пор мальчик самостоятельно таскал домой червей. Отец сердился, приказывал маме больше не пускать Васю на

кухню, живехонько облачался в шинель или мундир и торопился на кухню. Мальчику мама мыла ручонки и почему-то больше с лаской, чем с недовольством, попрекала его:

— Юла, до всего-то тебе дело! Только папу сердишь!

Случалось, в обед около ворот неожиданно вытягивались, как в строю, караульные. Железные ворота с громом распахивались.

— Шурка! — кричал обедавший Вася через весь стол брату, где-нибудь притулившемуся на кончике, — бежим! Командир экипажа едет!

Мальчики выскакивали на кухонное крыльцо, замирали и отдавали честь. Командир экипажа улыбался и благодарил Федора Степановича за „допризывную подготовку".

— Л-ловко делают! — восторгалось начальство. — По всем правилам! Другой большой дурак за всю службу так не научится козырять!

В начале лета экипаж снимался с зимних квартир. Матросы отправлялись во внутреннее плавание. Вася с ватагой ребятишек носился по пустующим ротам. Ребятам нравилось, что бегущие шаги их гулко звучали в пустоте. Еще интереснее было кричать во все горло и слушать, как где-то под потолками голоса повторялись, точно кричали вдали на смотру сотни матросов.

Мать же приходила в отчаяние. Особенно в первые дни по отъезде матросов. Вася и Шура прибегали иногда с ревом. Они набирали в ротах несметные количества блох. Лица, костюмы, руки, словно детей побрызгали кропилом, окунутым в чернила, покрывались мелкими и крупными блошиными черницками. Блохи кидались на раздраженную мать. Фельдфебельские жены — и одна, и другая, и третья — с бранью и с хохотом выгоняли свое шаловливое потомство на улицу, оставляли нагишом и выколачивали рубашонки и штанишки, вытряхивали их на ветру и швыряли в стирочные корыта.

Вася знал сотни матросов в лицо. Знал, кто часто сидел в карцере, кто пьянствовал, кто воровал, кого любили фельд-

фебели и ненавидели матросы, кто часто ходил в лазарет, — знал, кого из матросов вызывали Машки, Сашки и Нюшки в платочках, являвшиеся откуда-то от Каспийских казарм.

Всех офицеров Вася запомнил по фамилиям. Ему передалась отцовская зависть к ним, но вместе с этим и отцовское презрение. Офицеры часто брали мальчика за подбородок. Делали Васе в бок буки. Офицеры улыбались, а Вася ощетинивался на них.

Мальчику казалось обидным, что к лицу прикасались посторонние люди, и почему-то прикасались всегда холодными пальцами. Матросы так никогда не делали, а лишь обнимали за плечи или за спину. И это было приятно.

В пустом экипаже раздолье. За лето из рогаток выбивали несколько дюжин стекол. Марали и царапали гвоздями стены. Гурьбой забирались в пристроенные к экипажу обширные деревянные матросские уборные. В широкое „очко“ напряженно глядели со второго этажа в первый. Там проползали чудовищные лохматые рыжие крысы, больше самых матерых сибирских котов. Сюда таскали чайники с кипящей водой, затаивались и по сигналу опрокидывали в „очко“. Ошпаренные крысы падали, кусали друг друга, дико визжали и разбегались.

На Павловской улице была лавчонка, где Кулаков на книжку закупал для семьи все необходимое. Федор Степанович баловал мальчиков. Им позволялось заходить туда и брать на ту же кулаковскую книжку гостинцы — рожки, пряники, булки...

Набегавшись по экипажу, по двору, Вася с целой ватагой товарищей отправлялся в лавочку и угощал свою верную артель.

Лавочник записывал и записывал, радуясь оптовому покупателю. Но когда пришло время расчета, Федор Степанович обомлел. На лавочника рассердились и перестали брать у него товары. Васю жестоко выпороли, а деньги пришлось отдать. Теперь мальчик бегал подкрепляться домой.

Осенью корабли возвращались в гавань. Мальчик удивлялся медным матросским лицам, облупленным, мрачным, и почти не узнавал их.

А зимами он дожидался рождественских елок, которые устраивались почти во всех ротах и по всем фельдфебельским квартирам.

В ротах стояли под потолок целые дерева, украшенные висячими золотыми и серебряными собачками, лошадками, корабликами, дедами-морозами, флагами, ружьями, барабанами и всякой-всякой всячиной, которую не мог бы перечислить мальчик. Игрушки и орехи и конфеты в бумажных кульках раздавали необыкновенные женщины в особенных платьях, с раскрытыми грудями, в белых до локтей перчатках, — женщины, не похожие на всех мам знакомых ребятишек. Рядом с ними неприятно изгибались морские офицеры, свои и чужие.

Флотские музыканты с трубами, точно коки с кастрюлями и котлами, возвышались над всеми в углу и дули до поту в узенькие горлышки инструментов.

Народу было так густо, что где-то в серединке, на одном месте, под музыку кружились, обнявшись, пары, а Васю с ребятами забивали совсем под елку. Туда же приползал Кулаков, щелкал орехи и поил Васю с Шурой шипучим, брызжущим в стакане, как кипяток, лимонадом.

Таясь от начальства, денщик ловко выпускал из рукава горлышко сотки и подливал себе в лимонад водку.

На квартирах елки горели маленькие, но орехи и конфеты давали везде. Папы пили пиво, щелкали пробками, разрумяненные мамы пели деревенские песни и целовались с папами. Дети под елками с денщиками топили из воска барашков: гадали.

Вася объедался на праздниках. Кулаков растирал ему живот, а мама пеленала в байковый пояс и накрепко завязывала.

Праздники проходили. Зиму подтачивала весна, летом снимались с якорей корабли в гавани, экипажи пустели, осенью

рвал северный ветер над Финским заливом, натягивая рыбацкие паруса, крейсера и броненосцы дымились вдали, за молом...

Все повторялось. Мальчик ложился вечером спать и утром просыпался, день бегал — и опять сон, и опять пробуждение, и опять длинный деловой день детства.

ПРЯХИНО

Прощай, Кулаков!

На седьмом году сверхсрочной службы во флоте Федор Степанович вдруг начал испытывать недовольство. Фельдфебельский мундир стеснял и мешал. За одиннадцать лет со времени призыва котловского мужичка ему довелось увидеть столько удач в жизни, что он крепко поверил в свои силы и пожелал воспользоваться ими самостоятельно. Подчиненное положение тяготило и сдерживало накопленный опыт.

Казна Федора Степановича перевалила на четвертую тысячу. Перевалила и... больше не пополнялась. В тринадцатом флотском экипаже что-то сломалось. Вдруг... как ударило молнией в дерево-одинец. Ротный командир мещеринской роты оказался в Петербурге во флотских казармах у Поцелуева моста. Среди других перемещений не удержался и Федор Степанович на обжитом месте. Его перевели в самую неблагополучную и замызганную роту. Мещерин почуял приближение захудалости, задумался и твердо решил перебраться в деревню.

Старый ротный командир порадел о полезном служаке, и не только о нем, а и о денщике Кулакове.

Скоро Вася и Шура подружились с артелью ребятишек у Поцелуева моста, засвистели рогатки над Фонтанкой, часо-

вые матросы у ворот не успевали открывать и закрывать калитки. Но Федор Степанович не прижился здесь.

Прощай, Кулаков!

Примерно за месяц до отъезда Мещериных на родину денщик загулял, выпил с новосельем, опохмелился наутро, отсидел положенный срок в карцере, вышел — и пропал. Где же искать в Петербурге пропавшего Кулакова?

Вася скучал и надоедал с расспросами о няньке. Его выдрали за любопытство и приказали не вспоминать пьяницу.

Тем не менее Федор Степанович, возвращаясь как-то ночью из гостей от тетки Анисьи, нашел Кулакова спящим на казарменном дворе, возле черной лестницы в мещеринскую квартиру.

— А, негодяй! — больше радостно, чем возмущенно воскликнул фельдфебель при виде скорчившегося на земле и храпящего во все горло денщика. — Видно, так налакался, что не мог на ступеньку влезть! И... повалился свиньей!

— Вот и бескозырка его! — сказала Марьюшка. — Между дверей. Значит, входил.

— Ну да, входил! — засмеялся Федор Степанович. — Разбег сделал, а заднее место тяжелее, его и поволокло назад, и... плюхнулся. Хорошо, хоть нашелся, размазня!

Кулакова втащили на кухню.

Вася вставал рано. Он разбудил отца и мать на другое утро.

— Папа! Мама! — закричал с перепуганным лицом и в слезах мальчик у кровати родителей. — Кулакова убили! Кулакова убили!

Те вскочили.

— Какой он страшный! — рыдал Вася. — У него носа нет! И глаз нет. Одно мясо на лице!

Кем-то в пьяной потасовке избитого, а потом простывшего на земле Кулакова отправили в лазарет.

Денщик не встал. Федор Степанович на дню семь раз бегал проведывать Кулакова. Марьюшка водила тайно от

отца и Васю прощаться с верной нянькой. Мальчик нежно гладил знакомую шероховатую руку Кулакова. А тот старался напрасно усмехнуться и еле слышно хрипел:

— Вась, скоро змей будем запушшать! Ох, и хвост я ему придумал какой — пол-Питера покроем! По крышам задевать станет, по колокольням, голуби за им полетят стайками... стайками... стайками...

И забылся.

Марьюшка незаметно пролила слезу и потащила упиравшегося сына вон.

Федор Степанович на похороны взял и Васю и Шуру.

Вместе с ними он уложил в кулаковский сундучок гармонью, собрал туда же все пожитки денщика и аккуратно перевязал сундучок крест-накрест веревкой, с морским узлом на средине. Федор Степанович написал размашистыми каракулями письмо родным Кулакова, потом вложил в пальчики Васи перо — и еще прибавили одну подписную каракулю.

За вещами так никто и не приехал. Сундучок скоро повезли в Пряхино. В поезде сундучок украли.

— — — — — — — — — — — — — — —

— Папа, папа! — кричал Вася, не отходя от вагонного окна. — Какая высокая трава!

Отец недовольно поймал смех пассажиров-соседей и хмуро оборвал сына:

— Это — рожь, дурак, а не трава!

Марьюшка оправдывала мальчика перед вагонными попутчиками:

— В Кронштадте, на острове, ржи нет. Вася никогда не видал ржаного поля.

Мальчик взглянул на брата и увидел на лице его хотя и осторожную, но вызывающую усмешку. Шурка ехал по железной дороге второй раз. Он с удовольствием делал вид, что чувствует себя в вагоне привычным и ничему не удивляющимся путешественником.

— А на картинках он не видал ржи? — насмешливо оспорил мать Шурка. — Недавно у меня в книжке синим карандашом под картинкой „Нива моя нива, нива золотая“ васильки рисовал. Мне еще из-за него от учителя попало.

Шурка уже второй год ходил в школу. Вася ему старательно помогал портить книги.

— Верно, Шурка, — поддержал отец. — Он и знает, да притворяется.

Но пассажиры почему-то встали на сторону Васи, хотя он страшно покраснел и явно выдал себя с головой. Пассажиры ласково улыбались и защищали мальчика. Вася затаил злость только на Шурку.

Поезд шел. Шурка, как знаток, важно сообщал:

— Мост, переезд, путевая будка, стрелочник...

На станциях и полустанках грамотей горделиво и громко провозглашал:

— Бологое... Софрино... Кипелово...

Шурка кичился своим умением читать, показывал Васе на станционные вывески и поддразнивал:

— Видишь белые буквы под крышей... Это название. Тебе не сложить слово. Сосчитай, сколько букв. Мы с папой тебя считать до десяти учили..

Вася беспокойно вертелся около брата, передразнивал, как Шурка шевелит губами при разговоре, щурил большие глаза. Но мальчик уловил, однако, момент одурачить Шурку. Брат загляделся где-то в поле на речку, протекавшую возле самого полотна. Тогда-то Вася и позвал Шурку нарочно торопливым и безотлагательным голосом:

— Ш-шурка!

Брат быстро повернул голову и наткнулся пухлой щекой на подставленный палец. Вася звонко расхохотался и шмыгнул в колени к матери, а Шурка растерялся, дрогнула у него губа от обиды, но исправить смешного положения он не мог.

— Я тебя сто раз обману! — похвалялся довольный мальчик. — А ты меня ни одного, простофиля!

Федор Степанович прямиком с Вологодского вокзала покатил на земскую почтовую станцию. Понадобилось три извозчика. Марьюшка остерегающе шепнула, когда нанимали пролетки:

— На двух бы потеснились! А то как ни повернемся, так лишний двугривенный. Сколько денег уходит! На нужное дело не останется!

Но Марьюшке пришлось замолчать. Отставной моряк вспыхнул, точно пороховой погреб, и в совершеннейшей ярости пробурчал:

— Я тебя пешком заставлю итти, д-дура! Бери на плечи самый большой сундук и тащи его на себе!

Федор Степанович желал пустить пыль в глаза своим деревенским. Знай наших! Однако он только походил на почтовой станции вокруг запряженных троек и постеснялся нанять их. Поехали скромнее: на двух парах. Моряк, конфузясь, заигрывал с ямщиками:

— Колокольчики у вас на месте?

Ямщиков не проведешь: они видали народ и важивали разных особ с замысловатыми и несложными причудами.

— Чаевые будут, — понятливо усмехались ямщики, — мы тебе по три ошейника ширкунцов и бубенцов насдеваем. Ровно на колокольне звон. Из поля слышно. Удивленье на всю волость. Своя деревня навстречу побежит...

Вася принимал самое близкое участие в найме лошадей и вертелся около, вслушиваясь в каждое слово. Он и спутал многозначительные переговоры.

— Папа, разве деревни умеют бегать? — удивленно спросил он. — Они же деревянные!

— Возьми... этого! — резко приказал Федор Степанович Марьюшке, а сыну крикнул: — Иди к матери! Не суйся!

Вася недовольно отошел, но не удержался торопливо спросить:

— Папа, одно слово! А что значит чаевые? Ямщиков надо чаем поить?

— Вот-вот, — одобрили ямщики, заливаясь хохотом, — понятливый малец! Правильно! Сперва сули самовар, а за нами остановки не быват!

Дон-дон – дилидон,
Загорелся кошкин дом,
Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин дом...

Колокольчики нежно и ясно лопотали под дугами и на конских шеях. За парами гналась деревенская челядь и кричала. Вася усвоил песню. Она ему понравилась. Мальчик, на счастье, попал к матери, в задний тарантас, куда его сунул разозленный отец. Шурка горделиво оглядывался с головной пары, где сидел рядом с отцом. Вася успевал делать брату дерзкий нос, но более охотно размахивал руками и вместе с деревенскими ребятами пел: „Дон-дон-дилидон...“

Вася наблюдал. Ямщики ухарски сидели вполоборота на облучках, прищуривши с хитринкой глаза, в правой руке наотмашь держали длинные плети, метущие за тарантасами дорогу. Что-то будет?! Вася понимал уловки ямщиков.

Но провожатые ребята-огольцы давно обучены осторожности. Озора знает повадки веселых ямщиков. Они играют плетью, как старые пастухи.

Марьюшка не мешала сыну и насмешливо думала о ямщиках. Они смирны и покорны только в деревенские праздники, когда тарантасы тихонько пролезают по улице сквозь цветную и многоголосую толпу мужиков и баб. Тогда плеть в тарантасе, будто ее и нет совсем, повозницы деловито и прямо сидят на своем месте, а колокольцы едва-едва выговаривают, как спросонья: дон... дон... ди... ли... дон... Тогда ватажники висят на задках, хватают за оглобли, дергают за хвосты пристяжных и промышляют на лесы даровой конский волос.

Сейчас ямщики наверху. Они кличут своих дорожных противников — и напрасно. Плеть извивается и свистит над дугой словно вспугнутая змея на лесной тропе, плеть напрасно

сечет воздух и словно задевает сразу все ширкунцы и колокольцы.

То лошади смаху взяли вперед и понесли за отводом в восемь гремящих копыт.

Дон-доп-дилидон,
Загорелся кошкин дом,
Бежит курица с ведром,
Заливает кошкин дом, —

тишеет позади и катится под гору вместе с толкучим тарантасом.

У котловского отвода все сомнения Васи разрешились. Он воочию увидал, как бегает деревня навстречу. Передний ямщик оглянулся и, усмехаясь, крикнул заднему:

— Бочкин, наддай, говорит хозяин!

Ямщичьи плети пронзительно взвились над лошадями, свистнули, разорвались сухими хлопками, кони взяли с учетверенной силой — и Федор Степанович загудел колесами и ширкучим звоном по родной улице.

— За угол, у колодца! — взволнованно, сиплым голосом распорядился моряк, в страхе, что столь торжественный въезд будет испорчен какой-либо ошибкой: то ли проскочат избу бабки Афанасьи, то ли заденут разогнанными колесами за чужой плетень.

Котлово снялось с наседал: и большой и малый, и старый и молодой — всё мчалось за парами. Васю вынули из тарантаса какие-то незнакомые бабы, начали стряхивать с курточки дорожную пыль, целовали его в щеки, в губы, в лоб, кто-то надел его бескозырку и предовольно засмеялся. А обступившие ребятишки уже любопытно спрашивали:

— Ты у нас станешь жить? Аль проездом?

— Я с папой, — неопределенно ответил Вася.

— Мы у обеих бабушек будем жить, — разъяснил Шурка.

— Попеременно, — добавил тогда Вася.

Черная изба бабки Афанасьи напугала мальчика.

Высоченные и папа и бабка почти упирались головами в потолок. Вася поднял туда же глаза.

— Это почему, бабушка, — сразу сказал мальчик, — вы так низко живете? Как в котельной у нас на Павловской! Потолок черный..

— А чтобы теплее маленьким ребятам было, — ответила строго бабка Афанасья, — мы в котельной и живем. Видишь, заместо котла печка... расшарашилась в пол-избы.

Погостили в Котлове мало: тесно и неудобно. В Пряхине было обширнее и малолюднее.

— Это все ты, панталонница, сбиваешь Феденьку, — насупившись, отрубила напрямки бабка Афанасья Марьюшке, развешивавшей на веревке около избы выстиранные женские панталоны.

Бабка с первого дня возмутилась нажитой в городе прихоти невестки к панталонам и под горячую руку, в обиде на заглядывание сына в тестев дом, придралась к Марьюшке.

— Ты, бабка, не серчай, — в тот же вечер бесповоротно продолжил разговор Федор Степанович, — ты мне мать, а Марьюшка жена. Незачем ее попрекать панталонами. Хорошо, что от деревни отстала. Тебе не любы городские привычки, а мне не люба деревенская серость. Нам надобно жить врозь. Мы переедем в Пряхино. Приходи в гости. Всегда тебе почет у меня. У Выоркова две избы. Мы — в светлую, старики — в черную.

— Сговорились? — ревниво поморщилась бабка Афанасья. — Заглазно от меня! Тайком!..

Федор Степанович удивленно посмотрел на мать и покачал головой:

— Ты, я гляжу, совсем у меня постарела, — с неприкрытой насмешкой над материнским старчеством пустил сын ответную стрелу.

— Нет, я еще разумею, — холодно и отчужденно процедила мать. — Желаю тебе в мои годы не спутаться и совладать с умом.

— Завещанья не позабуду, — небрежно воскликнул Федор Степанович, — а ежели заблужусь в темноте, у людей попрошу покрова. Л-люди добрые! Выстарают! Н-направят с охоткой к хорошему!

В Пряхино перебрались без колокольчиков: погрузили скарб на рогатый андрец и двинулись втихомолку. Ребята и так бегали каждый день от одной бабушки к другой. Поле — рукой подать.

Бабка Афанасья не пришла на новоселье. Завраждовала с сыном. Федор Степанович осерчал и как будто в свою очередь забыл про Котлово. Реже стали появляться там и внучата.

Вскоре бабке Афанасье пришлось испытать большую обиду.

К бабке пришли Вася и Шура. Бабка была мастерица делать сладкий варенец из лука. Она его умела подолгу выдерживать и так остужала среди лета в голбце, будто на дворе стояла зима.

— Поди, слатенького дать? — спрашивала с улыбкой бабушка и, не дожидаясь ответа, спускалась в голбец. — За тем, поди, и пришли? Посылайте ко мне бабку Аграфену, я ее выучу тешить внучат. Мер двадцать луку испортит, а на двадцать первой, может, и... смекнет.

Вася стремительно кидался держать творило в голбец, чтобы оно не упало на голову бабушке.

— Достань мне самую крупную луковицу, — просил мальчик. — Я люблю крупную. Я ее, бабушка, кружочками съем.

— Меньшаку и самую крупную, — поддразнивала старуха, скрипя лесенкой, — это непорядок. Меньшакам — то, что от старшаков останется.

— Я старший, — говорил важно Шурка.

— Бабушка, — хитрил Вася, — Шурка шутит. Маленьким всегда отдают большие. А он большой, и ты большая... Мне — крупную луковицу.

Шура было хотел вмешаться в спор, но Вася ему раздраженно шепнул:

— Молчи, я тебе половину отдам. А то бабушка рассердится и ничего обоим не даст.

Сладкий варенец жадно проглотили. Вася обманул Шурку.

— Какой ты чудак, — урезонивал мальчик брата, — я же не нарочно съел больше. В следующий раз тебе достанется крупная луковица. Давай, — находчиво предлагал Вася, — по череду ее есть. Я своему слову — хозяин. Сам тебе отдам мою часть.

Шурка сомневался, но выхода не было. На всякий случай он грозил:

— За обман я тебе покажу! Ты меня не уговоришь, как бабушку уговариваешь или как с молоком обманул.

Братья недавно пили у бабушки молоко. Крынка с толстым слоем сливок манила всегда, как лучшее лакомство. По жребию, досталось пить первому Васе. Сливки разделили, положив посредине крынки тоненькую лучинку. Вася сначала медленно втянул в себя свою часть, передохнул и несколькими поспешными глотками достал братнины сливки из-за лучинки. Шурка дернул крынку на себя, молоко расплескали, и оно не досталось ни тому, ни другому.

Вася, облизываясь, посмеивался и жаловался бабушке на Шуркину жадность. Тот выл от напраслины, но вся грудь у него была в молоке и в остатках сливок.

— У меня пиджак чистенький, — упорно твердил Вася, — а Шурка ка-ак по-о-тянет у меня крынку! Ну, вот на себя сливки и опрокинул. А мне довольно и своих. Сливки были с палец толщиной.

После сладкого луковника бабка выдала внучатам по два сырых яйца и положила их на видном месте в крыльце. Вася и Шура помчались в деревню, к своим котловским приятелям.

У прогона из Котлова в пряхинское поле стоял старенький мещеринский гуменник с овином. Оттуда старуха, нагрузив пестерь обмолотками, выглянула на дорогу и заметила возвращающихся домой голосистого и тихонького своих внучонков. Бабка не успела их окликнуть, как вдруг заинтересова-

лась странным поведением мальчиков. Они осторожно огляделись в прогоне. В обеих руках у внучат было по яйцу.

— Давай бросим, — предложил Вася. — Мама скажет: „Зачем брали яйца? Что, у нас своих нет?“ Мама на бабку сердита и наказывала ничего от нее не брать.

Шурка стоял в раздумьи и разглядывал бабушкин подарок.

— Ты — жадный! Тебе жалко бросить! — засмеялся зло Вася, и, отскочив от брата, он быстро начал крутить правой рукой по воздуху. — А я вот как!..

Яйцо, как белая птичка, мелькнуло над прогоном и упало где-то, хлюпнув желтыми брызгами в траве.

— Стой! — вырвалось у бабушки, выскочившей из овина.

Внучата обомлели, растерялись...

— Клади на дорогу! — шепнул Вася брату, сунул бережно яйцо в пыль и стремглав побежал.

Шурка кинулся без оглядки вдогонку.

Бабка Афанасья долго стояла над своими выброшенными подарками, тяжело наклонилась, подобрала их и пошла плакать в овин.

Погодя час-другой она явилась в Пряхино, вызвала на улицу удивленного Федора Степановича и стала пенять ему. Сын долго молчал. Наконец он, с расстроенным лицом, сипя от волнения, сказал:

— Вражда, бабка, ничего не поделаешь! Ты — Марьюшку, Марьюшка — тебя. А детей вы обе портите. Ты мне больше не жалуйся.

Сын проводил мать до самого Котлова.

— Сегодня неподходяще, — угрюмо промолвил он, прощаясь, — душа сбита насторону, а как-нибудь ты, матка, приходи к нам чаевничать. И не любы тебе все Вьюрковы, а я-то, а ребята-то мои тебе малость приходятся своими. Снеси от нас обиду. Сама ты ее себе накликала.

Федор Степанович нещадно выдрал Васю за глум над бабушкой, молча, с искаженными гневом глазами подошел к притихшей жене и сильно ударил ее ладонью по лицу.

Марьюшка долго и безутешно плакала, проклиная бабку Афанасью.

Федор Степанович пропал на весь день и на всю ночь, покуда, проплакавшись, Марьюшка не бросилась на поиски мужа. Ребята побежали вестовыми в Котлово. И там застряли.

Марьюшка поняла. Под шип и брань разъяренных родителей Марьюшка собралась туда же. Бабка Афанасья не знала, куда ее посадить, чем угостить. Старуха захлопоталась, таская на стол луковник, молоко, яйца, жареную рыбу из последнего деревенского улова. Свекровь и невестка, обнявшись, всплакнули вместе и помирились.

Федор Степанович вел жену домой в Пряхино под-руку, прижимал к себе и, таясь от ребятишек, шептал:

— Марьюшка, в первый и последний раз! Пускай у меня рука отсохнет, если замахнусь когда! Деревня теперь вся из меня вышла! Казнюсь и покоя себе не знаю!

Семейство Мещериных через какую-нибудь неделю перестало быть невидалью в Пряхине. Деревенские высмотрели и узнали, в каких платьях ходит Марьюшка, привыкли к ребяческим бескозыркам и золотым якорям на пальтишках, одобрили степенную и независимую уверенность в себе мещеринского большака, больше не заглядывали в окна избы с белыми занавесками, где оседло зажили питеряки. Все встало на свое место.

— — — — — — — — — — — — — — —

Федор Степанович покуда присматривался в поисках самостоятельного дела и помогал тестю мельнику. Но скоро надоело глотать мучную пыль на мельнице и по нескольку раз в день вытряхать занашиваемый пиджак.

Мещерин не зря не сводил глаз с Кубинского моря, как назвал озеро Вася. Окна избы были обращены туда. Матрос вспомнил знакомый рыбацкий промысел отцов и дедов. Только начал его по-новому. Мáхом сколотил дуван с полсотни пряхинских и котловских мужиков. Переправился в Заозерье, обшмыгал рыбацкие берега и где-то с переплатой, с азартом

к будущему благополучию подхватил на лету у некоей незадачливой артели полную рыбацкую справу. Вьюрковская изба запахла рыбой.

На желтых отмелях, видимых из мещеринской горницы, на козлах и влежку растянулись огромные невода, мутники, ботальницы, собственные лодки-пятерики и семерики стайкой сгрудились в устьи речонки Звонкой о-бок с промыслом, на длинном шесте затрепетал самый настоящий андреевский флаг.

— Флажок — эт хорошо, Федор Степанович, — стеснительно бормотали дуванщики, побаиваясь мещеринской блажи, — знак... знак и с суши и с воды! И впрямь удобство. Когда на озере буря, лодки сюды и пойдут на прямую... а только... урядник нагрянет... и сымет.

Вася и Шура сновали на отмелях, забавляясь оставляемыми на влажном песке следами ног, лазали по лодкам, усаживались под неводами, воображая себя матерыми, старыми ловцами, ждущими у снастей подходящей для лова погоды.

— У нас флаг, как в Кронштадте на „Боярине", — подражал отцовскому горделивому виду и голосу Вася.

Предостережение дуванщиков оказалось напрасным: флаг сняли и без урядника, тот не успел доехать.

Лето выдалось неловучее. Одна забава. Дуван зашумел:

— Это не тони, а уха!

— Мещерину сига на пироги, а нам ракушки!

— Дохляка боле у берегов, чем рыбы в озере. Ушла вся. Видно, дурацкое дело распознала. Больно пристань хороша под флагом у хозяина. А рыбы нету.

Федор Степанович самонадеянно ободрял мужиков.

— Бери на жалованье! — кричали дуванщики. — Тоды весь твой улов. А исполу нам не рука! Твое счастье — твой прибыток, а нам штобы не ломать спины понапрасну!

Федор Степанович вспомнил недавнюю свою власть над такими же мужиками, только переодетыми в матросские тужурки, возмутился на неожиданную самостоятельность котлован и пряхинцев и громогласно вспылил:

— Сукины вы дети после этого! Чего раньше глядели? Где у вас совесть? Вы смекаете, сколько я вывалил денег на обзаведение? Не столкуйся я с вами, я бы и дело убыточное не начинал!

Мужики в свою очередь обиделись и недружелюбно загалдели:

— Эт совесть при чем же? Эт у тебя-то совесть?

— Нивесть откуда взялась, братцы!

— Не сам ли ты выгодное дело затеял? Карман себе вздумал набить через наши руки... И нá тебе — с укорами еще!

— Над своими мужиками орлом вскочил! Видишь, замыслил нас малость потянуть за жилку!

— Пошел ты к кобыле под хвост! Нам и так жрать нечего! Ломим, ломим на земле да на озере для своих ребятишек, да на тебя понапрасну трудись!

— Несогласны дуванить, ежели ты в полноправных хозяевах! Отдавай сеть в артель! Пускай она станет обчая! Мы тебе за нее рыбой выплачиваем без сроку. Лов будет — в лето оправдаем. Лова не окажется — не судачь! Из копейки в копейку получаешь!

Федор Степанович пришел в ярость.

— Нашли дурака! — закричал он, багровея. — Моя справа, на кровные купил, а вы моими кровными ни за что, ни про что станете пользоваться?! Найдите себе подходящего благодетеля, подурашливее! Ишь, у вас разуму сколько накопилось под волосами!

Мужики довольно засмеялись:

— Эт, видно, ему не по нутру!

— Хе-хе! Кровные у Федора Степановича, гляди, нашлись!

— Откудова, ребята? Ровно бы в Котлове у него крыша на избе не чище нашей прежде была.

— Клад поддел! Бочонок с золотом на море, поди, всплыл, он его и зачáлил!

Федор Степанович глядел злобно на непокорных дуванщиков, они явно уходили с работы.

— И ухватке купеческой научился в Питере! — воскликнул мужик-сосед. — Э, братцы, дай мужику деньги, он сей минутой на своего ближнего верхом сядет!

— Нанимай, Федор Степанович, в батраки! — закричал отчаянный мужичонка-котлован, с которым когда-то Мещерин гулял в молодости. — Пойдем! Твоя взяла! У тебя пазуха оттопырилась, у нас — ничего, один кисет с табаком! А впустую мы тебе не работники!

Мужики глядели несворотимо и недружелюбно на Федора Степановича. Он не остался в долгу. Сами собой стиснулись кулаки. Глаза Мещерина не уступали в силе и в напоре злобе дуванщиков.

Не сладили.

Дуван разбежался. Рыбацкий хозяин остался один с неводами и лодками. Он невесело бродил по своему промыслу. Песок усыпала прибиваемая бурными ветрами дохлая рыба.

— А стариками замечено, — говорил тесть, — когда рыбий мор, рыба совсем не идет в снасти. Она под камнем сидит. Там от болезни перемогается.

Марьюшка с тревогой следила из окна за бурями на озере. Огромная, в пене, белая стена вод катилась чаще всего косяком из Заозерья и, казалось, захлестнет самое Пряхино. В кипучем водовороте бросало знакомые лодки, точно они плясали на месте, как самые искусные анфаловские плясуны. У Марьюшки даже перехватывало дыхание. А вдоль улицы неостановимо, рея ленточками на бескозырках, мчались к озеру Вася и Шура с ватагой ребятишек. Они торопились к возвращению лодок на стоянку.

Федор Степанович сдался не сразу. Большой дуван с тысячными тонями лещей, сигов разбежался, но на хо́лах, в ветряк, можно попробовать взять окуня ботальницами, можно перегородить озеро шестами широкоячейных оханов, в непроглядь осени можно лучить щуку и бить ее зубасто-ко-

лючей острогой. Для малого прибыльного дела нужен какой-либо десяток мужиков. Десяток нашли — и наняли. Не было и малой удачи.

В один из суровых перед заморозками дней, когда озеро внезапно затихло и молча улеглось словно огромное серое вытоптанное гумно, Вася задал отчаянный рев. Вся флотилия мещеринских лодок снялась от прикола, и ее погнали на сильных веслах приезжие из Заозерья мужики. Перед этим отец долго торговался с покупателями. Наконец ударили по рукам, и мужики полезли в кисеты за деньгами. В устьи Звонкой осталась одна лодчонка.

— Ах ты, дурашка! — дружелюбно воскликнул отец, подняв Васю на руки. — Тебе же я оставил корабль. Вся эскадра нам теперь не нужна. Мужички-дружки нам ножку подставили. Нам с тобой двоим такой невод не забросить.

Невода долго мочили осенние дожди-надсады. Покупатели не ехали. Неведомый недоброжелатель в ночь растрепал сети, отрезал мотни и тут же, искромсанные, швырнул на песок. Пришлось всю рыбацкую утварь перевезти в Пряхино, чинить, латать, заново перевязывать убылое. Так никому и не сбыли неводов. Дуван лопнул с большим ущербом. Казна Федора Степановича дала сильную трещину.

— Малость, Федя, порыбачили... без толку, — сказала, осуждая затею, бабка Афанасья. — Никого не спросили и... нажглись.

— Ты вдругорядь не опоздай на совет! — рассердился сын. — Тебя б спросили, рыбы из неводов и не перекидать!

— Да уж я б тебе не посоветовала деньги пушшать на ветер! — упорствовала мать. — Ты сгоряча взялся, с приезду, а третье лето у нас неловучее. Заминки бывают по пяти годов. Сети твои годны ныне от куриц хоронить гряды. Огуречные да морковные.

— Нет, — неприязненно морщился сын, — не все ты сочла: ребятам моим пригодятся ловить птичек. Васютка у меня так и ладит в птицеловы. И то сказать: ребенок об огонь

обжигается раз, в другой не полезет. Мужички меня нонче подмяли, а может, и мне случится порадоваться...

Обманул дуван. Но у тестя рядом с домом был амбар с зелеными широкими дверями. Освободили его от всякой хозяйственной рухляди, мучные лари по стенам пригодились, наскоро срубили прилавок — и Федор Степанович открыл мелочную лавочку. Анфаловского лавочника побили саженной вывеской. Затейливый моряк заказал ее в городе. Вывесочный мастер, по фамилии Подыминогин, изобразил на красной жести Кубенское озеро, по бокам его ветряные мельницы, груды конфет и желтых сусельников, озеро же препоясал вдоль и поперек, как детскими свивальниками, белыми надписями:

МЕЛОЧНАЯ И БАКАЛЕЙНАЯ ТОРГОВЛЯ
ФЕДОРА МЕЩЕРИНА

Деревенские посмеялись над вывеской, кой-кто из грамотеев с трудом разобрался в подписи мастера, и прозвище „Подыминогин“ пристало к Мещериным, как вспыхнувший порох к белому лицу.

С открытием приходский поп Козьмодемьянский молебствовал в амбаре, совместно с дьячком проголосили „новому делу и хозяину“ „многая лета“, а пряхинские мужики взяли откупное — четыре ведра водки, перепились и сразу задолжали до урожая.

Своих мужиков — и пряхинских и котловских — задабривали и оказывали им особый почет. Федор Степанович завел толстенную, точно три Библии в разворот, долговую книгу, куда пришлось с самого начала торговли переписать все котловские и пряхинские дворы.

— Эт, пожалуй, половучее дело, — сказал одобрительно тесть. — Надобно на копейку спустить все товары, тоды и анфаловские придут... из экономии.

Спустили. Пришли анфаловские, чебоксарские, пучковцы, лесняноские. Семь окружных деревень потянуло на дешевые покупки.

С небольшим через полгода, в храмовой праздник, на зимнего Николу, поп Козьмодемьянский ходил со славой. Поп покропил Мещериных и Вьюрковых походя, а самого Федора Степановича залил святой водой, встряхнув на него, не жалеючи, полное кропило.

— Святую бы троицу нам обновить во храме, — будто советовался с почтенным в его приходе прихожанином предприимчивый старичок-батя, — ризы на ней потускнели. Не то золоченья требуют, не то серебрить надо.

Федор Степанович пошел в явный рост. Святую троицу на мещеринской лошади свезли в Вологду в иконописную мастерскую, промыли, разделали золотым чеканом по полям, закрыли тяжеленными серебряными латами с мутными стразами и китайскими плашками и навесили рукодельные финифтяные нагрудники — цаты на три святых подбородка.

— Заметный мужик! — с полным поощрением распространял направо и налево опытный в полезной лести батюшка. — Такими церкви божьи держатся!

Это уже шла почетная слава о благодетеле. Федор Степанович тщеславно радовался от признания за ним достатков и выделения его во всем приходе. Мещерин надел жилетку, протянул по ней витую, кольцо в кольцо, серебряную цепь, подвесил дареные адмиралом Сепягиным за обучение гардемаринов часы массивной репкой и не выходил ни в лавку, ни на улицу в самые летние жары без пиджака.

— Подыминогин! Подыминогин! — кричали Васе как нечто оскорбительное деревенские товарищи во время ссор и размолвок.

Мальчик с яростью бросался на обидчиков и маленькими кулачонками, а чаще царапаньем отстаивал неприкосновенность своей родовой фамилии от заслонявшего ее отцовского прозвища.

Федор Степанович покраснел и ахнул, когда Вася ляпнул ему:

— Папа, тебя мужики ругают Подыминогиным.

На грех, Марьюшка улыбнулась и вдруг неудержимо засмеялась.

— Ты чему же радуешься? — рассвирепел муж. — Вон ребенок, и тот за меня в обиде, а ты — га-га-га-га! Дураки придумали глупое названье, а ты в смешки!

Марьюшка насильно сдержалась.

— Убери ты эту несчастную вывеску, — закрывая глаза рукой, сказала жена: — сам себе кличку подсказал. Редко кто новый человек пройдет мимо и не оскалит зубы.

Федор Степанович страдальчески скорчился и закричал:

— Ничего не понимаешь, тетеха! Не видала хорошего! Вывеска самая городская! Первый мастер в Вологде делал!

Затем отец обнял сына и успокаивающе промолвил ему:

— Ты не сердись, мальчик, на прозвище. Наплюнь! Пускай говорят, кому не лень! Не все ли равно, как называют?

Вася не согласился.

— Да-а! — протянул он. — Тебе-то в глаза не говорят — не смеют, а нас с Шуркой дразнят. А какие мы Подыминогины? Мы ходим, как все мальчики. Мы с Шуркой проверяли недавно и тебя, когда ты быстро на мельницу шел. Ты совсем не поднимаешь высоко ног. И мама тоже. У нее под платьем и не видать.

В тот вечер родители, отдыхая на кровати, под ситцевым пологом, занимавшей пол-избы, дружно и весело захохотали.

— Ну, ты, Подыминогин, — шутливо прошептала Марьюшка, — отодвинься.

Федор Степанович вскорости разочаровался в замысловатой вывеске, сходил к церковному сторожу, который писал дощечки покойникам на кресты могил, и сговорился с ним о переделке. Подыминогинская вывеска была незаметно снята. На отломанном куске ее с исподу сторож начертил те же самые слова, только без всяких украшений. Казалось, Федор Степанович почувствовал себя прочнее на земле. Но летучее прозванье осталось.

— — — — — — — — — — — — — — —

Покуда отец строил и оснащал свою жизнь, рядом с ней, переплетаясь, как кудреватые волосы, отходя в сторону, как две дороги на развилке, задорным голосенком Васи звенела и шумела другая.

— Не мое ли это чадо кричит в поле! — нежно усмехаясь, шутила Марьюшка, сидя с постаревшей и уже замужней подругой Глашей на лавочке возле амбара. — Просто совсем сбились с ним! Такая растет отчаянная голова! Выдумка за выдумкой. Не знаешь, что и выкинет! Целый день пропадает. В ум не войдет — где искать. Не то у озера, не то на мельнице... Глядишь, оказался в Котлове. Забежит и в Анфалово. А то отец хватится ввечеру — парня нет. Все домой пришли, а его нет. Кинется Федор, в испуге, прогоном к озеру. Может, утоп мальчишка? Ан, найдет его в ночном: пасет чужих коней. Страшно за Васютку, а и любо смотреть, как сорванец летает, будто стрела. Весь в отца-батюшку! Помнишь, дурной был!

Вася возвращался домой лихим удальцом, мчался по лесенке, точно пятеро сразу бежало, врывался с шумом в избу и жадно и много ел, смеялся, рассказывал. Лицо у него, в старых и новых царапинах, загорело, шелушится от солнца, глазенки ненасытно светятся и улыбаются, костюм разодран и замазан сверх меры.

— На тебе, как на огне горит, — сердился отец, разглядывая полуоторванную штанину. — Как ты это сделал?

Мальчик, не задумываясь, сочинял:

— На нас бросились у озера чьи-то собаки. Мы шли... только бы выскочить из прогончика... Знаешь, папа, там начинаются чебоксарские осоки. У самого огорода. Вдруг как на дорогу выползла змея-гадюка. Ребята наутек...

Шурка слушал с вытаращенными глазами. Вася взглянул на него и подмигнул: не выдавать-де... Небылицы продолжались.

— ...Ребята наутек. А я гадюку — хворостиной. Она ка-ак зашипит, да на меня! Головку на четверть подняла от земли.

Походит на конек у дедушкиной избы... Я змею того пуще лупить. Она и издохла.

— Я гадюку убил, — вмешался Шурка, — а тебя и близко не было. Третьего дня кончили, а не сегодня.

— Так это же другая! — возмущенно заглушал голос брата выдумщик. — Ту — ты, а эту — я.

Отец недоверчиво и хитро поглядывал на Васю. Мальчик понимал, но, сделав простодушный вид, с азартом говорил и даже дергал отца за рукав:

— Только мы, папа, змею на огороде на колышек насадили, пускай высыхает, откуда ни возьмись две больших-больших собаки! Я в них камнем... Одна меня за штанину и куснула.

Марьюшка верила всему, волновалась вместе с сыном, беспокойно вытягивалась, жадно слушала и не могла удержаться:

— А зачем ты, озорник, в собак бросаешь камнями? Они бы мимо пробежали и тебя не тронули.

Мальчик пренебрежительно повел плечом:

— Да-а, не тронули! Они сами на меня бросились. А может, они бешеные? Я так смирно и стой? Я в защиту себя бросил камень.

Шурка громко захохотал и предательски выкрикнул:

— Не было, не было! Никаких собак не было! Он через огород прыгал, через две жердочки, да за один колышек зацепился, штаниной повис, мы еще его снимали. У него и ляжка в крови. Подорожник прикладывали. Подорожником и паутинкой кровь останавливали!

Отец насильно осмотрел ногу и сердито спросил:

— Кто тебя научил врать?

Вася надулся, помолчал и с новым оживлением упорствовал на своем:

— Шурка известный ябеда. Я с ним нынче с полуден и не играл вместе. Он ни гадючки, ни собак не видал. Через огород все прыгали... — Мальчик чуть остановился и

встрепенулся с удвоенной силой: — Я, папа, хотел, как ты, прыгнуть. К бабушке-то мы ходили в Котлово, ты разбежался по лугу и перемахнул огород, сапогами не задел. Здорово высоко было!

Мальчик и лгал, и льстил, и удивлялся, и увлекал слушателей.

Штанину Васе зашили. Но Шурке не проходило даром вероломство.

На другой день, как ни в чем не бывало, братья неслись с ребятишками к озеру. Там было множество игр и развлечений. День начинался прежде всего с купанья в устьи речки Звонкой. Ныряли с разбега головой вниз, — и каждый доставал песок и камешки со дна, — низвергались ногами, падали боком, спиной. А то на краешке берега по очереди становился голый, согнувшийся мальчик. Выстроившись гуськом почти на полверсты, по сигналу опрометью гнали вперед и прыгали через мальчика прямо в воду.

Тут и расплачивался Шурка. Вася мгновенно подговаривал ребят отомстить брату за вчерашнее. Вася становился в середине гуська. Первая партия скакунов благополучно перепрыгивала Шурку и дожидалась остальных в воде. Вася, стремительно подбежав к брату, сталкивал его с берега, вразнобой скакали другие, и все сворой кидались на Шурку — топить его.

Кашляя, продирая глаза от песку, хныкая, он с трудом вылезал на сушу.

— Ага! — вопил Вася. — Досталось! Мы тебя, нечистая сила, к водяному в нору забьем! Попробуй, выдай когда опять папе и маме!

Шурка лез в драку. Братьев разнимали — и заодно обоих швыряли в Звонкую. Это называлось почему-то „опять сушиться“.

Озеро у берегов было мелководным. С подвязанными под горло штанишками и рубахами ребята шарили под камнями и корягами налимов. Гладкий песок легко пружинил под но-

гами. Незамутимая, прозрачная вода не скрывала ровного золотистого дна. Самоделками-острогами кололи рыбу. На веревочке подвешивали ее в виде людоедского ожерелья на шею. Всякий хвалился своей удачей, подымая в крепко зажатой пятерне особо крупных налимов. На берегу их пекли. Спички и соль хранились в знакомой норке за мещеринским промыслом.

После бурных, ветреных недель, когда дуло с озера, оно выкатывалось из своего ложа на поймы. Рыба застревала в бочагах. Здесь бродили часами, мутя воду до цвета самой желтой глины. И тогда задыхавшиеся в грязи щуки, лещи, сорожняк и налимы выходили наверх. Рыба поднимала головки, хватая воздух, и прозревала на свету от мути или перевертывалась на спину белым брюшком. Ее свободно поддевали на ладони и смаху вышвыривали на землю, брали руками или убивали палками. Налавливали подолы и приносили в Пряхино отцам и матерям. Мужики так и называли добытчиков:

— Гляди, идут мутные рыболовы!

Медленно, точно с ленивой переналкой, катится веселое желтое лето. Как будто солнце совсем не спускается в Заозерье и не устает гореть в огромном небесном окоеме. Розовая легчайшая ткань дрожит и переливается на западе и востоке. Дни длинны, как летний мужицкий труд. Старается солнце, стараются мужики, старается истомленная, разомлевшая загорелая земля.

Зори сходятся. И Васе часто кажется, что он только закрыл глаза — и сразу же раскрыл их. Сна нет. Есть один и тот же нескончаемый золотой, сверкающий, как главы на церкви, летний день.

Вот те же пыльные детские сапожонки на ногах. Где папа и мама — там родина. Пряхино стало родиной. Но бегать босиком ни Вася, ни Шурка не научились. Сапожонки мешают. Их часто, связав за ушки молодой лозой, Вася таскает в руках или подмышкой.

Подозерный песок тепел и мягок для нежных подошв. Скошенная и долгогривая трава лугов и полевых меж и шероховатые дороги остры и колючи. Тут нужно подковать ноги кожей. На песке сапожонки стесняли. Вася часто терял их. Искали всей ребячьей артелью. Иногда находили на другой день. Вася на пальчиках добредал до дому.

Отец и сердился и смеялся:

— Хо-рош! Как знаешь! Новые не куплю! Ходи босой! Ты у меня, пожалуй, скоро штаны оставишь на улице. И штаны другие не велю матери давать!

У озера пустынно и безлюдно в ночи точно на дне глубокого омута в лесу. Ребята возвращались затемно. Ночью лил дождь. Сапожонки бывали полны воды. В сушь находили по приметам: над потерей кружили чайки.

Ах, эти милые, незабываемые станы белых чаек, словно весь яблоновый цвет сдуло с яблонь в Пряхине и понесло над желтыми отмелями.

Сразу за ними глубокой впадиной лежали кочковатые болота. Там среди кочкарей, в осоках, на усатых полянках, в укромьи чайки клали весенние яйца. Тысячи тысяч. Ребята до времени не мешали вить гнезда.

Вася следил, как прихорашивалась обвитая седеющей травой ямка и постепенно обогревалась. Чайки с унылым писком крутились над болотняком белыми стремительными облачками. Так вьет ветер снежную пыль. Так треплет в грозу белёные деревенские холсты на высоких огородах.

Ребята умножали крики чаек и белоснежную пляску их над болотами.

С разных концов вдруг начинали ползти ребята. Что тогда поднималось! Белая пронзительно-крикливая полоса птиц извивалась над пластунами словно колеблемый смерчем полог.

Вася прижимался к земле. Чайки спускались все ниже и ниже. Мальчик слышал, как совсем близко трещали и трепетали сильные и острые крылья. Чайки норовили задеть Васю и отогнать его от гнезда. Черные бусинки глаз, как

круглые пуговки на ботинках, ловили каждое его движение. На голову, на спину мальчику падал теплый белый помет.

Вася с криком вскакивал и размахивал руками. Вскакивали все ребята на болоте. Чайки собирались в огромную, тяжелую, как снежная вершина горы, безумолчную стаю.

Гнезд не трогали. Ждали яиц. Чайки пока плакали напрасно. Пестренькие, серенькие яички собирали в картузы жадно, торопливо, словно грибы в лесу. Чайки защищали гнезда беспомощно и неистово. Они пролетали у самых лиц зорителей, садились им на головы, старались клюнуть в глаза. Ребята нагибались и делали свое дело. Зорили не всех, через кочку, не трогали гнезд на недоступных островках в осоке.

Яйца были не нужны. Они пахли рыбой. Пересчитав поживу, охотники швыряли их в те же кочки: кто дальше и выше бросит. Чайки опускались над раскиданными яйцами и, подолгу сидя в траве, жалко и жалобно вскрикивали, словно плакали. Мужики не любили этой ребячьей забавы и, нарвавшись на нее, с бранью гнали охотников от болота.

Но как же оставить озеро и подозерье? Тут проходит самая главная, самая важная жизнь. Вася в увлечении играми терял сапожонки. Но бывало и хуже.

Неверное северное лето вдруг среди полного безоблачья и полуденного зноя надувало губы, хмурилось, откуда-то рывком налетал ледяной ветер, серело, как мокрый песок, небо, — и солнце оказывалось под толстым стеклом, переставая греть. Надевай шубу!

В один из таких пошатнувшихся от тепла к холоду дней Вася надел черную матросскую шинельку.

И опять припекло. Внезапно лопнула закрывающая солнце мутная пленка, и светлый диск хлынул на землю раскаленным паводком.

Вася снял шинель. Она полежала в одном и в другом месте. Мальчик потаскал ее недолго и забыл.

Погода выровнялась и простояла месяца два жаркая, за-

сушливая, с редкими летними ливнями, с ночными и утренними росами.

Шинелька понадобилась в первое ненастье. Вскоре принесли мужики сгнившую выцветшую рухлядь.

— Получай, Федор Степанович, — осторожно сказал мужик, — от шинели остались одни якоря. И те с тусклинкой. Совсем одежу в песок затянуло. Мимо б прошли, да наступили, да враз зашипела и выползла из-под нее гадюка.

Вася отпорол позеленевшие якоря и присоединил их к самодельным игрушкам, оставшимся от Кулакова. От всего матросского обличья мальчика уцелела бескозырка, и та с утраченной ленточкой. Вася стал походить на обычного деревенского мальчика, только чуть понаряднее одетого. Он даже обрадовался такому опрощению.

Незадолго до потери шинели, после большой ссоры с соседским мальчиком, Вася пережил большое волнение. В слезах и ярости, с подбитым глазом, он прибежал домой.

— Папа, — всхлипывая, спросил мальчик, — почему Гришка сказал, что меня ветром надуло?

Федор Степанович резко поднялся и злобно ответил:

— Я вот сейчас пойду к отцу Гришки и скажу ему ласковое слово. Пусть посмеет еще раз его болван произнести это слово! Я ему задам, паршивцу! Негодяи! Без нас шагу не могут шагнуть, а нам же и пакостят.

Вася пристал к матери:

— Правда, мама, меня ветром надуло? Афоня пастух говорил мне, кого так зовут. Это когда молодец с молодицей снюхаются и у них без попа ребята рождаются. А что значит, мама, снюхаются?

Мать непривычно рассердилась и велела замолчать ему.

— Много будешь знать, скоро состаришься, — погрозила она. — Разве можно маленьким об этом разговаривать?

— О чем „об этом“, мама?

— Да обо всем.

— Как обо всем?

— Вот пристал! Чего тебе нужно? Я тебе — мама, папа тебе — папа. Ты наш законный сын.

— Значит, и незаконные бывают.

— Ну да, бывают.

— А как они бывают?

Мать недовольно отвернулась к окну.

— Убирайся вон! — схватила она сына и вытолкнула его на улицу. — Услышит отец — до̀ крови запорет. Ишь, разболтался с глупостями!

Отец возвратился взъерошенный и красный. Вася предусмотрительно прижался за углом избы и пропустил папу. Однако мальчик, взглянув на него, сравнил папу с побитым мужиком, который украл у дедушки на мельнице мешок с мукой; мужика догнали в прогоне, рвали за волосы и били, а ему было стыдно, и он то делался розовым, то серым, как мука.

— Я законный! — гордо крикнул Вася Гришке. — Я всю подноготную узнал от мамы. Ты слышал звон, да не знаешь, где он! Мне так бабушка Аграфена сказала.

Гришка был года на три, на четыре постарше Васи. Гришке уже попало за брань и драку с соседом.

— Окаянщина! — рванул за волосы Гришку отец после ухода Федора Степановича. — И знаешь, да молчи! Мы у лавочника в долгу, как в шелку, а ты евонного парнишку ремизишь! А через ево самого лавочника, стерьва! Запорю вожжами! Охальство какое! Лавочник на твоего отца насядет — и кырк ему! Все мужики у лавочника в кулаке.

Гришка понял угрозу, он не стал снова дразнить Васю и миролюбиво предложил ему:

— Давай помиримся! Я больше не буду.

Потом Вася еще не раз жаловался отцу на других ребятишек, в ссорах называвших его обидным словом. Мальчик завидовал Шурке. Того не трогали.

— Он наш! — выкрикнул кто-то однажды. — Он в Пряхине не впервой. Он бабки Аграфены внук, а ты — пришлый!

Потерянная Васей шинель неожиданно сблизила его с ребятами и сравняла с Шуркой, хотя тот благополучно ходил в шинели, лишь без якорей и с обшитыми материей бывшими светлыми пуговицами.

Чтобы отвязаться от настойчивого мальчика, мать с улыбкой сказала ему:

— Плюнь, дурачок, расстраиваться! Тебя папа давно усыновил. Никто не смеет попрекать тебя! И Шурка такой же.

Вася сделал вывод и сообщил важно ребятам:

— Мы с Шуркой сыновленые!

Теперь иногда в драке Васе кричали:

— Сыновленый! Сыновленый!

Но на этот вопль мальчик почти не сердился.

Не счесть удовольствий, которые доставляло озеро. Пусть они повторялись каждый день, но всегда казались новыми.

Все служило пряхинским ребятам: червонные отмели, вода, рыба, звери, лодки, сети, птицы и камни.

Встречали и провожали рыбаков. Замирали с выпученными восторженными глазами перед грудами серебристой, темной с краснинкой, голубой и золотистой рыбы, когда в уловные дни выгружали ее с лодок корзинами.

Огромные широкобокие лещи с тупыми головами, точно полуаршинные пиленые тесины, прикрывали собою мелочь и перемешивались с нежными жирными длиннотелыми сигами, остроносыми, как пешни, щуками, с коротколапыми, подбористыми язями и цветистой плотвой с красноперкой. Ребята стояли тесным кружалом.

— Эй, помощники из краюхи! — приветливо и радостно кричали мужики. — Выбирай любую, кого сколько станет унести!

Ребята скромно выбирали рыбу поменьше.

— Только чур домой, — предупреждали раздобревшие рыбаки, — зря не кидать. На то и дается потачка.

Мужики не жалели рыбных подарков, но не любили возни ребятишек на лодках.

— Не трожь, не трожь, дьяволы! — запрещали они, уходя в деревню. — Снасти перепортите, всю справу... И дыр наделаете неровно. Неровно и опрокинетесь. А хватит ветер, лодки унесет, опустите на тот берег!

Бывало и так. По неделям шарили в Заозерьи в осоках и зеленых плавунах угнанные ветрами пятерики и семерики.

— Вар не отколупывать! Убьем! — грозили мужики уже издалека как последнее напутствие.

Где же утерпеть, чтобы не отвязать лодки от приколов, не помахать веслами и не посостязаться друг с другом в быстроте гонки!

Нужен и липкий и вязучий вар: из него делали блестящие ровные шарики и катали их, как яйца на красную горку, по днищам прохудалых, опрокинутых на отмелях лодок. Вар бережно выковыривали из лодочной конопатки, но его нужно было много. И суда давали течи. Мужики матерились на все подозерье.

Веселый ребячий табунок, недоставало только хвостов, убегал по отмели. Случись руготня слабосильного деда или малозлобивого мужика, — всех знали наперечет, — убегая, изображали лягание и даже озорно ржали.

Подальше от всех, на какой-нибудь чисто вымытой и отшлифованной волнами каменной россыпи располагались на сйдку.

Вася не сводил очарованных глаз с озера. Все, что там происходило, было глубоко интересно, нужно и значительно.

Тишь. Гигантский, сверкающий серебром и золотыми разводами лист лежал на земле. И тогда на озере пусто. Проползет серединкой пароход и протащит одну-две баржи.

Рыбакам нечего делать в мертвой воде: рыба гуляет, зорко видит невода и не смешает их с водорослями и травами. Сейчас только купаться. Мужики не любили это „безделье“. И на озере — пустыня.

На дальней кромочке, за десять-двадцать-сорок верст, по нагорьям, стоят белые колокольни-шатры, серо-сизые села

и деревни, ветряные мельницы, похожие на присевших зайцев с поднятыми ушами, и забредшие по грудь в воду леса...

Застылый покой редко расколет крик одиночной чайки, и острое крыло ее проборождит гладь. И тогда след от крыла точно беззвучно и мелко засмеется в солнечных искрах.

Идут беляки. Озеро — как шумная конница. Гремит. Ветер поднял высоко белые завитки грив. Вода несется на берега мельничными валами. Тысячи огромных круглобоких валов. Небо опустилось низко, как веко над усталым глазом. Озеро похмурело, иссиня-черно, как вечер перед ненастьем. Небо захватили в полон чайки. Точно их сдувает с берегов, как белый пух цветущих тополей.

Пошли рыбацкие лодки, поставившие паруса словно длинные ресницы. Пароходы тяжело волокут баржи с лесом, с хлебом, с сеном, живорыбки, машины под брезентами, ероммы дров и строевика из мелких сплавных речек.

Порой волна закрывает их, как будто и пароход, и баржи, и ероммы опустились на дно и ползут там по спокойной дороге. Канат, связывающий баржи с пароходом, обрывается. Рывучий ветер заворачивает баржи против волны, накреняет... Суда, тянувшиеся гуськом, смешались, топчутся на одном месте, строя нет, их начинает относить в стороны.

— Разбило! Разбило! — кричит Вася. Он весь напряжение, любопытство, страх и жалость.

Ребята жадно и взволнованно вытянулись вперед.

— Сладят али не сладят? — тревожно спрашивает мальчик. — Вот мужикам-баржевикам испуг! Раскидает — и потопит.

Чувства Васи путаны и двухсторонни. Ему хочется победы над злым, разбушевавшимся озером. Мальчика берет дрожь, когда баржи беспомощно ковыляются на волнах, суда ставит на попа́ и вот сейчас-сейчас разломит напополам... В то же время, зажмурив глаза, он представляет, как самая огромная волна подхватит пароход и баржи, столкнет их вместе, растолчет в щепу или просто покатит с боку на

бок поперек озера, покуда от них ничего не останется. И на то и на это можно, волнуясь, смотреть часами и потом рассказывать...

— Мне деда Степан говорил, — почти шопотом делится Вася с ребятами, — лет с десяток тому назад в этакую бурю разбило живорыбку. Ее из моря везли. Рыбы разной — нельмушки, стерлядей, нельм — до того в озере не было. Она и расплодилась. За десять годов ее выловили. Накинулись. Она, глупая, не привыкла на новом месте, ее мужики и взяли.

Шурка сказал:

— Живорыбка что!.. Пастух Афоня и почище знает. В Турецкую войну тихвинку с золотом раскатало под Спасо-Каменным монастырем. Никто золота достать только не может. Глубина. Тройные шесты из-под низу вода заворачивает. Ткнут, а шест и всплывет.

Вася напряженно ищет глазами маленький каменный островок с монастырем. В ясную погоду островок плывет по озеру точно стайка пушистых грудастых лебедей. Теперь он совсем скрывается за грядой волн, и только когда они на мгновение отхлынут, вынырнет и покажется навалью звездных маковок и белизной корпусов и стен.

— Я тоже знаю, — торопливо продолжает Шуркин рассказ Вася, — щук ловили по пуду и больше, мохом обросли щуки. Пороли их, а в брюхе у щук золотые монетки. Бочки с золотом как вывалились на дно, на камни, обручи с бочек соскочили, деньги и рассыпались. Щуки, может, все золото проглотили и разнесли по всему озеру.

Вася мечтательно вздохнул.

— Нам бы, ребята, изловить хоть одну такую щучку. Мы бы ее на берег выволокли, от головы до хвоста у нее сажень. Брюхо белое вспучило. Мы щуку тащим по песку, а в брюхе у нее звенит. Пригоршня золота в брюхе...

Чаще разбивало у́ромы с лесом. Вместе с осклизлой дохлой рыбой разбросанный лес густо плавал у берегов. Его выкатывали на отмели и складывали кострами. Каждый домо-

хозяин-рыбак метил своим неприкосновенным крестом-зарубкой даровую находку.

Тогда ребятам новая забава и развлечение. Все бабье, девичье и стариковское Пряхино бежало к озеру прогоном на сбор леса. Это — как в редкие праздники.

После обеден, от солнцепека до поздины ночи, на отмелях гуляли молодицы и молодцы, анфаловские плясали, чебоксарские тальянили, девушки-голосуньи запевали хоровую, и разукрашенная пестрым летним ситцем толпа топтала песок, как коровье стадо или лошади в ночном. С вечерним похолоданием жгли высокие малиновые костры. Ребята старательно таскали отовсюду дрова для тéплины.

Вася завистливо поглядывал, как молодцы, согревая девушек, сидели с ними на песке, на кочках, на камнях, крепко прижав к себе девушек или посадив их на колени.

— Давайте, ребята, — предлагал Вася, — и мы посидим в обнимку. Попросим девчонок, чтобы пообнимались с нами.

Было чего-то непонятно-стыдно. Ребятишки смущенно толклись около девочек, дергали их за рукава и платья, те отбивались, и ничего похожего не выходило на старших.

Вася многозначительно шептал:

— Нельзя, ребята! Мы маленькие.

У озера праздники — раз-два и обчелся. Но непочатый угол будней. Для рыбаков. Лодки не успевают высыхать от озерной пены и зачерпов воды в бурю. Рыбья шелуха шероховато и пахуче облипает борта. От неводов издали несет острой прелью и гниющей тиной. Сломанные лабуньки — подвесы к сетям, как сердца, вырезанные из дерева, глиняная черная гирька с дыркой для продева бечевы устилают рыбачью стоянку.

Васе кажется: мужики так много возятся с рыбой, что начинают сами походить на нее. Вот пухлый дядя Павел Хрященков — явный брюхач и головач налим. Он даже такой точно неуловимый, юркий, скользкий, налимий. Вон Семен Головиков — остроносая щука. У него всегда оскалены

зубы. Дедку Степана не зря зовут деревенские лешим. То же имя у золотобокого леща. На кряжистого окуня с красными перышками смахивает вдова-рыбачка Марфа Вершинкина. Доподлинный щеголь и красавец, весь в лоске и блеске возмужалый сиг — он же длинноногий Васька Гуляев. И все мужики в рыбьем обличьи.

Они же и страшные охотники.

Ребята бегают и кричат возле рыбачьей пристани. Так всегда... И вдруг мужики зашипели, зашикали на них.

— Молчок! — крикнул Васька Гуляев. — Нишкни... Ложись на песок! Веслом отхожу!

Сами мужики присели на корточки, прячутся за лодки и выглядывают оттуда на вечереющее озеро.

Ребята послушно легли и, не понимая, наблюдали за встревоженными рыбаками. Шурка оказался дальнозорким.

— Лось, — тревожно произнес он.

— Где? — почти ахнул Вася.

Ребячье становье замерло и точно вкопалось в песок. Не различишь.

— Глядите прямо, — шепнул Шурка, — куда мужики глядят. Плывет с Банного луга. Прямо держит на Звонкую. Р-ро-га-а-то какие!

Тогда и увидали все петлистый куст, будто подмыло его где-то на берегу, снесло водой и опрокинуло корнями кверху.

Мужики становились все меньше и меньше. Словно они сами собой складывались вдвое, втрое, как боры гармоньи.

Лось приближался к мели. Не доплыв немного до нее, он заметил людей, фыркнул, погрузился глубже, вдоль по воде проверил, не ошибся ли он, и начал поспешно заворачивать обратно.

— Спущшай лодки! — завопили, вскочив, и дедка Степан, и Васька Гуляев, и Семен Головиков, а Марфа Вершинкина и Паша Хрящиков уже гребли и стремительно гнались за лосем.

— На-а-аш! — радостно воззвал дедка Степан. — Пошел в

глубь. Тут ему и мерло! Косиком дурак убежал бы по мелкому месту! И — не догадался зверь!

Скоро лодки окружили лося. Над ним замелькали шесты.

— Не бей по рогам! — орал Васька Гуляев. — По спине, по заду ладь! Ломай ему круп!

Ребята метались по берегу. Они тоже вооружились подобранными с земли палками и камнями.

Васе не досталось палок. Он смешно держал в обеих руках по черенку лабунек.

Полузабитого лося выгнали на мель. Он коснулся ногами дна. Пошел быстрее. Васька Гуляев вывалился из лодки около самого животного и со всего маху шестом пронзил ему бок. Зверь взревел, запатался и, как пьяный, замотал головой. Шесты и весла комлями обрушились на него. Лось будто в стропилах для шатра.

— Не бейте, не бейте! — неожиданно заголосил Вася. — Ему больно! Он хороший!

Мужики даже смешались на секунду от этого пронзительного рева.

— У, сопля! — возмутился дедушка. — Быдто его зарезали, аль гадюка обвилась вокруг ноги! Жарь, молодцы!

Когда лося убили и с трудом выгрузили на берег, Шурка пренебрежительно толкнул брата и насмешливо бросил:

— Плакса! Охотники завсегда лосей бьют! На то и охотники!

Дедка Степан сжал в пятерню плачущую мордочку мальчика.

— Эх ты, жальчивая животинка! — усмехался дед. — Нешто лось стоит слез? Гляди, какое жаркое добыли! Язык проглотишь! Не мы, так другие мужики его б устосали. Потому дурень и поплыл поперек озера. От страха. С Банного луга его согнали. Пальнули, поди. Он и в бега! Не знатьё, не знатьё! — дед засмеялся, подмигнул Шурке и обидно-насмешливым голосом спросил у мальчика: — Да уж не девчонка ли ты у меня, Васенька? Надо посмотреть!

— Баба! Баба! Васька — баба! — дразнили несколько дней ребятишки плаксивого товарища.

С Шуркой вышла драка у Васи. Мальчик дрался с такой неудержимой злостью, что обратил старшего брата в бегство и подшиб беглецу ногу камнем. Обыкновенно убегал побежденным Вася.

Лося мужики продали по частям, а сами и не попользовались. О рогах метнули жребий. Выиграла Марфа Вершинкина. Федор Степанович купил у нее рога. Марьюшка стала вешать на них чистые полотенца с красными петухами на концах. Вася долго был уверен, что лось продолжает жить на земле.

Лося часто вспоминали. Ребята хорохорились и похвалялись отсутствием у них всякой жалости к нему. Но место, где убили зверя, прозвали на веки вечные „Лосевым курганом".

Никогда не жалели волков. Был в Пряхине забулдыга мужик Никита Резвушкин. Жил с бездетной бабой. Она крестьянствовала, он охотился.

— Поди к волчьему пастырю, — говорили мужики ребятишкам, — волков-де опять видели в Горбылевском осиннике.

Никита носил волчью шапку и поставлял такие же шапки на всю деревню. Волков он изводил нещадно. Выслеживал и гонялся за ними без устали и с ружьем, и с капканами, и с травежом.

Горбылевский осинник начинался почти прямо от пряхинских гуменников и пересекал анфаловские и чебоксарские болота у озера.

Волки зимами заходили в деревню. Никита бивал их средь улицы.

Мертвого волка Вася с удовольствием хлестал дедушкиным кнутом.

Никита Резвушкин жил несогласно с мужиками и крепко дружил с ребятишками. Как только они подрастали, кончалась и дружба.

С ним-то Вася и Шурка ходили рыть клады в Горбылевский осинник.

— Жил-был в деревне Пряхино, — медленно тянул Никита свою повесть, — богатый-пребогатый прасол...

— А когда он жил-был? — спрашивал Вася.

— Перебивай в конце, — обрывал любознательность мальчика волкодав, — раз жил-был, значит без нас это было. Когда да когда!.. Жил-был в деревне Пряхино, — начинал снова Никита, — богатый-пребогатый прасол. Рыбы в те времена ловилось не по-нонешнему. Брали рыбу бабы подолами и пестерками. Вгустую шла рыба к берегу. Сама в уху просилась.

Вася не мог усидеть.

— Разве рыба может сама проситься?

— Может! — вскрикивал Никита. — Рыба все может. Прежние рыбаки чуяли ее голос на любой глубине. Там и невода закидывали, там и мережи ставили. Рыбы столько набиралось, всю снасть уводила. Да что снасть! — отмахивался от кого-то черной, обожженной порохом рукой Никита. — Раз один старичок-рыбачок из Котлова, говорят — твоего роду, Васютка, прапрадеда еще твоего пращур... О, куда скочили памятью! — лицо Резвушкина и светло, и приветливо, и лукаво сияло. — Так этот, скажем, неведомый котлован ботал рыбку на холах, на уключины ботальницу нацепил, а рыба-то вбок кинулась и ну, и ну трепать лодчонку! Старичок-дурачок обрадел — да за весла. Думает: „К берегу причалю, тут ей, рыбе-то, деваться и некуда“. Ан, и весла от качки потерял. Выбился из силов. Ботальницу было вздумал отвязать и бросить... и не могет. Так котлована без памяти встречные мужички и спасли. Лежит он в лодочке пупом кверху, а вода ему до брюха, а кораблик его рыба завела на Банный луг, в осоки.

Ребятишки в оторопи жались друг к другу.

— Неужто это верно так было? — потрясенно спрашивал Вася, и рот у него оставался открытым.

Никита с хмуростью в бровях косился на мальчика и каким-то приглушенным, с хрипотцой, голосом выводил новые узоры...

— А раз другой пентюх, — ронял он щедро выдуманное им / слово, — щуку на дорожку поймал. Уперся ногами в кривое поперечное ребро лодочки, весельцем кормовым помахивает, дорожка в зубах... щука-то как хватит за блесну... дорожка взыграла... зубы у рыбака стук-стук — забренчали, застучали о лодку. Пол-рота у рыбака очистило. Морда у него быдто на бойне была, по губам кровь струит, а на лету сцапал дорожку. За руку дернуло, едва из плеча не выставило... Осилил. И давай щуку волочь к лодке. Долго ли, коротко ли — приволок. Тут рыбка и показала ему свой крутой нрав. Чудо из чудищ — голова как у быка — раскрыло на него пасть и вдруг лишь скажи: „Ай!“ Рыболова всего затрясло... Лодка на рубчике стоит. Сию минуту рыболов в пасть вывалится щуке. И она его заглотнет. Он к топорику потянулся, забрал его, да где бы щуке промеж глаз, а рубанул по дорожке... Отвела! После того заклялся в лодку садиться, рыбу не потреблял, до смерти воды боялся да так и помер.

Вася слушал весь в поту и напряжении, но не поверил Никите.

— Неправда, — усомнился он.

— Чего неправда? Это я-то вру? — крикнул Резвушкин. — А ты отколе знаешь? Кто из нас постарше?

— Щука блесну проглотила, — упорствовал Вася, — мужика ей некуда и глотать. Дорожка мешала...

Никита постучал Васю по лбу, постучал кокотышками по столу и засмеялся:

— Однакой звук!

Волкодав живо повернулся к другим ребятам и, заигрывая, притворился.

— Нынче Васятка меня больно сбивает. Лучше разойтиться. О кладах опосля. Ты, — язвительно усмехнулся Никита, —

милый человек, мне не ко двору. Без тебя мы побалакаем вольготнее. Ты, Васенька, сиди дома окол бабки Аграфены. Она у вас мастерица вшей ножичком искать в голове. Она тебе волосики почешет. Треснет вошка, значит правда. А мы как придется говорим, — где, может, и так, а где, может, и не так.

Никита обвел ребятишек хитрыми глазками и выкрикнул:

— Любо вам, сказочники, али не любо?

— Л-любо! — сорвались все с места и гаркнули ребята. — О кладах хотим, о кладах!

Багровый от зависти и смущения, Вася не знал, что ему делать, — не то уходить, не то просить прощения у Никиты за недоверие к его рыболовным рассказам.

Выручили ребята, и особенно Шурка.

— Никита Митрич, о кладах! — зашумела детвора. — И Васютка боле не спутает.

— Я не спутаю, — тихохонько и жадно вставил Вася.

— Он мне на ухо пошептал, Никита Митрич, — приврапул Шурка, — не пикну, говорит, только б дядьку послушать.

Волчий пастырь задумывался и, промедлив достаточное время, чтобы сильнее раззадорить слушателей, а тишина была как в пустой избе, вяло и нехотя подбирал слово к слову...

— ...И вот... прасол энтот скупил всю рыбу в Заозерьи и по сю сторону. Всю Рассею завалил рыбой. Деньжищ у него — ноне во всей округе столько нет. И деньги все золотые, чеканные, новенькие. Старых не брал. Такой карахтерный! Ваське, поди, охота спросить, — усмехнулся Никита, — где энтот прасол жил, да где его изба, да почему избы нет по сей день? Так я вам поведаю, дружки. Прасол-то нашу деревню и основал. Навез откуда-то мужиков. Выстроились. Он на них — рыбацкую лямку. А баб заставил прясть. И тоже на себя. Его корм, а ихние труды. Так Пряхино, по бабам, и произошло. Сперва хотели назвать Прасолово, да раздумали...

— П-почему раздумали? — задохнулся Вася.

Все ребята тревожно зашевелились. Никита, не глядя на мальчика, провел у него по губам пальцем и для чего-то прикрыл свои глаза.

Пронесло!

— Раздумали и раздумали, — пробормотал скороговоркой Резвушкин и опять перешел к медленной речи. — Откудова я знаю! Прасол денежки складал в дубовые бочонки. Полный голбец бочонков. У других в голбце картошка, а у него — деньги. На то и купец. И был у него сын мотыга. И стало купцу жалко своего нажитого добра! „Я, грит, его с мира собирал, а он, грит, его по миру опять спустит. Не жалаю!“ И воров купец опасался. Собака у него была кусучая. А раз все ж таки воры стенку подрыли — заговор от собак знали — и один бочонок выкатили. Да влипли: бочонки-то завороженные, открывались одному хозяину. У воров — нетерпежка. Где бы бочонок катить и катить себе по улочке. А ночь. Никто бы и не увидал. А они вздумали его делить. По карманам золото рассовать. Один другого вор боится. Как бы в ночном поле горло не перегрызть из-за бочонка друг дружке?! Обруч сшибли. Золото рассыпалось, а отодрать его от земли не могут. Звон поднялся по деревушке Пряхино. Купец — тут как тут. Из окошка высунулся и собаку на них науськал. „Куси их, Стрелок!“ — крикнул и в ладоши хлопнул — это от собачьего заговора — купец-проныра. Воров-то и растрепала собака. А бочонок сам закрылся и в ту же дырку обратно закатился, земелька осыпалась, изба пошевелилась — и купец пошел спать. Незадолго до своей смертыньки перевез купец бочонки от мотыги-сына в Горбылевский осинник и зарыл их там. В старых книгах написан купцов наказ: откроются клады бережливому человеку, кто деньгам цену знает и никому их не отдаст, окромя купца в сороковом колене.

Тут все ребята стали допытываться у Никиты, какой-такой купец в сороковом колене.

— А это не иначе, — сказал Никита, — притча о вечных временах. Мне учительша карандашиком подсчет сделала. Ежели надобно сороковому купцу передать бочонки, а купцы живут подолгу, годов по семидесяти, по восьмидесяти, — чего им, брюханам, делается! — то выходит боле трех тысяч лет должны денежки по земле катиться кружочками. Я, ребятки, однакоже, купца маклакую обойтить! Какой-то там сороковой купец наследник, а мы-то на што, голоштанные мужички? Искать, ребята, искать! И боле никаких! Найдем, — я вас закормлю сусленниками и рожками. Так и быть, поделюсь казной с вами. На каждую гулянку стану выдавать... по четвертаку!

Накануне Иванова дня Вася и Шура ползком выбрались из родительской избы. То же сделали другие искатели кладов. Во главе с Никитой, с лопатами, шепча сорок раз подряд слово „поводырь, поводырь, поводырь...“, трясясь от страха перед предстоящими испытаниями, вступили в Горбылевский осинник. Слово „поводырь“ приказал твердить Никита.

— Так завещано стариками, — учил Резвушкин. — Это от нечистой силы. Она, проклятая, стережет купеческие клады. Чуркой могет зашибить, дерево на голову уронит, в землю проглотит...

Горбылевский осинник был ровен, как накатанная дорога: ни горбылька, ни кочки, ни курганчика. Никита чесал затылок.

— Где будем копать-то? — шептали побелевшими губами помощники.

В редком осиннике, достаточно темном и в северную белую ночь, жутко падала роса с листьев, шуршали невидимые насекомые в траве, где-то какая-то птица встряхивала спросонья крылья.

— Поводырь, поводырь, — настойчиво бормотал Никита. — Искать надо. Сразу не откроется.

Но к нему приставали снова. Из страха, ребята прилипли

к Никите. Каждый норовил держаться за его рубаху, за штанины.

— Поводырь, поводырь...—хрипел Резвушкин. — Не говорите окромя ничего. Все дело спортим, гады! Отвались от меня. Я ж шагну вам на голову.

Копали в разных бугорках до солнца.

— Звенит? — спрашивал Никита.

— Не звенит.

— Открывается?

— Не открывается.

— Тоды на другое место.

И на другом не звенело и не открывалось.

— Наважденья есть? — шептал Никита.

— Нету.

— А я собачью харю в кусту вижу.

— А-а!..— заревели во весь голос открыватели кладов и в ужасе, бросив лопаты, повисли на поводыре.

Должно быть, ужас пронял и Никиту. Он бежал первым к опушке и беспрерывно оглядывался. Страх его передавался дико голосившим помощникам.

На свету, на утреннем, еще холодном солнышке в открытом поле Никита остановил бегство.

— Цыц, не выть! — крикнул он, вытирая потный лоб. — Я в шутку прыснул из осинничка, а вы, дурачье, испугались. Садись залоговать от ночных трудов.

Отдохнули.

— На следующий год, — убежденно промолвил Никита, — клады возьмем. Я теперь дорогу знаю. Было наважденье мне, значит бочонки тута. Никто их окромя нас не откопал ране. Чур только молчанка. Никому не поведаете?

Перед самым уходом по домам ребята вспомнили о брошенных лопатах. Без них нельзя возвращаться. Никита серчал:

— Пошто кидали? Я вот свою уберег!

Никто не шел в лес. Отдельные смельчаки делали два-

три шага и растерянно поворачивали назад. Или всей ватагой вступали на опушку и врассыпную кидались по лугу.

Никита, покуривая и побаиваясь итти снова в осинник, однако взвесил всю невыгоду своего положения перед мужиками, пересилил себя и собрал ребятишек в кучу.

— Ах, ах, трусишки! — засмеялся деланно он. — Ну, уж ладно, пойдемте вместе за вашими лопатами, а то еще отцы да матери скажут про меня — сомущаю-де ребят на опасные дела. А я и не при чем.

— Мы сами, — подчеркнул Вася подобострастно и внимательно всмотрелся в Никиту, заметив, как у того стучали зубы. — Тебе холодно, Никита Митрич?

Резвушкин поморщился и неприязненно скосил глаза на мальчика.

За лопатами шли с оглядкой. Никита громко балагурил и даже пел. Обратно опять почти бежали.

— Пора, пора! — покрикивал Никита. — Не отставай, ребятишки. Совсем я с вами запарился! Что я вам, нянька: води и выводи вас! Да еще и лопаты подбирай!

В Иванов день была гулянка в Пряхине. Резвушкин проходил с ружьем по деревне.

— Никита, — смеялись мужики отовсюду, — клад-то твой Афоня пастух нашел: кисет ты потерял с перепугу в Горбылевском осиннике!

Никита почему-то ухмылялся победителем, точно он действительно знал какую-то тайну и, может быть, откопал клад.

— Кисет что, — отшучивался охотник, — было б что в кисете.

— Ох, кажись, негусто!

— Считай — не пересчитаешь!

Вслед Никите раздавался довольный гогот мужиков.

Волкодав и кладоискатель пренебрегал мужиками. Но когда вслед за ними начинали вышучивать его ребята, он горько и злобно ругался.

— Пригрел! Змею пригрел! — бесился Никита. — Подползла! Из ружья выпалю! Мѐне волка скверного человека жалко!

Ребятишки подкрадывались к окнам охотничьей избы и внезапно орали:

Никитàй, Никитàй,
Ты бочонки выкатай...

Резвушкин выскакивал на крыльцо. Певцы прыскали наутек.

— Я вас, сволочи, словлю! — ярился Никита. — Вы у меня посидите на мушке!

После разрыва с кладоискателем Вася при кáждой неожиданности опешливо восклицал:

— Клад!

— — — — — — — — — — — — —

Звонкое, веселое солнечное лето спадало. На задворках вьюрковской избы в дедушкином саду вызревали яблоки. Чаще стегали землю дожди. Мельницы вертелись не по-летнему, не простаивали дня: дули ветрá. Отец привозил мелочные товары из города на телеге, выкупанной в грязи. Подстригли ржаные поля под корешок; небо темнело галками и воронами. Бабка Афанасья пришла из Котлова в вязаном шерстяном платке, и у нее покраснели руки от холода. Озерный поперечник от Архангельска затоплял отмели. Озеро не знало покоя ни днем, ни ночью. Оно постарело. Седые космы, как у бабушки на голове, запутались в валах.

Вася смотрел на озеро из окошка. Словно у мальчика отняли половину игрушек, и ему было грустно.

— Прихватывает, — чему-то радовалась бабушка Аграфена. — Нòне был первый иней.

Федор Степанович старался жить на городской лад. У городского мерлушечника купил он Васе ягнячий воротник. На шубу, однако, подешевле забрал у Никиты пучок заячьих

шкурок. Пришел деревенский портной и на дому, как пастух Афоня, кортомился, переходя из избы в избу, за харч и кулек пиленого сахару обшил Мещериных. На шапку выбрали особо пушистого русака. Шапка с ушами.

В тепле и заячьей холе, в бабушкиной изготовки овечьих варежках, Вася теперь слонялся по деревне. В поле на жнивье гонял камнями воробьев. Целыми днями глодал душистую, в осеннем холодном соку, желтую репу.

В бочагах Звонкой на донку таскал последних заглотных окунишек. Рыбешка с наперсток, недалеко ушла от ерша, а крючок брала взаглот.

Но главное ребячье становье было у мельниц. Тут дневали и ночевали. С маленькой горки виднее перелет птиц. Тут легко и просто скрыться под подол к мельнице от частых дождей. Под подолом же защита от проносных ветров. И людно и весело здесь. Приезжали на лошадях с мешками анфаловские, чебоксарские, котловские, пряхинские мужики. Лошади ржут и косятся на мельничьи крылья. По скрипучим лесенкам в мельничьи избушки будто сами собой лезут мешки, целая вереница, один толще другого.

Вася смотрит и думает:

„Мужики, как муравьи в куче, карабкаются кверху. Ни ног, ни бороды, ни корпуса у мужиков не видать. Вместо человечьей спины пухлый мешок с зерном. Мужики настоящие только спускаются с лесенок: тогда на волю голова и грудь, а за плечами лежит мешок с теплой от размола мукой“.

Никита вблизи от мельниц шагает в луга. Длиннющий дробовик, как цеп, вздымается над волчьей шапкой.

— Никита Митрич, куда? Приворачивай к нам! — кричит задорно из-под мельницы Вася. — Зачем кол из огорода утащил?

— Кто-о эт? — останавливается, вматриваясь, охотник.

— Волки, — гудит десяток хриплых голосов с зачинщиком Васей.

— Я колà не таскал, — простодушно оправдывается Никита.

— А чего у тебя выше носу подымается? — озорничает Вася.

Резвушкин мгновенно серчает, быстро сворачивает с тропки, подходит вплотную к мельницам, ставит к ноге ружье. Вася уже мышкой стрельнул под другую мельницу и осторожно выглядывает оттуда.

— Это Васька меня дразнит? — спрашивает Никита. — Где он? Выходи! У меня с руки разделка. Давно до него добираюсь, да только случая не было!

Ребята привыкли к Резвушкину и знают цену его безобидным угрозам.

— Журавли! Журавли! — смело появляется Вася из засады и тянет ручонку в направлении облаков. — Снялись за Горбылевским осинником.

— Где, где? — тревожно бормочет Никита и вскидывает свой тяжеленный дробовик наизготовку, забывая о всякой обиде и насмешке.

Долго разглядывают серые облака, смотрят из-под ладошки. Никита кладет кулак на кулак, держа ружье подмышкой, но и в узкую дырку кулаков Никиты и в полные глаза ребятишек журавлей не находят.

Вася изучил повадки Резвушкина. Он нарочно и спрятался от него, чтобы интереснее разыграть доверчивого охотника.

— Ей-ей, журавли летели, — упорствует на своем Вася, — целый клин. Уж я-то не ошибусь! У меня глаза, бабушка Аграфена говорит, как у кошки: ночью булавку вижу.

Вдруг мальчик улыбается с хитринкой на Никиту, все еще разглядывающего с загнутой головой какую-то подозрительную темень в дождливой туче.

— Они, видно, тебя увидали, Никита Митрич, — еле сдерживается от радостного смеха Вася, — испугались и поворотили обратно.

Ребята визжат от удовольствия, а Никита рассеянно твердит:

— Видно, видно! Я на журавлей и собрался

Резвушкина пугают капли зачинающегося дождя. Охотник куда-то спешит в поле, точно его там нетерпеливо поджидают.

— Журавлей кончу, — говорит Никита на быстром ходу, — тоды упадет первая пороша. А по первой пороше мы закатимся на зайчиков. Р-раздолье!

— Никита, вон, вон журавли, опять летят! — орет Вася. — Облака прорвали и вывалились. Паляй из твоей пушки!

Никита, не оборачиваясь, грозит пальцем: не проведешь-де!

Мельницы ребята облюбовали, как сказал пастух Афоня, не в добрый час.

На Покров пряхинские мужики вместе с бабами и девками выехали на озеро. За неделю Васька Гуляев отплыл недалеко от берега: захотел испытать новый парус. Только его поставил — и семерик понесло лучше не надо. Как вдруг лодчонка встала будто вкопанная, и ее болтануло и туда и сюда, а вокруг поднялся невиданный плеск.

Васька Гуляев ненадолго оробел. По обе стороны судна из темной осенней воды выбросилось несколько матерых, как противни, лещей. Лодка застряла в какой-то рыбьей каше. Васька чувствовал живое трепетание рыбы у бортов и под днищем. Рыба шла густо, невпроворотную, терлась и скреблась о тонкое на воде, будто пузырь, дерево лодки.

Васька Гуляев опрометью кинулся в деревню и кликнул клич:

— На лещевой стан врезался! Скорей, мужики! Лещ залег у самой пристани, хоть в устье Звонкой выводи сети! Дуром на него нарвался.

Мужики неохотно и недоверчиво раскачивались.

— Не по времени!

— Что-то Василий не в себе...

— Когда это около Покрова леща видали?

— А и был, так ушел. Не станет дожидаться, покеда Васька побежал переобувать сапоги да снаряжать нас.

— Зряшная ходьба. Рыбы в Кубинском мало ль: всю ее не охватишь.

Ваську Гуляева поддержал Степан Вьюрков.

— Мишка, — живо обратился он к горбатому старичине, своему одногодку, наставлявшему глухое ухо поближе к губам Васьки Гуляева, — а помнишь, годов сорок назад, перед зимним Николой оттепель грянула?

Ровно бы пять десятков, а не сорок, Степан, — шамкнул горбун. — Полынья-то, — просветлел от воспоминаний он, — на пять верст образовалась.

— Я то и говорю. Лещ на подводах вывозили. Ваське благодарность за глаз. Молодчина! Соббирайсь живо!

Собрались, как на пожар.

Несвоевременный улов затягивал. Мужики жадничали. В пустой деревне ревел плохо накормленный скот и хозяйничали ребятишки. За вьюрковской мельницей надзирала бабушка Аграфена. Ей сопутствовал, с озабоченностью в лице, Вася. Как же иначе? Он заменял дедушку. Тот впал в молодецкий азарт. Мельник забыл о годах, не ходил больше трудно, с задышкой по земле, а скакал впереди молодых мужиков. Лещей, казалось, не вычерпать никогда, точно выгружали на берег одну урому за другой мелкого леса о пяти четвертях.

А тем временем однажды вечерком ребячья безотцовщина под вьюрковской мельницей закурила мох в цыгарках. Покурили и покашляли. Косой дождь намочил землю. Молодой хозяин простучал ножками по лесенке в мельничью избушку, захватил там охапку пакли и подостлал ребятам сухое сиденье.

Покурили и заронили. С холоду Вася предовольно отогревался дома, с голоду вкусно уписывал ломоть за ломтем.

Огонь заметили раньше мужики у озера, кончавшие со смоляными факелами уборку снастей. Огромное помело полыхавшей мельницы с бешено вертящимися крыльями багровым светом залило окошки задней вьюрковской избы.

— Батюшки! — охнула Аграфена, скатываясь с полатей. — И где же это пожар?

Старуха тут же, у приступка на печку, только глянув вперед, на красное вращающееся чудище, узнала свою мельницу.

— Ой, наша мельница! — с диким криком вбежала Аграфена на дочернюю половину. — Марьюшка! Федя! Что старик-то мне скажет! Не уберегла, окаянная!

Вася успел слетать в заднюю избу и кинулся искать свою шубенку.

— Это мы, — шепнул ему на бегу Шурка, — смотри не винись! Папа за курево убьет!

— Уговоримся со всеми ребятами на пожаре! — дополнил Вася. — Не мы, а прохожий странник заронил. Соврем — видели-де его, такой маленький, кудлатенький, и нос в табаке. При нас нюхал, потому мы ему ничего и не сказали, а без нас, видно, курил. А то и по злобе поджог!

— И пакли мы не видали! — заметал следы Шурка.

— Пакля перво-наперво сгорела! — пренебрежительно бросил Вася. — Ты, догада! Ищи ее в дыму под небесами! — совсем заважничал мальчик.

— Пожар! Пожар! Горят мельницы! — кричали под окнами и барабанили по ним палками немногие бабы и мужики, оказавшиеся в деревне.

Ветер-косик хлестал, как на испуганных норовистых тройках, от Горбылевского осинника. Ветер подхватил крылья вьюрковской мельницы и пустил их будто бегущие колеса с горы. Крылья рассыпали искры и головни на все семь мельниц. Ветер словно поддувалом разносил жадный лизун-огонь огромными багровыми языками.

И все мельницы занялись, вспыхнули, будто пронзило их сразу красным веретеном огня. А потом перегорело и лопнуло отводящее крылья вьюрковской мельницы бревно, крылья бешено метнуло в сторону, мельничья избушка накренилась, ее сорвало с места, и все сооружение рух-

нуло на полуобгорелую соседку-мельницу. Та не устояла на ногах и повлекла за собой третью.

Шипящая и палящая груда сухих бревен, досок, мучные черные тучи далеко отогнали грудки беспомощно суетившихся мужиков и баб с ненужными ведрами.

— Багры! Где багры? — истошно кричал Федор Степанович. — Где пожарные крючья? Какой дурак выстроил мельницы далеко от воды?

Вася глядел на суету отца и шептался с ребятами.

— Шито-крыто! И близко не были. Я и спички выкинул из кармана, чтобы папа не поймал! — уславливался Вася на завтра. — И ты, Шурка, им втолкуй!

Шурка с тревогой оглянулся на близ стоявший народ и дернул Васю за рукав.

— Помалкивай, как ни в чем не бывало, — сказал ему в самый завиток уха. — Накричишь, навертишься, всем на беду! Вон и так мама на нас посматривает исподлобья... Проверяет.

— Какие тут, Федор Степанович, багры! В уме ты? — степенно говорили старики. — Неприступная крепость! Руки у нас человечьи. Не дотянутся. Да и растаскивать нечего. Все по́няло огнем, как водой. Начисто заберет мельницы. Гдей-то и молоть станем после этого бедствия? Под рукой были мельницы.

Степан Вьюрков застал одни угольки от своего старинного строения.

— От так налещились! — горько взрыдал старик.

Он проплакался, слезливыми глазами обвел народ и уставился на молчаливую согбенную Аграфену.

— Мать, мать, и ка-ак это ты ребят допустила на мельницу? — горько и жалобно спросил он. — От них, от баловников, печаль и раздор!

Вася дрогнул.

— Как это он догадался? — потрясенный, зашептал мальчик брату. — С озера нас не видать!

— Вася, Шурка! — плаксиво укорил дедушка. — Наследство свое сожгли! Портки с дедушки сняли!

Вася был дольше не в состоянии молчать.

— Дедушка! — отчаянно крикнул он. — Это странник. Мы мужика с ноготок видели. Пакля у него была за пазухой! И... в ушах пакля... будто от ветру! И спички у него в кармане шевелились! Не иначе он!..

— Странник, странник... — зашептал народ.

На странника и свалили.

— Кожу тебе с задницы спустить, чтоб новая выросла, а не страннику! — сердито сказал отец Васе дома после пожара. — Вьюн и отчаянная башка! Куришь? Дыхни на меня.

Вася охотно дыхнул. Мальчик еще не курил, а только другим зажигал спичку. Шурка уже изредка тянул. Мужики ему давали докуривать мокрый остаток цыгарки. Но испытание выдержал и Шурка. Знали средство прогонять табачный запах: заедали его сухим чаем.

— Я, папа, курить не буду, я буду пить, — словоохотливо повторил отцовские слова наизнанку Вася.

Федор Степанович одновременно и усмехнулся и неприятно поморщился.

— Хорошим делом хвастаешься, болван! — вдруг крикнул разгоряченно отец. — Верхогляд! Чужим умом живешь! Не сметь перенимать от всех всякое слово, как макака!

Недели две Вася не сходил с пепелища с утра до ночи. Всей ватагой ребятишки выбирали из углей гвозди. Черные от сажи, в измазанных шубенках, с руками точно у старых кузнецов, они старательно и осторожно выпрямляли на камнях молотками перекалившиеся гвозди, были счастливы от поживы и продавали ее мужикам за свежую и вяленую репу, за яблоки и за капустные кочерыжки.

Теперь ребята грудились возле овинов с гуменниками. Собравшись там в кружок под обмолоченной скирдой, складывали в груду добычу и жадно поглощали ее.

Вася залихватски говорил:

— А ловко мы, ребята, на мельницах подобычили! И всем мужикам нос! Думай на странника!

С дедушкой сушили овин. И тогда не выдали себя, а дед подъезжал и так и этак.

— Мишутка Четвериков мне, как на духу, открылся, — подкрадывался старик. — Я его еще за правду похвалил. „Прости, говорит, дедушка, боле не будем“.

Вася хитро опустил глаза, а Шурка отвернулся, точно ему захотелось чихнуть от едкой пыли, плававшей в сушилке.

— А чего боле не будем, дедушка? — с притворной наивностью спросил Вася. — Мельницы все сгорели. И будем, да не будем.

Дед неловко пошевелился.

— Ну, так... другое строенье... Мало ли... Овины, там... сеновалы... и самая хата, когда она без призору...

— Знаешь, дедушка, — продолжал подсмеиваться внук, — ты про Мишутку Четверикова сбрехнул.

Дед кашлянул.

— Ей-ей, сбрехнул, — настаивал и наступал мальчик, — парень в тот день у мельниц вовсе и не был.

— Был, — вставил Шурка.

— Я не помню, — поправился Вася, — а ежели и был, то без меня.

— Без тебя, — поддержал брат, радуясь, что Вася вывернулся.

Дедушка вздохнул, подумал, рассердился, и ему сразу захотелось наказать неподатливых внучат.

— У вас не выведаешь! — хмуро пробормотал он. — Поди, сговорились заране. Странника подсунули. Баб странником обманывать. Вруны! Не хочу с вами сушить овин. Нечего тут сидеть зря. Вам забава, а мне дело. Только мешаете. Пошли домой!

Ребята мялись, но дедушка был неумолим и настойчив. На улице Вася в ярости предложил Шурке:

— Давай напугаем старого чорта!

Шурка не согласился.

— Так я и без тебя обойдусь!

Мальчик разыскал в темноте большой камень и с размаху швырнул его в гулкую стену овина. Дедушка там глухо закричал. Братья рванули вперед. На бегу они оглянулись из темноты. Невидимый, но узнаваемый по голосу, дед вышел из сушилки и злобно грозил:

— Озора непутевая, я вот отцу скажу, он вам надерет марфушки, в штаны накладете!

Куда приятнее было сушить нищий овин Никиты. Туда набралось много ребятишек. Каждый тащил из дому что можно: хлеб, пироги, шаньги, рыбу, картошку...

Мерекал маленький фонарик с радужными разводами на стеклах, Никита возлежал посередке сушилки на теплом глиняном полу, подперев голову рукой. Ребята попеременно, кто чем, угощали хозяина.

— Я обожаю одну картошку, — отказывался Никита, — картошечки дайте.

Резвушкин чистил зубами сморщенную в золе и обгорелой грязи картошку, разламывал ее рассыпчатое душистое белое тело.

— Вася, — ласково говорил Никита и тянулся к нему с картошкой, — посоли мне яблочко, не жалей. Погуще. Брюху от сольцы не бывает вреда. Солонина доле парного мяса живет.

Аппетитно жевали все.

Горюче-тепло, сухо, глухо. Накаленный воздух жег и словно румянил лицо. Потрескивала солома, слабо осыпалась, под потолком что-то чуть-чуть гудело, словно шептались там незримые крошечные особые люди.

— Слышь? — спрашивал Никита, наставляя ухо. — Разговаривают!

— Кто разговаривает? — открывал Вася большие серые глаза с черными длинными, как усики цветов, реснинками.

— А домовой, — просто отвечал Никита, — овиннушко и сушилушко.

Ребята подползали ближе и теснее к Никите. Холодило спины.

— Почем ты знаешь? — уже шептал Вася.

И Никита так же неторопливо и серьезно продолжал:

— А я видал. Лонись я сушил в одиночку. Вздремнул малость. Видно, овиннушко оступился наверху да вниз и сверзился. Я ка-ак встрепенулся ото сна, только один мохнатый хвост и углядел, с крючком таким и с кисточкой. Овиннушко в ржаной сноп обернулся. Я этот снопик с бережностью закинул в обрат. Так уваженье надобно овиннушку делать. Он добрый и ласковый, кто с ним ласков и добр. Снопик я еле-еле в руки взял, он будто сам и улетел к потолку.

— Никита, — в дрожи и оторопи шептал Вася, — он все слышит!

— Это ничего, — светло и таинственно блестел глазами Резвушкин, — пускай нашу ласку чует. Эй, хозяин! — гаркнул во все горло, пугая ребят, Никита. — Ка-ак у нас там подсыхает зерно? Крошки много?

Вася прижался к боку Резвушкина и спрятал под руку к нему головенку с шуршащими, подымающимися волосенками. Ребята замерли в немоте и ужасе...

— Молчит, значит все в порядке, — довольно сказал Никита. — Значит и мы любы. А то бы обошелся и по-иному. Старики говорят: кого не одобрит, усыпит ночью да целый сноп в рот и запихает.

Вася задумался, как можно в маленький рот засунуть большой сноп, но не посмел спросить. Спросил он о другом:

— Никита, овиннушко наши тайные мысли знает?

— Беспременно, — уверенно бросил Никита, — кажинную мысль. К примеру, кто из вас его боится, он посмеивается, кто ругает, он того на зарубку берет, кто к нему с теплым сердцем, тому он готовит удачу. Нечистая сила прозывает-

ся, а поглядеть, хорошие все мужики — черти овиннушки, баннушки, сушилушки, водяные и лесные. На ногу им не наступай, они тебя ни нинь не тронут.

Ночь проходила с медлительным раздумьем. Середь ее, в страхе и в тоске, в ожидании всяких случайностей и неблагополучия, в зависти к смелому и запросто с чертями Никите, ребята валились грудой на Резвушкина. Он спал на спине, подложив руки под голову. Фонарь капал из его лицо умирающий свет. Ребятишки вплотную, как лоскутное одеяло, покрывали брюхо, ноги, грудь Никиты.

Ясный свет утра, всходивший над миром, освобожденно бил по привыкшим к мраку глазам Васи, когда он выскакивал на волю из темной дыры сушилки. Лежал на земле бодрый, пушистый, в бахромке белый утренник.

— Ну ее к чорту, эту нечисть! — возмущенно восклицал и охальничал Вася, радостно глянув на сверкающее донышко солнца. — Думал, вся кожа у меня за ночь пупырышками слезет. Ежели страшно, значит вредные дьяволы. Волка палят из ружья, и домовых следовает!

Мальчик задумчиво бродил по гумну, ожидая начала молотьбы. Вон уже в белом платочке, с корзинкой на руке — ранняя кормежка Никите — торопилась его баба.

— А, огольцы! — смеялась здоровая, сильная, упругая, точно хорошо пропеченный каравай, Маша-груздик, как ее звали в Пряхине. — Поди, натерпелись страху? Никита-чудило про леших вам залил лукошко! Ха-ха! Он у меня мастак на побасенки. Слушайте, развесив уши! Ха-ха!.. Никита-а! Лежун! Кор-ми-ись, что ль! А то ребятишкам поделю!

Никита высовывал довольную кудлатую, в соломе голову из приземистой дверцы овина и манил крючком пальца Марью.

Та немного смущенно оглядывала ребятишек — и вдруг с нежной лаской не говорила, а пела сквозь белые зубы:

— Погодите, помощнички, маненько, а потом и молотьба!

Ребята слышали, как изнутри к дверям Никита привалил

большой чурбан, лежавший возле порожка, а Марья-груздик о чем-то весело и звонко рассказывала мужу.

— — — — — — — — — — — — — — —

Зима и санки. У бабушки в холодной горнице, под потолком, в лукошках подвешены самые поздние осенние яблоки. Горница всегда на запоре. Изредка бабушка вводит туда Васю и Шурку. Горница благоухает, точно сад цветет зимой. Бабушка не досчитывается яблок, осматривает замок, вешает другой и пристально разглядывает внучат, пристально и молча.

Но бывают тягучие обедни у попа Козьмодемьянского: бабушка и мама молятся, а папа стоит за церковным ящиком. Вася высмотрел, куда бабка кладет ключи. Карманов у нее нет ни в стареньком старушечьем сарафане, ни в вытертой, когда-то лисьей шубе с обглоданным от ветхости воротником. Отпирают и берут понемногу, поровну, реже раскладывают ряды, чтобы бабушка не замечала убыли.

Как жаль, что яблоки не растут в лукошках!. Ребята не зевают заглядывать туда. Рано или поздно обман будет замечен. Хочется оттянуть бабушкину брань.

— Я надумал! — пробравшись в горницу, говорит Вася Шурке. — Выкладывай яблоки сперва из одного лукошка. Мы ему дно сделаем толстое. Бабушка чуть-чуть подложила соломы, а мы — наполовину. Поймай нас! Так все лукошки и вычистим. Во всех лукошках одинаково. Бабка — ай, ай, а кто ей поверит, что не она солому клала?! Скажут: „Ну, старая, запамятовала, а ребятишек ни за что, ни про что ворит!“

Братаны, прыгая от удовольствия, звонко хохочут и обстраивают свое яблочное хозяйство.

Зима и санки. Почему-то с яблоками в карманах хочется удрать за бывшие мельницы, на гору. И там, на стуже, на снегу, в инее яблоки гораздо вкуснее и слаще, чем дома. Да в избе и нельзя: можно уронить на пол семечки и выдать себя.

Кусают медленно, облизываясь, отдуваясь: знобит зубы.

Недоеденную перепончатую серединку с зернышком глубоко втаптывают в снег.

— Бабушка-то, — издевается Вася, — лоб крестит, кланяется, поклоны отбивает, как маятник в больших церковных часах. Молись, молись за нас, грешных, старая кочерыжка!

Шурка согласен вместе уплетать яблоки, но несогласен насмешничать над старухой.

— Какой ты, Васька, злой! — осуждает он братишку.

— А ты зато добренький! — петушком вскакивает Вася. — Воровать — так обворовываешь бабку, а на словах сахар медович: баба, бабушка, бабушечка, бабусенька!.. Я украл и не каюсь. На кого ей лешего яблоки? Раздавать чужим? В заговенье попу долгогривому целое решето подарила. Где бы нам, а не этому ненасытному. Брюхо-то у него на три больших тыквы походит друг на дружке. Он что угодно в мешок запрятает.

Вася вдруг пронзительно засмеялся, обнял было нахохлившегося Шурку и сквозь смех, запинаясь, ласково рассказал:

— Я тебе забыл тогда... Под руку не попался. Поп яблочки наши в мешок спустил да в переднюю избу пошел стены кропить. Я из мешка половину, а то и боле перекачал к себе в карманы. Поп, поди, попадье дома сказал: „Ну и хитрая Аграфена Вьюркова, решето у ней больно обманчивое, — должно, с двойным дном“.

Шурка остался и доволен и недоволен. Хорошо обмануть попа, но съесть одному краденые яблоки — совсем не по-братски и не по-товарищески.

— Сука ты, — резко сказал Шурка, — сожрал впотайне, а нынче поддразниваешь! Я тебе тоже не дам, когда придется и мне украсть.

Вася с санками разбежался, кинулся на них брюхом, покатил с горы и закричал:

— Жди будущего года! А год-то хватит на яблоки неурожайный! А поп-то, может, кропить пойдет из избы в избу с мешком!

Хаживали в горницу, хаживали в отцовскую лавку за леденцами и пряниками.

Санки таскают за собой: они приросли, точно хвост у рыбы. Санки стоят то у одной избы, то у другой, то прыгают вдоль деревни за бегущими сломя голову ребятишками.

Санки не берут на посиденки: там они лишние. Там Вася, забравшись на полати или за трубаки на печку, в дыму от сизого зелья махры, в поту и мле, напряженно смотрит на плетущих кружева принаряженных девок, ловит перемигивания их с молодцами, слушает длинные убаюкивающие, как колыбельные, песни, любуется лихой пляской, старается сотый раз счесть, сколько боров у растягивающейся в плясовой гармоньи.

Висячая лампа с широким плоским абажуром, как под поповской шляпой, высоко подтянутая в матице, весь долгий вечер дрожит и покачивается перед глазами Васи.

Мальчик подсматривает, как на улице за углами после посиденок молодцы тискают девок, а те брыкают локтями и сдержанно повизгивают. Вася тискает Шурку. Тот понастоящему лягается, сует брату за пазуху снег и валит Васю в сугроб.

— Дура! — вопит мальчик. — Девки же не так делают. Ты стесняйся и повизгивай!

Федор Степанович, если не спит, встречает совсем нерадушно своих гуляк-первенцов.

— Ненаброды, куда по ночам шляетесь?! Рано привыкать повесничать по чужим дворам! Лучше бы помогали дедушке мутник вязать.

Вяжут и мутник. Дед ребячью работу порядком распускает, но лучше три вязальщика, чем один, — у мутника нарастают лишние четверти.

Вася — рукодельник. В метели, когда на улице в опрокидку валятся с неба снежные горы и окошки в белом плотном непроглядном пуху, мальчик вышивает разноцветными крестиками по канве ворот и грудь только что сшитой

ему матерью рубахи. Вася умеет штопать чулки на лобике ложки.

Когда в начале зимы приходят в заднюю избу вонючие катальщики и катают валенки, Вася пробует и это ремесло. Отец смеется:

— Учись, учись. Ни одна наука не проходит без пользы. Поносить бы твоей катки валеночки!

В рождественские и крещенские святки Вася выворачивает наизнан свою заячью шубу, а заодно и шапку, прячет лицо в приклейной нос из сахарной толстой бумаги и в подвешенную за уши бороду из очесов бабушкина льна.

Но все мальчика узнают, даже Никита. Вася нацепляет на шапку для украшения отметные свои якоря с шинельки, убереженные от потери в игрушках.

Шурка неузнаваем: он, заплетаясь в подоле, бродит в бросовой бабушкиной юбке. Васе и хочется, чтобы ошиблись в нем, чтобы назвали его Петрушкой, Гришуткой, но появиться в девчонкином виде он брезгует.

Над Никитой смеялась вся деревня. Осуждала и смеялась. Никита перещеголял всех ребятишек и мчался конем вдоль улицы, нарядившись чортом с коровьими рогами, с двумя волчьими хвостами, с медвежьей головой, весь в погремушках и колокольцах.

Вася позавидовал. Однако побоялся предстать в виде чорта.

Бабушка перекрестилась и загадочно сказала:

— Так один мужичок в чорта-то играл, ровно пустосмешка и валявка Никита, да вывороченная шуба к телу и приросла. Драть-подрать — не отстает. Выпаливать пришлось, как свинью чистят.

— Это нам не по губе, — насмешливо произнес с улыбающимися глазами отец. — А ну, Вася, рискни! Мы тебя тоже, как поросенка, малость поджарим.

— Не рискну, — важно ответил мальчик, — не потому, что бабушке верю, а потому, что на второго чорта в деревне глядеть не станут. Да я и маленький. После большого чорта

Никиты я — чертенок. Я подожду, когда выросту. И Никита, поди, умрет, опростает место.

На масленой из года в год между Анфаловым и Пряхиным происходила драка. Тут Вася не ждал. Сходились и стар и млад в лощинке под горой, за Анфаловым.

Вася хорошо попадал в своих сверстников мокрыми комьями умятого в ядро снега. Дрались с заедалами. Ребятишки и той и другой деревни начинали перекидку снежком, потом сходились ближе, долго не решались напасть сторона на сторону, наконец валились груда мала. Стремительно на выручку подбегали постарше. За ними, размахивая кулачищами, торопились среднего возраста мужики. Старики — одна нога в могиле — распоряжались.

Бой шел до упаду. Вася гордился расквашенным носом и показывал бабушке на ручонках мускулы. Старуха шарила и беззвучно смеялась:

— Ох, и яйцо же у тебя катается под кожей, будто... из ласточкина гнезда. Эт большая сила!

Вася пренебрежительно оглядывал бабку и, отвернувшись от нее, заметно для одного Шурки изображал гримасами старушечью немощь.

В прощеное воскресенье хлопоты начинались спозаранок. В этот день жгли масленицу. Вася с ватагой пряхинской детворы от двора к двору тащил связанные одна с другой дровни. На них складывали всякую рухлядь: старые, рассохшиеся бочки, кадушки, продырявленные пестерки, ветошь, отрепье; в ином месте откупались от сборщиков дровами, дарили керосин, паклю, лен, солому...

На самом высоком горбыле, подальше от деревни, чтобы не занесло ветром пыхучую пожаром искру на соломенные крыши, сооружали огромный костер.

Никита сделал свой охотничий вклад: пивную темнозеленую бутылку набил порохом и закупорил крепкой размоченной пробкой.

В центр костра поставили бочонок. В него вложили бутылку.

Весь дровяной хлам свели под высокую сахарную голову, запорошили ее соломой и закутали просмоленной паклей.

Взошла звезда над Заозерьем — низенькая моргунья, другая повыше — над Анфаловым, повыше и посветлее, и скоро небесный свод засеяли, как разноцветный луг.

— Пора зажигать! — нетерпеливо просил Вася.

— Сигналу нет, — шутил дедушка.

Пряхино позабыло о разнице в годах — жечь масленицу не пришли только те, кто или не мог ходить или был слеп от старости.

— А какой сигнал?

— Тьма.

Вася подождал.

— Вон, вон запылала! — ему же довелось закричать первому.

Где-то верст за пятнадцать, в Заозерьи вырвался словно из земли багряный клуб и встал столбом, как бы упираясь в нависшее облако. Большие и меньшие столбы поднимались и справа и слева.

— С широкой масленицей, почтенные старички и старушки, мужики бородатые, бабочки румяные, девки — лебедушки красные, и челедня озорова́я! — гаркнул Никита. — Ппых-перепых!

Никита побежал вприскочку вокруг кострины, плеща из ржавой ведерной жестянки керосином. И... поджег.

Пламя окропило окрестность и заиграло на возбужденных и радостных лицах зрителей. Пошел ор, растянули плясовую тальянки, огромный хоровод, точно тын вокруг древнего городища, охватил красный пожёг.

Топтались и пели до угольков. Сахарная голова оседала, словно подтаивала снизу, расползалась вширь. Все ждали действия пороховой бутылки.

— Никита, — подзуживали охотника, — порох-то у тебя не из дресвы?

— Из толокна! — огрызался Никита. — А шарахнет толок-

но, бороды на стороны закинет, башку в опрокидку, ножками взыграете!

— Э-хх, надувательство! Веры нет, как нет!

— При-и-дет! Фукнет! Посуя взаправдашной!

Бутылку разорвало при всеобщем гвалте. Обугленный, красный бочонок взнесло, как гигантскую пробку, вверх по прямой, и на высоте с него отпрянули лопнувшие обручи, похожие на разбитые колеса, а сам он рухнул золотой шипучей кашей. Костер разметало по горбылю.

Старая деревня скоро поплелась к дому. Молодятня и челядь в перегонки, с разбегу скакала через рассеянные горящие головни почти до потухания масленицы.

Вася насчитал в Заозерьи и по сю сторону сорок костров.

— — — — — — — — — — — — — — —

Бам, бам... — слушал мальчик великопостный звон. Поп Козьмодемьянский разблаговестился не на шутку.

На первой неделе мать повела Васю в церковь. Мальчик отнекивался, кривился у клироса, норовил выскочить на улицу, уставал от долгой и тягучей службы.

— Стой прямо, — шептала мать, — а то батюшка не простит грехов.

— У меня никаких грехов нет, — недовольно отвечал мальчик, — я не пью, не курю и с девками не играю.

— Наберется, — не уступала мать. — Дедушку, бабушку огорчаешь? Мельницу сжег?

Этого Вася не ожидал. Он думал, что все давно про мельницу забыли: так она за странником и осталась. Мать, однако, сказала про мельницу совсем миролюбиво, как уже о давно прошлом, походя, к слову. Вася только покраснел, почувствовал минутное раскаяние и решил не оспаривать неожиданный укор.

— Папу с мамой сердишь? — шептал любимый и добрый голос. — Говеть надо. На следующую зиму в школу пойдешь. — Мать улыбнулась. — Жениться будешь, батюшка не поставит под венец.

Вася довольно фыркнул. На него злыми глазами поглядели старухи.

— Сердятся, — шептал мальчик, — грехи себе прибавляют.

— Молчи, — хмурилась мать, — кто осуждает, тоже не без греха.

Мальчик торопился в Пряхино от скучной и не нужной ему обедни, порывался вперед бегом, мать удерживала.

— Из церкви говельщики ходят степенно, с молитвой, — обучала она сына, — наскачешься, успеешь потом. Как только не устанешь ветром носиться!

Никто мальчику не мог объяснить, почему поп Козьмодемьянский так редко и протяжно, по-великопостному звонил.

Непонятно было Васе, что значит „говеть" и почему он должен говеть.

— Как это так, — интересовался мальчик, — грехи прощать? Поп...

— Не поп, а батюшка, — поправляла мать.

— Ну, батюшка, — соглашался Вася, — такой же человек, старенький, как дедушка, — дедушке нельзя прощать, а попу... батюшке можно?

— На то он и священник, — втолковывала мать, — ему от бога дана власть.

— От бога? — совсем изумлялся мальчик. — А где он бога видал? Бог, поди, с пьяницами не ведет дружбу. Он с Никитой лучше подружится: Никита в рот не берет, никого не обижает и всех любит. А... батюшка у нас в петров день графин водки вылакал да дьячка таскал за космы. Помнишь, мама?

Говенье Васе надоело: оно мешало ему весело гулять, мальчика рано будили к утреням, он скучал за эфимонами, переиначив название вечерней службы в „лимоны".

— Ефимоны никто не понимает, — рассуждал мальчик, — а лимоны каждый знает. Так бы и прозвали. Кислое, желтое, пьют в чаю. Ей-ей, неподходящее прозвище.

Вася с растерянными чувствами накануне причащения по-

дошел к попу. Тот закрыл его шероховатым узеньким передником.

— Встань на колени, — шепнул недовольно поп. — Не могли тебя раньше научить родители?

Вася опустился на холодный пол.

— Рассказывай, чем грешен?

Мальчик смешался и решительно забыл все свои грехи. Помолчали исповедальщик и говельщик.

— Отпускаются, отпускаются, разрешаются... узы... узы... — услышал Вася бормотание попа.

Передник поплыл по воздуху, мальчик увидел снова минутно погасший свет. Вася встал. Поп сделал какое-то движение рукой. Мальчик решил, что с ним прощаются, протянул свою ручонку и пожал поповскую.

Уходя в глубь церкви, Вася с недоумением оглянулся: поп вслед ему сдержанно смеялся. Смеялась и мать, дожидавшаяся исповедального череда у задней стенки под большой, в раме, картиной „страшного суда“ мастера Подыминогина, писавшего папину вывеску. Картину эту папа и подарил в церковь.

— Батюшка тебя благословить хотел, — любовно упрекнула мать, — а ты, дурашка, с рукой тянешься. Ох, еще какой глупенький!

Вася, конечно, не прозевал, когда маму позвали к батюшке и тот спрятал ее под передник. Мальчик юркнул за двери и был таков!

— Готово! Отбоярились! С колокольни долой! — крикнул он поджидавшим его ребятам. — Погодите, не уходите. Я выскочил сказать. Вместе пойдем. Вот только мама святости наберется. Мама выйдет, мы от нее и учешем!

Причастье Вася хлебнул не без удовольствия.

— И чего это попы мало дают, — жаловался он Никите, — продавали бы по чайному стакану. Я серебряный гривенник на поповское блюдце положил за маленькую ложечку да теплотой запил — воду вином сторож Пашка разбавил. Вон

папа торгует пряниками. Вешает. А поп бы меркой отмеривал, как целовальник.

Никита любил подтрунивать над попами и всегда прятался от них во время очередных обходов деревни церковными людишками „со славой“ и „со сбором“. Принимала клир Маша-груздик и скупо платила за работу. Поп, зажмурясь, иногда обходил логовище Никиты и попадал к более податливому соседу.

— Эт ты славно понимаешь, Васютка, — одобрял Никита, — попу причастье ничего не стоит. Четверть вина купит... Это такое красное причастное вино... густое, сладкое. Старые просвирки остаются от праздников. Черствеют. В ковшик вина покрошит штучку-другую, воды подольет, — в кабаках тоже завсегда водку водой разбавляют, — глядишь — тюря. Из одной четверти вина да из одной квашни с просвирами поп выгонит деньжат... хватит ему на целое обзаведение в хозяйстве. Ох, попы знают свое дело тонко и аккуратно! Для чего, думаешь, теплотой причастье запивать? Чего запивать-то? Нечего. Не солоно и не жарко. А это, братеник ты мой, игрушка. Ты хлебнул причастья, шаг сделал, тебя и остановили: расплачивайся. Тут тебе и столик, и чашечка, и подносик кругленький с подстилкой. Неловко, когда монетки бренчат рядом со свя-тым делом! Того неловчей самому попу карман подставлять — руки-то у попа обе заняты!

Вася терпеть не мог великого поста. Постничали. Варили горох. Сущ — только по праздникам. Капуста. Соленые огурцы. Рыжики. На пасху копили сметану и творог. Курицы неслись тоже впрок до красной горки. У мальчика подводило живот. Не зря же Федор Степанович стоял на почетном, богоугодном месте за церковным ларем!

— Скуснее разговеешься. Потерпи, — оттоняла бабка Васю от дойника с пузырчатым теплым молоком.

Пробавлялся удачами. Случалось подхватить в горнице забытую крынку, наскоро выпить ее, холодную, с мелкими льдинками, вспучить барабаном брюхо до тяготы и сказать

на Ваську кота: наблудил. Скучное, голодное, переваливавшееся с ноги на ногу время!

Но один великий пост крепко и больно запомнился мальчику.

Дед, потеряв мельницу, пристрастился, как в молодости, к рыбалке.

Дед ушел удить на хо́лы в лунках. Подтаивало. А к вечеру разразилась метель.

— Бултыхнется отец сослепу в чужую дырку, — беспокоилась бабушка Аграфена, — мало ли пешнями навыковырено их по озеру... и был таков. Чего ему, лешему, не сидится в избе?! Туда же, будто какой настоящий промысленник, за добычей!

Бабка стояла сгорбившись у окошка в передней избе и напрасно напрягалась что-либо увидеть в белой чертовщине метели.

Мужики приволокли дедушку на двух связанных рыбацких чунках.

— Удар, — сказал Васька Гуляев, — ударом разбило. Быдто языка лишился. Мы это глядим-поглядываем издалека. Чтой-то больно хорошо деда удит... Раз, раз... Завидки взяли. Отошли счастье искать. Ничего. Метелица домой погнала. Тут его и подобрали. Надо быть, простыл. На льду лежал. Получайте лукошко. Фунтов тридцать ершей натаскал старик.

Бабушка причитала над молчаливо и бессмысленно лежавшим дедушкой на лавке. Вася ковырялся в лукошке с замерзшими ершами. Они так же, как деда, выпучили белые глаза и большерото и неподвижно застыли.

— Попа надо, — шепнула заглянувшая проведать Аграфену старуха-соседка, — неровно кончится без отходной.

— Н-не кончусь, — вдруг ясным голосом сказал дед, — тратиться зря. З-захолодал я... мне б перцовки стакан и... тяпушки!

Перцовки в доме не оказалось. Федор Степанович бесполез-

но бросился искать ее по деревне. Тяпушкой накормили больного.

— Смерть любит толокно с молочком! — радостно воскликнула бабушка Аграфена. — Оскоромился в великий пост, гляди! Да ничего, бог простит. Грех я на себя приму. Как не дать? Как не побаловать старика? Только б отошел! Отойдет. Речь открылась — поправится.

Тут Вася поверил, что дедушка выживет.

Дедушку перенесли на постель, завалили его шубами, затопили печь, чтоб к утру простывшего рыболова попарить на горячем поду и выгнать простуду.

В избе запахло летом: душистыми березовыми вениками. Дедушка даже разобрался во всех этих приготовлениях, улыбнулся и пошутил со стоявшим рядом с постелью Васей:

— З-запомни, мнука, пар да жар костей не ломит... П-печь — она... п-пользительная б-банька...

Ночью дедушка, хватаясь за сердце, крикнул:

— Бо... бо... бо...

Вася это уже слышал от рыдавшей над гробом бабушки.

На поминках хлебали уху из последнего дедушкина улова.

Вася жалел деда: он ему меньше всех мешал и досаждал.

— Загнулся, — мрачно сказал Никита, — все загнемся. Отшиби себе память об этом, мальчонка! Твое впереди!

Пасху, несмотря на смерть дедушки, встретили, как и в прошлом году: пили, ели, гуляли и грелись на солнышке.

— — — — — — — — — — — — — —

Вот они, вот они, дни ледохода — не за горами. Скотина пошла в поля. Зеленью глянул кладбищенский чернозем возле могилы дедушки. Суглинок, и тот пророс на буграх и нагорьях.

— Гуси! — цвел, сидя с поджатыми ногами на огороде, Никита. — Милости просим, гости дорогие!

Поздняя весна. Вася в первом ночном.

— Расскажи нам про Кулакова, — просят ребята.

И Вася рассказывает. И будто слушают любимые коняги, обступившие подрагивающий малым огнем костер.

Ночь остра́ прохладой. Слышно, как жуют кони. Плещется об отмели озеро. Ветер листает Горбылевский осинник. Туман ползет с низин, ноздреватый, густой, точно молочный хохол в дойнике.

— Шурка, посвисти, — просит Вася.

Шурка засовывает в рот два пальца, что-то делает с языком — и пронзительный свист, повторяемый эхом, вспугивает лошадей. Они мчатся вскачь. Земля гремит, гудит. Где-то откликаются на гром и гул и свист разбуженные птицы.

Ночное мечтательное приволье! Горят глаза, как ласковый теплый огонь костришка.

Но где-то могут в темноте итти конокрады с уздами, с заветными приговорами. Ребята попеременно шмыгают в ночи, с тревогой пересчитывают коней и подгоняют ближе к табуну шалых заброд, норовящих жевать в одиночку.

Вася пропадает надолго. О нем уже беспокоятся ребята и громко зовут его. Мальчик осторожно подкрадывается к своей кобыле, хватает ее за гриву, подводит к высокой кочке и, прискочив, забирается коню на спину.

— Конокрады! Конокрады! — взбалмошно орет он.

У костра начинается смятение. Оно увеличивается от приближающегося конского топота. Довольный своей проделкой, Вася дико гикает, бьет маленькими каблучонками налитые бока мещеринской кобылы, и она, плеща селезенкой, перескакивает через костер.

— А теперь, пегашка, иди жуй! Заработала! — говорит хозяйски Вася, спрыгнув на землю и лаская конскую морду со вздрагивающими от возбуждения ноздрями.

Ребята гурьбой бросаются на Васю, щекочут его, сминают и катают по земле. Визгливый ребячий клубок неутомим: так часами играют лохмачи-дворняжки.

Лето. Озеро. Чайки. Бури. Рыба. Звери и люди. Земля. Вася носит загар на лице. Солнце — золотой лудильщик. Теплы и нежны и хлебны ветра́. Все цветет, растет и зреет. Цветет, растет и зреет Вася. Месяц за месяцем движется

ровная, прекрасная жизнь. Все вокруг хорошо и лучезарно.

Вдруг среди зноя, в удушье от предгрозовых часов, откуда-то неведомо нанесет дрожащую, холодную струю и напомнит о зиме, о снеге, о санках. Но и тогда так по-летнему пахнет яблоками в лукошках бабушкина горница. Все кажется жизнь как новенькое колесо у телеги! Никита это подтверждает. Кто другой, а Никита не ошибется!

Федор Степанович не согласился и с сыном и с Никитой. Огромная долговая книга была исписана вдоль и поперек: писать стало негде и нельзя. Лавочник слишком тщеславно погнался за почетным местом церковного старосты, поновил весь закопченный от времени иконостас, кстати починили поповский церковный домишко в два широких, вместительных этажа, а в торговле удáл анфаловскому торгашу. Тот давно сидел в своем амбаре, накопил достаточно мошну, опутал мужиков крепко и верно, точно в узел их завязал, и ловко подставил ножку новичку.

— От ты прозаписываешь, — сказала Афанасья, когда сын охнул в первый раз. — Мужики у таких лавочников смерть любят брать. Должáются, должáются, да над тобой же и в пересмешки. Дȍбра, дȍбра душа, таких и обхаживают. Не по средствам живешь, Федя. Хоть и не мои, а жалко.

Федор Степанович вдруг, как отсек, перестал давать в долг. От соблазна и книгу под прилавок сунул. Лавка запустовала. Мужики обходили ее стороной, точно в ней не было нужного им товара. Лавочник зря сидел у дверей: одни бесплатные посетители — Вася и Шурка. У дверей стало сидеть стыдно: забрался поглубже.

Федор Степанович пошел по мужицким дворам требовать долги.

— Какие деньги, Федор Степанович! — как будто смущенно принимали мужики нежданого гостя. — С ног сбились, доставаючи на прокорм. Придется обождать. Што зима покажет. Может, объявится какая рыбешка. Осень по хлебу-то обманет. Недород, ты сам видишь. И так земли мало, и

та не родит. На одну рыбу надежа. Да и та не словлена. Должна, должна подойти к берегам с заморозками!.. Тоды — с нашим почтеньем. Как же, как же... платить...

Не в одном дворе Федору Степановичу приниженно и робко кланялись, совали в обеспеченье долга всякое тряпье, последний холст, снимали с подушек кружева. Мещерин брал и печеным и вареным.

В других избах прятались от лавочника.

Федор Степанович действовал через попа Козьмодемьянского, через волостное правление. Старшина Пегов — сам лавочник и прасол — поддерживал жалобщика.

Мужики-должники несли Мещерину нищий свой скарб, запродавали будущие рыбные уловы, будущие урожаи льна, овса, ржи и картошки.

Вот тут-то анфаловский торгаш и нажал: он развернул свою лавчонку в два разворота, навез в нее всякого товара, временно пошел на явный убыток, чтобы только добить пряхинского соперника, — и добил.

Вася заметил, как плакала мама тайно от отца и подолгу шепталась с бабушкой Аграфеной. Мальчик подслушал.

— Сбивай его кончать эту дурацкую лавчонку, — сердито советовала бабка, — без штанов на улицу выпустят. От мужиков отстал и к купцам не пристал. Где ему, необученному! Сноровки нет.

Вася был недоволен таким поворотом в своей судьбе.

— Папа, — прямо спросил он, — у нас скоро пряников не будет?

— Каких пряников? — удивился отец, не понимая.

— Бабушка и мама говорят — пора закрывать лавку, а то ты вовсе проторгуешься. А мужики смеются и говорят: „Скоро Мещерину банкрут“. Это какой банкрут?

Вася видел, как отец сильно покраснел, потом протянул руку... Дальше мальчик не видел, а чувствовал. Его заворотили вон из лавки, и горячий подзатыльник дал направление к дверям.

— Это вот и называется банкрут! — крикнул отец. — Понял?

В тот день Вася понял, что, как ни был расстроен папа, а все же несчастье его было меньше, чем у пряхинских мужиков.

Получив от отца шлепок, Вася выскочил на улицу, повертелся около крыльца и только тогда заметил в конце деревни, у прогона к озеру, большую толпу народа.

— Не ходи туда, сорванец! — приказала мама, высунувшись в окно. — Там без маленьких обойдутся.

Мальчика охватило любопытство. Вася привык всегда поступать наоборот, что бы ни говорили старшие. К тому же вдали он увидал спешившего к месту сходки Шурку.

Крадясь возле изб, чтобы скрыться из глаз мамы, Вася наконец добрался к прогону.

Среди толпы, рядом с легонькой таратайкой, стояли знакомые — урядник Федькин и старшина Пегов. Это были редкие гости в Пряхине. Вася сразу же решил, что поэтому с таким любопытством их и окружали деревенские.

Но бабы, мужики, молодые и старые, не разберешь ни одного слова, сердито кричали и совсем прижали урядника и старшину к таратайке. Так с гостями не обращаются. Старшина Пегов то-и-дело размахивал руками и старался унять крикунов. Урядник Федькин почему-то беспокойно поглядывал по сторонам и хмурился.

Вася понемногу освоился с шумом и стал разбираться в том, о чем вопили мужики. Васька Гуляев, Павел Хрящиков, Семен Головиков вместе с Марфой Вершининой наступали на приезжих.

— Семен Иванович,— колотя себя в грудь, резко, со слезами на глазах, укоряла Марфа старшину, — ты-то ведь должон знать, как мы живем! Не зря тебя в старшины ставили...

— А живем мы вот как, — перебил ее тоненьким, визгливым голосом Павел Хрящиков, — вокруг в клетке. От

Анфалова жмут нас земли потомочков Кожина, с Лесного — земля монастырская, а от чебоксарского болотишка — удельные леса. Что нам остается? Донышко от лукошка.

— Мы в самый хороший урожай, — с гневом закричал, расталкивая мужиков, Васька Гуляев, — хлеба собираем до нового года! Земли же от господ да от казны нам осталась одна варежка...

Кто-то из ребятишек оглушительно свистнул. Вася не отстал.

— Уймите, уймите свистунов! — приказал старшина бабам. — Это совсем не дело — мешать челяди сходке! Что такое за светопреставление! С кем говорите — должны понятие иметь! Ответствовать заставлю отцов и матерей!

Мужики и бабы цыкнули на ребят.

— Так сами и посудите, — продолжал, горячась, Васька Гуляев, — как же мужикам изворачиваться? Земли только растянуться, когда смерть придет. Да и с приработком утесненье. С третьего года ловить начали рыбу, а то десять годов был запрет. На большую дорогу, что ль, нам выходить с топорами?

— И выгонют рано или поздно, на свою голову! — вставил осторожно Никита Резвушкин, кроясь за Машу-груздика.

Вася засмеялся на слова Никиты. Мальчик гордился смелостью и находчивостью первого своего друга.

— Кто-о эт произнес такие слова? — важно спросил старшина, подымаясь на цыпочки и отыскивая смельчака в толпе.

— Ево тут нету, — пискнула какая-то баба. — Был, да сплыл. Ты, Семен Иванович, ослышался.

Толпа легонько засмеялась.

— Не мешайте же, дьяволы! — рассердился Васька Гуляев. — Дайте всё выложить и от себя и за всех. Эдак перебивать станете — одна путаница.

Народ унялся и смолк.

— Я и говорю, — покраснев и расстегнув ворот рубахи, го-

ворил Васька Гуляев: — земли горсть, рыбы всё мене и мене, промысла другого никакого — ни взад, ни вперед. В огороде живем. Хлопотали, хлопотали в Уделе нащот расчистки угодий, леса, сенокосов — восьмой год напрасно дожидаемся ответа.

— Зажали! Будто волчью облаву нам устроили! Флагов не хватат! — вставил Семен Головиков.

— Да што расчистка! — возопила с остервенением Марфа Вершинкина. — Лонись десяток камней на удельной земле мужики подобрали каменку сделать, пиво варили на праздник, так солдатов да объездчиков, да лесных сторожей с ружьями на деревню посылали. Ровно бунт вышел!

Пряхинские подняли многоголосый крик.

— Молчать! — возмутился урядник Федькин. — На самом деле бунт! Говори толком! Без глупостей всяких! Каменье ту не при чем! Зачем самовольную порубку в Уделе сделали? Об этом спрашиваем. И не своди нас на окольную дорогу!

Вася сразу вспомнил, как в последнюю неделю, едва темнело, мужики выезжали к чебоксарским болотам и рубили удельный лес. Ребята стерегли на горке и подавали сигналы свистом, когда видели в поле лесников. Мужики замирали и кончали рубку.

— До губернатора дошло, — услыхал Вася неспокойный и угрожающий голос старшины, — беззаконная порубка. Всякой понимает — лес краденой выходит у самого государя императора. За это по головке не погладят. И надобно лесу, а без спросу не бери. Вы эдак начнете, того гляди, пахать и земли чужие!

Вася долго и напряженно наблюдал, как спорили и горячились мужики, как плакали бабы, утирая фартуками глаза, как урядник и старшина постепенно строжали и грозили пряхинским тюрьмой.

— Зачинщики ответят, — раздельно сказал урядник. — А ежели не найдем зачинщиков, всю деревню засудим. Так и знайте!

Пряхинские не выдали. Вася с одобрением услыхал один общий возмущенный грохот:

— Все, все готовы к ответу!

Старшина и урядник поехали ни с чем. Мужики и бабы остались, шумя и волнуясь, у прогона, а челядь быстро перемигнулась, кинулась по задворкам к отводу и раньше гремящей таратайки успела туда.

Старшине и уряднику пришлось низко нагнуть головы. Ребята, прячась в высоком бурьяне, осыпали седоков комьями грязи и мелкой щебенки. Лошадь рванула и понесла таратайку. Вася пустил вдогонку крупным камнем и угодил в плетеную спинку.

— Вольница! Скоты! — донесся хриплый голос старшины Пегова.

Вася возбужденно прибежал домой. Он начал расска-зывать папе и маме, как обижают мужиков и старшина сказывать папе и маме, как обижают мужиков и старшина и урядник.

— Я ка-ак ахнул сзади! — показал мальчик свое умение швырять камнями. — Жалко, низко взял, а то бы прямо в голову Федькину али Пегову и...

Вася с удивлением заметил, что папа резко вскочил с места. Мальчик не успел пошевелиться, как папа быстро расстегнул ремень на брюхе и, схватив Васю за шиворот, ударил его вдоль спины.

— Мерзавец! — завопил папа. — Вот тебе! Вот тебе! Скоро мужиков будут драть за дело, а до мужиков — тебе порция горячих!

Вася долго плакал после порки, забравшись в угол задней избы, к бабушке Аграфене.

— Нишкни! — требовала бабушка. — Отец тебя добру учит. Разве мыслимо в начальство кидаться! Да они нас со свету сживут из-за тебя. О! Они такие, батюшка, высокие, до них рукой не достать. Они закон блюдут. Наши деревенские — воры и мошенники. Они казенный лес уворовали,

а ты за воров заступаешься. Ты б тоды был парень хороший да с понятием, когда б за начальство стоял да с худыми людьми не знался.

В этот вечер папа, расстроенный и своими делами и поступком Васи, кричал на маму и бабушку. Они сначала плакали. Пришло время спать. Папа продолжал шуметь. Он остался в избе, а мама ночевала у бабушки.

— Банкрут, — шептал Вася Шурке, — надо запасти пряников и леденцов.

Братья разыскали старое, бросовое лукошко в горнице, спрятали его на чердак и принялись старательно натаскивать в него сладости. Через день они уже не поделили запасов.

— Ты берешь больше, дрянь,—зашумел Шурка, — я горсть, а ты две.

— Так у меня горсть маленькая, — в свою очередь не доверял брату Вася.

Условились по одиночке к лукошку не ходить и делить все поровну, счетом. Но ни разу и не поделили. Зачем-то понесло на чердак отца. Он пришел в такую ярость, в какой Вася никогда не видал его.

Отец швырнул заветное лукошко на пол, в бешенстве растоптал краденые гостинцы, а потом мама, плача, скоблила косарем подошвы отцовских сапог. Сладкое упорно приставало к полу. Тогда, бранясь, папа разулся, вычистил подошвы бритвой, сняв целую пленку кожи.

Всю вину Шурка свалил на Васю, но выдрали обоих.

— Пять сотен всего осталось у папы, — таинственно шепнул Вася брату, когда их после порки отец запер в горнице и приказал сидеть здесь до тех пор, пока он не придет за ними, — папа ночью сказал маме. Я не спал и слышал.

Братья сидели долго в столь приятной осенью и по зимам бабушкиной горнице. Теперь она была пуста. В ней пахло совсем несъедобными ситцами и махоркой: табаком от моли засыпали на лето зимнюю одежду.

Братья боролись, тянулись на пальцах, поднимали друг друга корчажкой, играли в стречки и в носки, несколько раз дрались и мирились, попеременно и вместе плакали. Наконец они проголодались.

Вася подошел к двери и стал прислушиваться. Стучать он не смел. Дом как вымер.

— Из-за тебя, из-за сволочи, — резко сказал Шурка, — это ты догадался обворовать папину лавку.

Вася не оправдывался и стоял на посту. Внезапно в голове мальчика мелькнула сумасбродная мысль, в которую он крепко и боязливо поверил.

— Знаешь, — прошептал он загадочно, — папа разорился. Никита говорил, что когда люди разоряются, они жгут дома. Не хочет ли папа сжечь дедушкину избу и амбар? Все вышли на улицу... Ночью и подожгут. А нас забыли. И мы сгорим.

Шурка задумался и вдруг засмеялся.

— Ну, теперь я тебя ославлю на всю деревню, — довольно сказал он, — всем ребятам расскажу, как ты струсил и в штаны напустил. Дурак ты! Как же мы сгорим? А на что окошки? По стеклу раз — и выскочим.

Вася обрадовался находчивости брата и тотчас же предложил устроить побег. Шурка, однако, отказался. Тогда возмущенно крикнул Вася:

— Не я, а ты трус! И хочется — и колется. А я... хоть сейчас по стеклу ударю!

Часа через три, когда ребятишки, хныкая, оба прижались к двери, осторожно скребли ее ноготками и подавали о себе сигналы, они, затаившись, услыхали быстрое приближение к горнице мамы. Щелкнул замок. Мать поспешно сунула вчерашний пирог и крынку молока.

— Папа еще сердится, — вполслуха скороговоркой сказала мама, — сидите смирно, пока он вас не позовет сам. Тише... Идет...

Ключ повернулся. Мать бегом пересекла скрипучий двор.

Близко к полночи, в одном белье, босой, со свечкой в руках, отец широко растворил дверь и недовольно приказал:

— Спать, олухи!

Братья, вбирая головы в плечи, тихохонько прошли мимо отца.

— Завтра с утра обратно в темницу, — напутствовал папа, — я вас до осени продержу взаперти. Я вас отучу воровать, мерзавцы! Воровать и прятать краденое! У-у-у, скоты безрогие! Хорошенького добра я наплодил!

Плен продолжался три дня.

— Мы не будем! — выл Вася, когда после утреннего чая хмурый и неразговорчивый отец вставал и безнадежно произносил:

— Пойдемте, я вас запру.

— Мы не будем! — вторил Шурка.

— Цыц! — кричал папа. — Поздно! Сначала наделали, а потом каяться? Не верю. Я, думаете, не знаю, как вы без меня забирались в лавку и раньше?! Таскали у отца последнее. Не пищать! Запорю! Голодом заморю! Молчок, молчок!

Братья захлебывались слезами и старались сдержаться. Вася искал выхода.

— Не с того боку подходим, — говорил он Шурке, загораясь злобой, — сам деньги прожил, а на нас кидается зверем. Давай шарнем по окнам да заорем на всю деревню: „Спасите, спасите!“ Народ сбежится, а мы пожалуемся: гноит в тюрьме, не хотим жить с папой. Ему сделается стыдно, и нас отпустят на улицу. Шурка, уйдем, в отместку, к Никите: он нас, право, возьмет. Будем с Машей-груздиком да с Никитой овин сушить, молотить — и вообще сделаемся ихними детьми.

Шурка пренебрежительно насмехался:

— Поди ты к чорту, дурова голова! Так тебе папа деревенских и послушается. Они его обобрали, а он и постыдится мужиков... Папа мужикам враг. А мужики и того больше враги папе. Они, наверное, и нас-то из-за папы за глаза ругают.

На четвертый день отец отвел пленников и запер их особенно сердито. Но скоро они услышали под окнами горницы отцовскую возню с лошадью, скрип телеги...

— В город собирается, — радостно пролепетал Вася и заходил гоголем вокруг недоверчивого Шурки.

Скоро до ушей братьев, однако, донесся наказ отца маме:

— Ты этих воришек без меня не балуй и не выпускай. Я, смотри, за дело наказываю. Жалеть за такую подлость нечего.

Мама сразу же ответила:

— Что я, по-твоему, потаковщица воровству?

Ребята прилипли к окну. Отец сумрачно проехал к отводу. Вон он поднялся к бывшим мельницам. Вон он заворотил к поповскому дому на горе и свернул на большак. Мать стояла у палисадника и вместе с сыновьями наблюдала за движением подводы.

— Далеко не убегайте, — притворно грозно сказала мама. — Неровно отец воротится, где я вас найду? Мне из-за вас сымет голову!

Вася уже сломя голову мчался по улице. Шурка едва настигал его.

— Совсем бы не ворочался! — мечтательно, в обиде, бормотал мальчик.

А возвращение отца так и не уследили. Он прибыл раньше рассчитанного времени, бросил телегу у крыльца и торопливо вошел в избу.

Но отец совсем не был сердит. Наоборот, он засмеялся при виде сидящих ребятишек за столом за веселой карточной игрой в „Акульки“ с бабушкой и мамой.

— Я так и знал, — проговорил папа. — Без меня раздолье. Не будь на дворе дождя, непутевые ча́да гуляли бы за тридевять земель, как ни в чем не бывало, а мать за околицу глядела бы — не видать ли отцовской телеги!

Вывеску с мелочной лавки Федор Степанович снял ночью, чтобы никто не видел его хлопот над нею.

— Каюк пряникам, — с жалобой пробурчал Вася брату. — Не свои — сколько хочешь бери, а когда-когда попользуемся покупными.

Федора Степановича выручило село Верховажье. Там жили кабатчики и маслоделы купцы Шевелюхины. По дороге в город стояло это торговое шумное село. У Шевелюхиных Федор Степанович закупал для лавки.

В этот приезд, будучи наслышан стороной о купеческих поисках служащих, Федор Степанович явился искать места. И сразу сладили. Мещерин внес половину всех своих денежных остатков в залог Шевелюхиным, и его взяли.

За сорок верст от Пряхина по Кирилловскому тракту возле древнего монастыря стоял шевелюхинский кабак.

Вася конем примчался к Никите и с порога еще закричал неизменному другу:

— Никита Митрич, а мы из Пряхина уезжаем! В Рябинки. В какие-то Рябинки.

— Знаем, знаем, — печально почему-то ответил Никита.

— Там папа будет целовальником, — возбужденно рассказывал мальчик, наслушавшись разговоров отца с матерью, — там монахи, торговые ряды, ярмарки — Петровская, Благовещенская и Крестовоздвиженская, там только два торговца живут, а остальные проезжие. А колокол в монастыре густой-густой: за двенадцать верст слышно. Папа свиней заведет, огород, корову и собаку — стеречь кабак.

Мальчика увлекал предстоящий переезд: и Пряхино жалко, и на новое место хочется...

— Так гостем твоим, Вася, будем, — нежно провожал мальчика Никита, — беспременно на конскую ярмарку буду. Коня мне не надо, а за порохом и за дробью кажинный год ездию. Нас там много, охотников, собирается!

Тут для Васи Рябинки стали как будто совсем знакомыми: так это туда, за мельницы и за поповский дом, нагрузив телегу товаром, ездил в прошлую осень отец, он где-то пропадал неделю, и Никиты тоже не было видно.

РЯБИНКИ

После раскаленного июльского дня, когда словно каждый камень был вынут из банной каменки, сохла и свертывалась на нем змейкой случайно занесенная ветром травинка, жар пылал над землей неугасимым солнечным пожаром, — вдруг неведомо откуда прорвалась тончайшая и легчайшая и краткая, как вздох, холодная струя. И сразу взметнулись и закричали галки над монастырем, до того изнеможенно прятавшиеся в садах и под всяким прикрытием колокольни: в замках сквозных пролетов, под карнизами. Одна неосторожная птица задела нерассчитанным крылом за веревку от повсесочного колокола, и он несвоевременно и неположенно бамкнул. Как будто был дан знак о наступающей перемене.

Вася и Шурка, еще несмело заглядывавшие в огромные монастырские ворота, саженях в ста от кабака, тоже заметили предостерегающий знак: отец махал рукой.

— Домой загребает, — недовольно сказал Вася, — рука — как весло.

Федор Степанович показал на небо. Там мгновенно появилась просвечивающая сквозь палящее солнце муть. Она быстро росла.

— Квашня всходит, чорт!.. — с раздражением пробурчал Вася. — Только приехали, дождь лезет... Сиди взаперти. Скоро, по-твоему, Шурка, ее пронесет?

Брат уже послушно бежал на отцовский зов. Вася с неприязнью посмотрел ему вслед, не пожелал догонять, а пошел медленно, нога за ногу, криулинами: то ненужно сорвет подорожник и бросит, то поднимет камешек и швырнет в воробья, а то и просто так в деревянную мету, в ярмарочные ряды, пусто и глухо тянувшиеся, отступя от большака, длинным строем заколоченных лавок. Федор Степанович энергично понукал его, делая частые движения пальцами.

Собиралась гроза.

Мещерины разложились со своим скарбом в новом жилье. Спертый воздух душил в низенькой одноокопной комнатушке, соединенной стеклянными дверями с обширным многосветным кабаком.

Марьюшка навешивала на окно белую, с кружевными выемочками, занавеску.

Федор Степанович, точно весь связанный от возни с домашними вещами, потный и усталый, однако в непременном пиджаке, стоял под кабацким входным навесом.

Марьюшка попробовала раздвинуть и задернуть занавеску: все в порядке. Но она слишком поспешно вытолкнула створки.

— Мать, брось! Отдохни! — только успел произнести муж, как первым грозовым вихорьком подхватило створки и с силой захлопнуло их. Окно наполовину рассыпалось старой, зеленоватого стекла, крошкой.

Федор Степанович, как бывало всегда при всякой неаккуратности жены, должен был поднять руготню. Марьюшка не успела испугаться.

— К счастью, матка! — весело крикнул муж. — Бой посуды в первый день! Примета проверенная. Жить нам тут в свое удовольствие.

Вася и Шурка поспели во-время. Топчась на стекле под окном, они старательно помогали матери прикрывать створки.

— Рвите, рвите сапоги больше! — недовольная собой, бормотала мать. — Мало одного изъяна, другой готовите. Не скачите на стекле: прорежете кожу!

Ветреный рывок повторился. Прямо с широкого поля, открытого глазам, упиравшимся в огромное похмуревшее озеро, закручивая в винты с причудливой нарезкой пыль, сено, коленца соломы, понесло животворящей прохладой.

— Скоро будет гроза, — тревожно промолвил Федор Степанович. — Тяга. Заткни дыру чем-нибудь. Молния не ударила бы! Справим тогда новоселье. На пепелище останемся. Прямо на нас наваливается туча.

Где же светлый и сверкающий, как начищенные медные латы, день, — день нескончаемого мира и покоя, млеющий сонного загара? Озерная темносиняя густая хмурь сравнялась с небом, и по нему беспорядочно пошли клубами, точно валы в бурю, суматошливые облака. Тусклота и вечер стали над Рябинками.

Небесный бой не замедлил. Рвало в одном конце, рвало в другом, малиновые искры сыпались вокруг монастырских крестов и над флюгерами высоких угловых башен ограды. Земля вся сотрясалась, словно она становилась гигантским непрочным дрожащим зыбуном, колеблемым скачущей конницей. Полнеба вспыхивало от безудержных взрывов. Неохватное пушистое разноцветное опахало вдруг показывалось на миг, и где-то по краям туч трепетали острые багровые его крылья.

По деревенской привычке выходить на улицу во время страшных гроз, — в строении оставаться считалось опасным, — вся мещеринская семья сгрудилась на крыльце возле Федора Степановича. Мама ёжилась в шали и, как курица, закрывающая цыплят крыльями, прижала к себе Васю и двух поменьше его сестренок. Шурка завистливо терся около материнского плеча и для чего-то держался за кромку шали. Отец стоял отдельно.

— Свят, свят, свят! — твердила испуганно мама и беспомощно шевелила руками, которые у нее были заняты прикрывающей детей шалью.

Крестился Федор Степанович.

— Свят, свят, свят! — шептал Вася, вслушиваясь в свистящее повторение одних и тех же звуков, отдаленно напоминавших ему цоканье конских копыт по мокрой дороге.

Мальчику было не по себе от страха, но одновременно он не прочь был и позабавиться над расстроенными родителями.

— Когда говорят „свят“, — вполголоса спрашивал он у мамы, — то приключиться ничего не может? Это заговор от чертей?

Мать предупреждающе толкнула сына локтем.

— Будет повесничать и болтать! — крикнул, рассердясь, отец. — Вечно глупости! Швырни его, мать, на дорогу. Пускай его подхватит ветер. Налепечет беду, пустомеля! Не кривись! Стой прямо!

Федор Степанович бегло взглянул на свою семью, покрытую одной жениной шалью; под нее присев, приспособился и юркнул тогда уже и Шурка.

— Чего, Марьюшка, собрала их в груду? — беспокойно сказал папа. — Надо пореже стоять.

Мама не согласилась:

— Они жмутся... как же так... Все равно.

Вася осудил отца и не удержался:

— Это для того, папа, чтобы не всех убило молнией? Чтобы мы или мама остались?

— Ах!.. — раздраженно прошипел отец. Но он не успел продолжить фразу.

Невероятной силы удар с треском и вереском обрушился на головы, словно за ним должен был последовать обвал облаков и всего тяжело нависнувшего, зловещего неба, со всем его непонятным и таинственным устройством. Сестренки заплакали, Вася уткнулся в живот к маме, после того как отец явственно дрогнул и даже пошатнулся, а мама, забыв о сползающей с плеч шали, жадно и крепко старалась охватить цепляющими руками четверых детей.

— Плотину открыло! — восторженно и облегченно воскликнул отец. — О, как захлестал!

Хлынул непроницаемой теплой струей звонкий и светлый ливень.

— Пузыри, пузыри! — оправившись, засмеялся Вася. — Пузыри плывут по дороге. Пройдет — и дождя не будет. Скоро. Совсем скоро!

Опомнился и Шурка.

— Да-а, пузыри! Смотри, воду в канаве поперло, вся в пиявках, носики кверху. Это к ненастью.

В самый проливной дождь, когда стена шумящей и плещущей вокруг воды была действительно плотна и густа, как вал, хлынувший в открытые ворота плотины, где-то рядом произошло нечто странное и неожиданное. В шуме ливня зазвенели чистейшего звука колокольцы, потом как будто с высоты уронили бубен с погремушками, он разливанно шаркнул по дороге, вскочил на ребрышко и покатился. Васе показалось, что прямо из озера, будто опрокинутого на дыбы, вырвалась к кабаку мокрая, прилизанная, захлестанная тройка.

— Рябинки! — гаркнул ямщик и осадил смаху лошадей, ноги у них разъезжались на жидкой глине; он свернулся с облучка, схватил за удила коренного и подвел тройку к крыльцу.

На головах пяти седоков, — Васе хотелось засмеяться, — как столешница на ножках у стола, лежал небольшой кожаный раскисший передник. Седоки опрометью выскочили из-под него. Под навесом стало тесно.

— Кабак закрыт? — спросил молодой, в мятой, промоченной, скорее скомканной шляпе.

— Со вчерашнего дня, — ответил Федор Степанович. — Учет. Я принимаю.

— Новый целовальник, — пояснил ямщик.

— А мы земские статистики, — продолжил молодой. — Промокли. Нам водки нужно. Едем в Горицы на обследование.

Вася подумал, что шляпа на молодом была как жеваная, в ямочках стояла вода, протекала на лицо и капала на

землю, когда он неосторожно повертывал голову. Остальные уже сняли кепки и картузы и отряхивали их.

— Не имею права. Время позднее, — не соглашался отец. — Начну завтра с утра.

Просить начали все наперебой, заигрывали с ребятами, улыбались маме.

— Сделай почин, — предложил ямщик, — у нас рука легкая. Пить у тебя не перепить нашему брату, ездючи по тракту! Уважь господ студентов! Право, застыли. Гляди, руки ровно грабли. Такими немного напишешь бумажек! Молодцы все хорошие. Мы никому не разблаговестим: кабак-де нам, и нельзя, да открывали...

Лошади понуро мокли в ливне, жались друг к дружке, соединили морды вместе и, шевеля губами, грызли удила. Вася из-за столба доставал до конских челок и попеременно гладил по мокрым лбам коней. Они не безразлично принимали эту ласку, порой весьма недовольно мотая головами.

— Э-эх, вычистило, выгладило! — взвизгивал ямщик, шмыгая зорким глазом по тройке. — Ровно из кишки поливало. Щеткой так не смастеришь. Всё на месте. Только брюхо да поясница остужены... Будь же ты посговорчивей, дорогой хозяин целовальничек! Ей-ей, мы тебе за год бочку сорокаведерную выпьем. Не отталкивай выгодного покупателя! Мужик в праздник пьет, а мы завсегда. Сосчитай, сколько в году праздников и сколько будней. Милай, неуступчивой, пожалей!

Ямщик добился своего. Ливень начал давиться, перебиваться, утихать. Водяная стена поредела, отодвинулась от кабака в поле, по бороздам дороги ленивее потекла мутная вода. Гром свалился в даль и урчал где-то в Заозерьи. Там же, погасая в силе вспышек, освечивало. Скоро глянул в туманной сети мелкого дождя озерный клин, раздвинулся, и выкатилось синей пашней все Кубинское. Из дырявых облаков пошел, надолго было закрытый для глаз, свет.

Статистики с ямщиком пробрались в кабак и на́скоро, при

свете сальной свечи, стоявшей на прилавке, при плотно закрытых дверях и оконных ставнях, пили водку.

— Солнышко, солнышко! — крикнул Вася, бродя с Шуркой по лужам возле кабака. — Кто-о прав? Ты или я? Дождь короткий, и опять вёдро.

Точно обмытое от денного пота, труженическое солнце еще раз сегодня показалось на закате. Земля заблестела, засмеялась, поля вздохнули, и теплый пар их дыхания начал, подгорая в закате, низко и плавко куриться.

У монастырских ворот лавочка. До угловой башни в стене прорублены окна: одноэтажное монашеское жилье. Вася успел разведать: живут тут сапожники, какой-то старец Нафанаил, а в башне — лохматый, в рваном подряснике, подхваченном широченным ремнем, садовник Обросов Нил.

Закат искоса обжег скамейку и размазал кровь по окнам. Один заблудший луч пронзил кованную в форме закрытого фонаря лампаду перед надвратной иконой в киоте и как будто вздул погасший от ливня фитиль. Золотая лампада, словно пудовая гиря, медленно покачивалась на цепях. Открылись окна у сапожников и у Нила. Оттуда высунулись люди. Потом они оказались на скамейке. Вася дернул Шурку за рукав:

— Стрельнем туда! Папа водку продает. Мама самовар ставит. Интересно с монахами посидеть. Гляди, они сюда показывают! Подойдем и спросим: когда ворота запирают? И разговоримся. Им, поди, тоже хочется узнать, кто мы такие да откуда приехали? Папа говорит — все монахи пьяницы. Ровно тут и кабак-то купцы Шевелюхины для монастырских поставили!

К воротам Шурка, оглядываясь, пошел, но насмешливо оспорил брата:

— Знаешь ты! Кабак на всю округу, а главное для ярмарок. И для большой дороги: и пеший и конный глушит водку. Ярмарка без кабака — не ярмарка.

— Приворачивай-ка сюда, младые целовальнички, — не дал

спросить ребятам о запоре ворот лохмач Нил, едва Вася и Шура сравнялись с лавочкой. — Малость познакомимся.

Монахи потеснились.

— Ягоды любите? — неожиданно в упор спросил Нил.

Вася подумал, что садовник хотел их угостить ягодами.

Мальчик с большой приязнью глянул на неуклюжую, косолапую тушу садовника, занявшего почти полскамейки.

— А яблоки?

Соседи Нила игриво усмехались.

— Так вот, щенята, — совсем недоброжелательно и угрожающе продолжил Нил, — было бы вам известно, ежели вы по монастырским садам начнете лазить да воровать ягоды, да околачивать яблони, я вас смертным боем. Мне велено воров увечить. Я посохом по головам луплю...

Ребята почувствовали страх и неловкость от сиденья среди новых знакомых.

— Отец Нил, — сказал седобородый старик с оттопыренным рыхлым животом, натянувшим подрясник, — а я заступлюсь за целовальничков. Видать, ребятки благонравные. Сами не возьмут. В случае чего водочки приволокут склянницу за фрукты. Отец у вас сердитый али добрый?

Вася начал осваиваться.

— Когда как.

— Сам-то пьет? Али только торгует?

— Бывает — выпивает. Завтра опочинивается в торговле.

— Как завтра? А тройка-то без седоков чего стоит у кабака?

Вася припомнил весь разговор отца со статистиками и хотел скрыть незаконную продажу водки.

— Нет, ты что-то, малец, говоришь не то, не то, не то, — твердил старик, — знакомство начинается со вранья. Раз седоки в кабаке, значит они пьют. В кабаке больше делать нечего.

— Они закусывают и сушатся, — поправился Вася.

Монахи недоверчиво засмеялись.

— Ну, так, так, — говорили попеременно отец Нил, старик и двое сапожников — Петр и Павел, как узнал Вася из обращения к ним садовника, — значит новоселы к нам приехали. Хорош грош, да и полушка чего-нибудь стоит!

После того как монахи выпытали от ребятишек всю подноготную, Вася наконец спросил:

— Вы каждый день на скамейке сидите?

Монахи почему-то опять засмеялись.

— С утра до ночи, — ответил старик-пузан, — вишь, я раздобрел, — все сижу да сижу да брюхо ращу. Только нам и дела. А тебе, видно, на скамейке с нами сидеть понравилось?

— Да.

— Милости просим. Покуда не запрут ворота, мы как приросли к скамейке.

— А скоро ворота запрут?

— Скоро.

— А рано их отпирают?

— Да, пораньше кабака. Тебе сон всласть, а нам пора на ноги.

— Вы в церковь служить ходите?

— Служить не служить, а ходим.

— И вам не надоедает?

— Э-эх ты, расспроса! — пощекотал старик Васю при общем одобрении. — Тебе кушать не надоедает? Не-ет! А вот нам так надоедает!

Кто-то начал возиться у ворот. Они заскрипели, загрохотали, лязгнул железный запор. Привратник с ключами выглянул из калитки и смешливо провозгласил:

— Отцы святые, седуны мирские, а не пора ль вам в опочивальни, по грешным кельям! Поднимите натруженные телеса и поволоките их за каменную ограду!

Монахи поднялись и простились с ребятами за руку. Руки не подал только отец Нил.

— Степка, — пошутил отец Нафанаил с привратником, —

а мы без тебя двоих мальчиков сделали. Беспорочное зачатие. Гляди, в сапожках и порточках. Обрядили из пуповины.

Отец Нил, пролезая в калитку, погрозил ребятам пальцем и выкрикнул:

— Запомните мои слова: не видать вам монастырских ягод и яблоков! Убью!

Вася и Шурка довольно понеслись домой.

Засыпая в мезонинной светелке, куда поместил Федор Степанович мальчиков, Вася невнятно сказал:

— Не зря, Шурка, отец Нил про ягоды и про яблоки монастырские наказывал. Должно быть, у них особенные. Надо отведать. Завтра выглядим лазы и в ягодники. Яблоки еще не поспели. Одни кислые падунцы. Яблоки потом, попозже. Отец Нил — увалень. Ему нас не догнать. А на скамейку можно и не ходить. Чорт с ней! Тут Нил может схватить. Скамейка и у папы на глазах...

Жизнь в кабаке началась с легкой руки троечников совсем не похожая на пряхинскую. Чем становилось темнее, тем чаще толкались в запертые кабацкие двери посетители, барабанили в окно, кричали не своими голосами. Вася несколько раз просыпался.

Рукодельница мама позаботилась о прохладном детском спанье. В оба окошка мезонинной светелки — туда не забраться ворам без лестницы — она вставила кисейные сетки, натянутые на деревянные легонькие подрамники. Светелку приятно продувало. По ту сторону сетки пищали ночные комары, летала всякая мошкара, обсыпала белое и не могла проникнуть внутрь. Но зато Вася слышал все голоса, словно они шли из-под кровати.

Какой-то человек недовольно жаловался:

— Эй, целовальник! Очкнись! Мыслимое ли дело, вторые сутки кабак на запоре? Мне водка от пореза нужна. У меня баба на жнитво ходила да серпом ногу поранила. Будь милостив! Я с задку буди зайду! Возьми втридорога, только дай четверть!

Приходили мужики под разными предлогами. Люди сначала шептали, потом говорили громче и наконец, в отчаянии от неуступчивости папы, шумели и даже грозили ему.

— Ты с ума сошел, — сонным, охрипшим голосом упрекал отец, — в чужую квартиру лезешь. Ветошь в битое стекло вставлена, думаешь, для того, чтоб легче тебе было людей будить? Заткни дыру, а то вот я выйду — и тогда по-другому разговор поведем.

Вася с любопытством приподнимался на локте и старался через сетку заглянуть сверху. Выставлять подрамник — много возни, застучишь, папа поймет и, пожалуй, в наказанье заставит спать с собой, внизу. Пришлось в уголку немного прорвать сетку, как раз только для одного глаза, и пальцем можно держать кисейный лохмоток.

Мужик вертел в пятерне ватный кус старого стеганого одеяла, затягивал исполнение требования отца и не затыкал дыру, а виновато и жалко просил:

— Долго ль тебе два шага в кабак сделать? Ná вот деньги. И сунь мне бутылку в прорешку. Ровно нарочно она соблазняет. Прости, друг, что я тебя, может, от супруги оторвал, а уж такая у меня приключилась срочность. Кум из-за тридевять земель с военной службы прибыл, блины печем, яишню жарим. Водки не хватат. И нехорошо ночью баловаться, а деньком хозяйство всего берет, некогда, люди осудят.

Вася видел, как папа просовывал в выбитое стекло белую руку.

— Давай тряпку!

Мужик неохотно уступал ее.

— Не уйду! — настаивал он.

— Стой, сколько влезет! — сердился отец. — Отгоняй от кабака комаров. Пускай они у тебя в бороде, у дурака, гнездо вьют.

— Сам не усну и тебе спать не дам. Умолю! — не уступал проситель. — Разе мыслимо постоянного покупателя не уважить. Ты, брат, новенький. Не знаешь. Прежний кабатчик

с народом жил в ладу. В полночь и за-полночь отпушшал. И не надбавлял за ночную продажу. Давай скорее... как тебя по имени и по батюшке величают... прости... не узнан ты покедова...

— Федя, — вслушался Вася в материнский из глушины голос, — отвяжись. Сон, дьявол, прогонит, так до утра и провертимся. Видишь, неотвязная клянчилка!

Все затихло. Мужик с опущенной головой так замер на месте, точно боялся пошевелиться. В приготовленной руке он держал медяки.

— Давай деньги, — вдруг сказал отец, — в первый и в последний раз отпускаю. Так и деревенским скажи. Я за день тоже намаялся. Сон у меня не продажный. Ходите во-время. Часы знаешь.

Опять молчание. Мужик нетерпеливо глотал слюну и усмехался в одиночестве. Васе так и хотелось крикнуть во все горло и предупредить папу не отпускать мужику водку. Настойчивый человек явно насмехался над отцом: подмигивал на разбитое окошко и молчаливо с издевкой скалил зубы.

— Получай! — грубо сунул бутылку папа, и водка забулькала в посуде.

Вася поймал недоверчивый взгляд мужика, осторожно и жадно схватившего обеими руками бутылку.

— Т-так... и за печатью? — с большим удивлением вырвалось у мужика, и он быстро ощупал красную головку горлышка. — Благодарим покорно! Х-хороший человек!

Утром Вася спросил у мамы:

— Почему мужик хвалил папу за целую головку у бутылки?

Мама засмеялась.

— Мужик думал, что папа ему воды подольет в бутылку. Не целую даст, а нацедит меркой.

— Это из-за темноты?

— Ну да. Ночью никто не видит. Мужик на улице. Делай, что хочешь.

Вася с гордостью рассказал на монастырской скамейке

старцу Нафанаилу о поступке отца. Толстяк, однако, проявил неожиданное равнодушие:

— Это он, парнишка, с непривычки. Для начала торговли. Да и где тут в одних штанах да в рубахе да в ночную пору возиться! Подрастешь ты — тебя же заставит воду ему носить. Ведрами будете разбавлять бочки.

Вася неловко отодвинулся от Нафанаила и покраснел, точно мальчика поймали в воровстве.

— Я твоего отца не хулю, — всмотревшись в Васю, сказал старец. — Все кабатчики водой торгуют вперемежку с водкой. Спасибо скажешь, ежели водки больше. Другой не рассчитает, да и пересолит. Ровно бы от стакана сивухой пахнет, а на языке горечи нимало. Ты пробовал водку?

Вася в нерешительности раздумывал — сказать или не сказать.

— Пробовал,—тихонько и трудно шепнул он.— Я капельку после папы из рюмки допил.

Старец Нафанаил с довольным лицом одобрил мальчика:

— Молодец. Не соврал. Знаешь настоящий вкус. Себе-то отец твой воды не станет лить.

После этого разговора вскоре под вечерок около кабака остановились три подводы с сорокаведерными бочками. Двери кабака на два раствора широко распахнулись. Вася держал одно полотнище, Шурка — другое. Возчики и папа с мамой долго и осторожно вкатывали бочки по широкому толстому настилу из трех сколоченных вместе досок. Дроги стояли у самого крыльца. Бочки, скрипя обручами, тяжело давя пол, едва влезли в кабак. Одна сочилась. Папа осмотрел течь, ковырнул ногтем промокшее место, посмотрел на смирно притихших возчиков и начал их ругать:

— Вы что же, сволочи, больно дыру большую провертели?

— Где? Что ты, запарился? — нахально закричали мужики. — Мы за разбитую бочку отвечаем, а за деревянный изъян пускай хозяин ответит. Мы возчики, а не бондари. Какую дадут, такую и везем, хоть бы вся она вытекла.

Отец наклонился над течью и тем же недовольным голосом сказал:

— И украсть не сумели, как следовало. Вон и соломинка торчит в дырке. Это что? Не усик? Не трубочка соломинки?

Папа раздраженно совал попеременно каждому возчику под нос шелушинку от соломы.

— Принимай полной мерой! — кричали мужики. — Двадцать годов возим, такой напраслины не слыхали. Чудак-рыбак, сразу новичка видать в сурьезном деле. Качни любую бочку, живо поймешь — целая али ополовиненная.

Возчики принялись трясти бочки и катать их по полу.

— Чуешь? Не плеснет. Водка до втулки. Отпей мы, она бы заходила по кругу, ровно широкие штаны обвиваются вокруг тонкой ноги. К лешему такие разговорчики!

Горячился и папа:

— Я вас проверю! Я Шевелюхину из своего кармана тоже не горазд стараться! Вы украли, а я за краденое плати! Не беру бочки!

Возчики с криком пошли из кабака и начали собираться в отъезд. Вася подглядывал и подслушивал.

— Надо сладить с чортом! — услышал он. — Без накладной куда же денешься?

Возчики дальше шептались так тихо, что мальчик мог заметить только шевелившиеся губы.

— Последнее слово твое? — спросил один возчик, входя снова в кабак. — А то и без него уедем.

Отец стоял за стойкой, спиной к мужику, и разглядывал стену за стеклами с бутылками, полубутылками, сотками и двухсотками наливок, бальзама и вин.

— Слышишь, Федор Степанович? — давясь, затихая, добивался ответа мужик.

Отец, не оборачиваясь, бросил:

— Сколько выпили?

— Нисколько.

— Ведро, полведра, четверть?

В кабак вошли остальные возчики.

— Ну же, говорите, жулье! — с проходящей злостью воскликнул папа. — Нечего чесать в затылках. Я же должен знать, какую мне экономию надо делать?

Тогда возчики обрадованно и миролюбиво покашляли.

— Бутылки три, — сознался один, — может, меньше. В соломинку она крепче — и в голову ударяет и в нос шибает.

— Вдругорядь, — улыбнулся папа, — не трогайте бочек. Я вам сам лучше поднесу. Досыта. А то меры не знаю. И опростоволосюсь.

Возчики быстро перешли от брани к дружелюбию.

— Э, да катай безо всякого! — уже обучали они молодого целовальника. — Мы тебе доставили водку на праздник. Храмовое успенье в Осиннике, в Пешкине и Загорном. В канун все бочки разольешь. Мужики под осень, с урожаем, берут вёдрами. Никудышный, и тот полведра тащит. А четверть — вдова-бобылка. Акцизного мы обогнали верст за сорок отседа. Он с объезда по эту сторону в Заозерье правится. Под хмельком ка́тит.

Возчики и папа весело засмеялись.

— Жарь только чистую холодянку, — подмаргивал самый старый возчик, — в убытке от наших трех бутылок не останешься. Холодянка — она лучше в спирту прививается. Теплая скус отбивает и опахнет тинкой.

Вася был рад примирению, но и очень удивлен, что после брани возчиков кормили на кухне, поили чаем и в обратную дорогу папа дал им по бутылке.

— Будь, Федор Степанович, в надежде, — благодарили возчики, уезжая, — завсегда во-время станем доставлять тебе водку. Мы колесо рубим тому целовальнику, с кем сладу нет.

Папа, проводив мужиков, сказал с усмешкой маме:

— Ничего ребята, подружились теперь, не подведут. А то ведь, негодяи, так делают. Сердиты ежели, верст за пятнадцать от кабака нарочно вкатятся в грязь до трубиц, колесо

пополам... Засели... Смотришь, где бы водку запасти на праздник, Шевелюхин в спокое, а водка прибыла после праздника. Поймай их! Придется откупаться. В согласе — не будут и бочки вертеть шильями и штопорами. Опытные старички сами через соломинку тянут, да еще и мужикам по дороге продают. Может, стервецы, и воду знают, как впустить. Вода на воду — может получиться нехорошо.

Старец Нафанаил оказался прав.

На другой день отец с мамой на подложенных круглых катках полную бочку вдвинули в проход из-за стойки, папа вышиб втулку, вставил вместо нее железный насос, надел длинную трубу на рыльце насоса и загнутый конец трубы опустил в дырку постоянной дубовой бочки, стоявшей за стойкой.

Начали качать. Водка забулькала и с говорливой песней зазвенела в трубе. Вася потрогал отпотевшую жесть: она была холодна, как зимой железо на морозе.

До того за полчаса папа несколько раз ходил на речку Студенец за торговыми монастырскими рядами и двумя ведрами носил воду. Стеклянные двери в кабак с задернутой занавеской были заперты. Вася понял, куда исчезала приносимая отцом вода. Ребят впустили в кабак, когда папе понадобилось ведра поставить на кухню.

— Знаешь, Шурка, — многозначительно шепнул Вася брату, — а ведь старец Нафанаил хотя и противный жирный мешок, а человек он очень умный. Папу он в глаза не видал, а сказал про него — все кабатчики одинаковы, водку водой разбавляют. Папа одинаковый.

Шопот поняла мама, оказавшаяся рядом за печкой.

— Дурачок, тише, — пригрозила и предостерегла она, — разве можно так говорить про отца? Он для вас старается. Это вам на новые рубахи к празднику и на гостинцы и на всё. Смотри, не болтай нигде. Шныришь, баловник, и подсматриваешь! Стыдно! Во все суешь свой нос, куда тебя и не спрашивают!

Беспокойны ночи в кабаке. Как ночная стукотня началась с первой, так и продолжалась всякую следующую.

В Пряхине тишь, как зимой в голбце, тишь и тьма. Редкий петух. Лайкнул пес. Где-то скрипнули ворота. Квакнула лягушка. Тугое яблоко упало с ветки в дедушкином саду, зашелестев листьями яблони. Мыкнула корова, и проблеяла овца. Пряхино спит. В нем и днем тишина.

Рябинки на большаке. „Дон-дон-дилидон...“ Как будто колокольчик, подвешенный к телеграфным линиям, перескакивает через частые столбы, то низвергаясь с клекотом на землю, то возносясь в высь. Это бегут с горы на гору, в лощинки и овраги почтовые пары и тройки. Трещат россыпью мосты под быстрыми колесами. Щелкает хлопушкой и свистит, как ветер в трубе, плеть. Волокут усталые шаги ночные пешеходы. Скрипит в гулкой пустоте полей мужицкий тележный обоз.

На большаке только ночное затишье. Неугомонный монастырский страж отбивает часы. Шумит день и ночь монастырская плотина: как не вытечет вся вода из каплюсенького желобка Студенца! Озеро дальше, чем от Пряхина, глуше, но какие-то особые редкие перекаты волн слышнее. Волна, повторенная эхом. И эти стукотливые, хриплогорлые мужики за водкой! Они бродят вокруг кабака, скребутся в двери, шарят в окна, бренчат пальцем в стекло.

Вася привыкал недели две и научился не просыпаться в ночные побудки. И он перестал считать дни, проведенные в Рябинках.

Длинная-длинная нитка без узелков наматывалась на жужжащее веретено. Васе только утром рассказали однажды, как в кабак лезли воры, папа палил из пугача, выскочил с пугачом и с увесистой березовой скалкой для перекатки бочек, насел на воров; двое убежали, а третьему он скалкой отколотил ноги, и тот едва уполз.

Васе показали оторванные ставни в кабаке: пришлось поверить. Было жалко, что он не участвовал в усмирении

воров, но ничего не поделаешь: сон сильнее. Мужики стучались в кабак гораздо громогласнее воров, но теперь с той же теплой слюнкой из раскрытого рта лежала. беспробудно на подушке голова мальчика.

Приобыкли все Мещерины.

Над Рябинками горело и плавилось то же пряхинское солнце, как большой желтый круг чуть застывшего коровьего масла. Так назвал его Вася. Он был уверен, что над Пряхиным и Рябинками стояло особое деревенское солнце, отличное от городского.

Проносились ласковые и злые ветра, опрокидывались громы и ливни, на голову дню ночь надевала черный мешок.

Люди? Все они походили на давно знакомых, с бородками и без бород, кареглазые и синеглазые, носатые и носы в овечий катышек, трубачи и тихони — говорят-гремят, говорят-пришептывают, башка с овин и башка с рослый огурец, — и у всех одинаковые слова, то певуны, то рывки, то хрипы, то дзенкалы.

— Мама, — спрашивала сестренка Васи Оля, — для чего на свете игумен Нектарий? А для чего казначей Вениамин? Почему над монастырскими скотницами большуха Марья Федоровна, а не игуменья Нектарша?

А Вася знал уже Рябинки вдоль и поперек, знал все секреты, знал все монастырские причуды и порядки.

— Зачем, мама, — приставал он, — после запора ворот деревенские бабы лазят через ограду к монахам? Мы с Шуркой видели, как отец Вениамин подсаживал около угловой башни на крышу скотницу Муху, — она маленькая, ее так все зовут. Муха отцу Вениамину встала на плечи, уцепилась за карнизик, влезла на крышу и спряталась. Там раскидистый такой тополь. Под ветку, видно, скрылась. А отец Вениамин изловчился сам. Две доски подставил, расшарашился и ловко полез за Мухой. Лезет и говорит: „Пошли, пошли, ребята, не мешайте. Вам потом“. А мы и не мешали, а только смотрели. А чего он, мама, нам обещал потом?

Марьюшка схватилась за голову и полуплачущим, отчаянным голосом закричала:

— Ох, и дети же навязались! Прямо от вас житья нет на свете! Одному скажи одно, другому — другое. А я и сама не знаю. Ничего не знаю. На что вам этот... монастырь понадобился? Провались он пропадом!

Вася шел к отцу.

— Папа, мама не знает, зачем отец Вениамин бабу ночью подсаживал на крышу...

Федор Степанович вскакивал из-за столика в кабаке у окна с большим счетами и конторскими книгами, точно его подбрасывало кверху на пружине.

— А вот зачем! — кричал он, хватал Васю поперек, зажимал ему голову между ногами и крепко шлепал по заднему месту. — Вон! Чтобы никогда больше не спрашивать про такие вещи!

Побитый мальчик шептался с братом в мезонинной светелке.

— Муха — жена отцу Вениамину, — говорил Шурка, — вот он ее в келью к себе и переправляет.

— Как жена? Монахи неженатые. Это попы женатые.

Шурка обдумывал ответ:

— Должно быть вроде как жена.

— Вроде не бывает.

— Нет, бывает.

— Нет, не бывает. Если не знаешь, и не говори.

— А ты не спрашивай.

— Я тебя побольше знаю. Мне тут игумен встретился в ограде. Идет такой черный весь, как трубочист, ряса раздувается, в клобуке с хвостом, как бабий подол, с посохом. Остановил меня. Думаю, в карман полезет. Я только из игуменского сада. Под калитку вылез. Помешали. Два яблока всего и сорвал с веточки. А игумен мне и говорит: „Вася, для чего, по-твоему, царь на свете живет?“ Я ему сразу ответил. А тебе не догадаться.

— Откуда ты знаешь, для чего? — насторожился Шурка. — Тебе старец Нафанаил сказал?

— Я сам смекнул.

— Не ври. Ты и Нектария-то не видал. С чего это он тебя будет спрашивать про царя? Ты маленький. Это у больших спрашивают. У матросов папа спрашивал. А Нектарий не фельдфебель, а ты не матрос. Хвастунишка! Подслушал чужой разговор, а выдаешь за свой.

Вася радостно вертелся в светелке и хлопал в ладоши, выкрикивая:

— Обошел я тебя, обошел я тебя! Я про все сам знаю. Муха-то, говорят, живет с отцом Вениамином. Монах ее, на ночь глядя, и подсаживал. А утром, как коров доить, она опять в скотницы. К одним ходят пришлые из деревни, а к другим — со скотного двора. К самому игумену большуха после вечерни то-и-дело захаживает. Сказать, что ли, для чего царь на свете живет? Ладно уж, скажу! А для того, чтобы воевать...

Шурка некоторое время хмурился и молчал, а потом удовлетворенно соглашался.

— Ошарашил я тебя? — торжествовал Вася. — То-то. Меня так-то ошарашил садовник Нил. Про Нектария-то я выдумал. Тебе со мной никогда не потягаться. Я от старца Нафанаила знаю, для чего и царь небесный сидит на небе, на облаках. Старец говорит — бог сидит в валенцах, потому на небе холодно, ноги свесил с облака и от нечего делать болтает ногами. Раз и доболтался. Валенок съехал с ноги и полетел на землю. Бог-то перепугался сидеть с одним валенком. Да, на счастье, летел орел. Подхватил валенок и принес богу. А сидит он для того, чтобы архимандриты да игумены да просто попы дураков мирян в узде держали, грехами пугали да в колокола благовестили. Старец Нафанаил мне все это рассказал за полбутылки. Он попросил, я ему принес, он пробку об руку вышиб, как мужики делают, пробка вылетела, ровно пуля, прямо в стенку, пятно там. Старец горлышко в

рот оставил, смеется, а брюхо у него в тряске. „Гляди, — говорит, — Вася, мне на шею, как она занятно шевелится, когда водка в брюхо проходит“. Бульк, бульк — а под кожей у него волдырь с яйцо. Я пальцем потрогал. Даже страшно, как живой зверек в кошельке. Старец Нафанаил повеселел, песни мне пел про разбойников и над богом смеялся. Он не хуже Никиты заливает. Тот про чертей, а этот про богов да про святых...

Вася помог Федору Степановичу свести знакомство и с Нилом, и с Нафанаилом, и с самим Нектарием.

Вскорости по приезде, растрепанный, кудлатый, в репьях и всяком сору на подряснике, красный и мокрый, с суковатым посохом, явился в кабак садовник Нил.

— Ты это что, целовальник, за своими разбойниками не следишь? — властно и раздраженно крикнул Нил. — Они у меня две яблони сгубили. Меньшой на ветке сидел, меня увидал, на землю полез, да и оборвался вместе с веткой. А старший с мешком яблоки подбирал. Таких воров монастырь наш искони не видал! Иди к игумену. Игумен тебя требует. Он тебе покажет!

Отец Нил ожидал беспрекословного исполнения приказа игумена. Но того, что произошло дальше, садовник никак не ожидал. Целовальник вдруг вышел из-за стойки, схватил за шиворот отца Нила, резко поворотил его к двери лицом, дал ему под задницу коленком и выкинул садовника из кабака. Нил полетел кувырком.

— Ты что, долгогривая шваль, — бешено завопил Федор Степанович, — опупел? Мои ребята у тебя яблоню сломали, набезобразничали, так ты, как маленькой, ко мне пришел тоже безобразить! Твой сад, а мой кабак. Ты сад стеречь не умеешь, так в мой кабак хозяином пришел. М-марш! Скажи своему игумену, что я ему не скотница, не послушник, требовать меня в свою келью. Делать вам нечего — развоевались с ребятами. Да скажи еще игумену, чтобы тебя, старого дурака, картошку послал чистить в трапезную, а не сад тебе

доверять. И еще запомни, монастырская побродяжка, я тебе не целовальник, а Федор Степанович Мещерин!

Отец Нил пятился от крыльца и заплетался ногами в подряснике. Целовальник с яростью вырвал у садовника посох, швырнул его далеко от себя через дорогу в поле и с силой толкнул отца Нила в спину обеими руками. Садовник почувствовал, как его стремительно понесло от кабака к довольно далекому верстовому столбу при въезде в Рябинки.

— Подбери сарафан-то! — насмешливо гаркнул целовальник. — Неровно запутаешься, брякнешься и нос расквасишь!

Вася и Шурка визжали от удовольствия в мезонинной светелке. Отец Нил постыдно и жалко улепетывал к монастырю.

— Пойдем дразнить Нила, — только что успел сказать, захлебываясь, Вася Шурке, как снизу в потолок раздался требовательный отцовский стук.

Ребята покатились по лесенке.

— Ага! Что, взял, старый козел? — смеялся Вася. — Мы так и скажем садовнику! Давай, ему в окно покричим!

Ни сказать, ни покричать в окно не пришлось. Внизу ребят встретили розги. Федор Степанович попеременно выпорол сыновей, злобно приговаривая:

— Вы на отцовскую голову срам кладете! Мне за вас краснеть! Мне за вас глазами хлопать! В тряпку исхлещу, сорванцов!

Расправа над отцом Нилом помогла Федору Степановичу завести дружбу с игуменом Нектарием и со всеми монастырскими на долгие времена. Дня через два целовальник повидался с игуменом — и оба остались довольны друг другом.

Игумен сказал на скотном дворе большухе и старосте:

— Новый жилец у нас возле монастыря. Кабатчик, а не пьет. Его наш дурак Нил обидел. А он его и проучил. За дело. И ребят справедливо наказал, и Нилу по заслугам попало. Большого разума человек. Отпускайте ему беспрепятственно все, что у нас есть на продажу. Нам с ним в ладу

надо жить! Пьяницы-монахи и послушники от него не разживутся. Не возьмет под заклад краденое из монастыря за водку. Мы с ним договорились. И в долг не даст нашим пропойцам. Прежнего целовальника я за это и выжил. А дети всегда шаловливы, что с них взять?

Монастырская баня в хорошеньком одноэтажном домике с зеленой крышей, с крылечком, с малыми и почему-то круглыми, как на пароходе в трюме, окошками находилась возле самой плотины.

По пятницам мылись скотницы, по субботам — монахи и послушники. Большуха Марья Федоровна открывала свой банный день, а игумен Нектарий — свой. У монастырских рабочих была своя, черная баня, стоявшая на Студенце за гуменниками.

Нектарий оказал почет Федору Степановичу: игумен, казначей, старец Нафанаил, два старших иеромонаха Тит и Клавдий, кабатчик с Васей и Шуркой парились первыми. Марьюшка с дочками Олей и Дуней сначала заходила на половину к большухе в странноприимный дом, и оттуда уже вместе следовали в баню.

Семья Мещериных привилась к монастырю, как яблоня к колышку.

Васе сначала нравилось почетное мытье и паренье с первыми людьми в монастыре, но скоро оно стало казаться скучным. Куда веселее было с послушниками и с монастырскими ребятишками — певчими и сапожниками — Тишкой, Вандо — позвони в колокольцо, с Пакалом и со Свищом.

Вася нашел способ и почет не потерять и вдоволь насладиться баней: ходил в нее по два раза.

Да за одно удовольствие нестись голеньким, с распаренным, как свежий веник, телом, вслед за десятком огромных красных, багровых гривачей монахов и послушников прямо из банной горячей духоты на мороз, по снегу, в сугроб, кинуться в него головой, с опаленной кожей перевернуться в снегу и снова ворваться в тепло, — да за одно это можно

расстаться со всяким почетом! Там видишь только жирные „мясы“ монахов, думал с брезгливостью Вася.

Послушники и монахи мчались, ржа и фыркая, как лошади, оторвавшиеся от коновязей.

Вася визгливо подражал старшим.

В мягком сугробе катался огромный клубок тел, разгоравшихся до нестерпимой красноты, точно на него выплеснули ушат давленой свеклы.

А был регент Лавров. Он не валялся в сугробе, а шел не торопясь из бани и спускался на лед Студенца, останавливался у проруби, вытягивался во весь рост, — он знал, что на него всегда смотрели через обширную запруду, невидимо прильнув к стеклам келий, скотницы в страннoприимном доме, — и потом уже спрыгивал в воду, окунываясь по нескольку раз. Обратно он летел уже сломя голову — и прямо на полок.

Монахи и послушники и Вася наблюдали за Лавровым из всех четырех пароходных окошек бани.

— На скотном есть новенькая скотница, — уверенно заявлял с полка отдувающийся регент. — Готово! Придет! Я нарочно простоял полминуты лишних.

Баня заливалась хохотом.

— Придет, — гудел бас Благовещенский, — дожидайся! Ее, поди, трясет сейчас, зуб на зуб не попадает. Нагнал ты огня!

Во второй банной смене был ад и содом. Послушники и монахи больше возились, хлестались вениками, окачивали друг друга из шаек и тазов водой, плясали, боролись, доставали высокий потолок, взлезая один на одного, чем мылись. Лавров управлял хором с полка, употребляя вместо камертона ногу. Пели одно божественное.

— „Свете тихий“ Бортнянского!.. — возглашал Лавров и под общий гогот, как-то смешно выдув вперед живот, делал по нему ловкий стречок: — Бум! До-ре-ми-фа-соль!

Иногда он сажал на себя верхом Васю и заставлял

его маленькими ручонками повторять все регентские движения.

В таком положении Федор Степанович и застал банный хор. Старец Нафанаил, враждовавший с регентом из зависти к его цветущим годам, силе и редкому голосу, по злобе, нарочно заглянул в кабак и шепнул целовальнику о проделках регента.

Федор Степанович в шапке и шубе вошел в баню. Хор смялся, точно ветер задул свечу. Певцы каждый прикорнул над своей шайкой.

— Надо бы тебе по морде, Лавров, дать! — мрачно сказал Федор Степанович. — Ишь, нашел, жеребец, какую забаву над ребенком! Да, думаю, ты больше не посмеешь из моего мальчонка потеху себе строить. И вы все, — он вызывающе сжал кулаки, — игогошники!

Вася живцом юркнул в предбанник и успел раньше отца вернуться домой.

Лавров сконфуженно и покорно стоял, словно ожидая удара.

— Да, — наконец трудно разжал зубы регент, — глупость... сознаю... извини, Федор Степанович. Я, может, тебе в силе и не уступлю, а не стал бы тебе отвечать. Кругом виноват! Неладно, нехорошо разыгрались!

По субботам, покуда не забылся этот случай, Васю запирали до вечера, до конца бани. Прорывался он туда редко, лишь обманом обойдя все рогатки.

Летом, прикрываясь распаренными лапами, выскакивали из бани и бултыхались в запруду даже игумен, Нафанаил и Вениамин с Титом и Клавдием.

Тогда хорошо в бане и с заглавными монастырскими людьми.

Лавров с лихвой загладил свою ошибку перед Федором Степановичем: он обучил Васю и Шурку петь. Кабатчик и регент трясли друг другу руки. Иногда мальчики носили Лаврову в келью подарок от отца: будто бы рижский бальзам помогал чистоте регентского голоса.

Маленькую, из серо-желтоватой глины с глянцем, с пузыр-

чато-шероховатой глазурью бутылочку нашивал Лаврову Вася и сам по себе. Раз понес, в карман засунул, заигрался с Тишкой и Свищом в городки около монастырских ворот. Ударили ко всеночной, — играть не бросили, доигрывали кон. Отзвонили...

Ребята проскочили на клирос, когда всеночная перевалила на вторую половину. Всеночная предпраздничная, с длинным акафистом, с елеем, с густо набитой, как рыба внавалку на возу, церковью. Тут Вася секретно от послушников-певчих дернул за подрясник Лаврова, потянулся к нему с бутылкой и опустил ее мимо протянутой лодочкой руки регента.

Треск и как взрыв. Черная головка посудины с грохотом выкатилась по каменному полу почти до царских врат, точно с клироса пустили разыгравшиеся маленькие исполатчики волчка-жучка. Головка ударилась о поддон серебряного подсвечника и осталась лежать у всех на виду.

— Пойди, возьми сейчас же! — давясь смехом, прошептал бас Благовещенский, щипнул за ухо Васю и почти вытолкнул мальчика.

Бальзамное благоухание остро распространялось по церкви. Хор поперхнулся, соврал... Но Лавров не растерялся. Он поспешно сорвал с шеи вязаный шерстяной шарф, затоптал его на бальзамной луже и осколках, выправил хор и повел его.

Певчие, окончив ирмос, фыркали в кулаки, быстро подобрали глиняную россыпь, разлетевшуюся по всему клиросу, и с притворным равнодушием встретили дьякона, посланного на разведку из алтаря служившим Нектарием.

— Я у них по карманам не шарю, — объяснил регент. — Что тут поделать? Какую-то склянку вытащил и грохнул о пол.

— Пахнет бальзамом. Может, распивали, скоты? Не нашли другого времени и места. Что народ скажет? Ославят монастырь.

Лавров незаметно отжал дьякона подальше от злополучного

места, укрытого промокшим шарфом. Бас Благовещенский и тенор Одинцов согласно и дружно встали на него.

— Бальзам, бальзам! — сказал с досадой регент. — Значит, мальчишка уронил бальзамную склянку. У кабатчиковых детей с розовым маслом игрушек, ясно, не бывает.

После ухода дьякона Лавров насухо вытер шарфом пол, завернул жирную тряпку в старые ноты, сунул Тишке узелок за пазуху и тихонько сказал:

— Слетай! Сунь под дверь моей кельи. Скорее! Успевай к „Господи помилуй“.

Хор отдыхал. Васю не трогали, из боязни, чтобы он не расплакался. Пунцовый, точно самый яркий ситец, мальчик остолбенело стоял на том же месте и косил глаза на мать у левого клироса. На счастье, Федора Степановича не было. Он узнал бы черную головку от бальзамной бутылки.

— Шарф погубил, — горевал бас Благовещенский, сочувствуя расстроенному регенту.

— Что шарф! — морщился Лавров. — Его прокипячу, и опять можно одевать. А бальзам погиб. Нельзя будет отсосать: и я и вы, черти, топтались на нем сапожищами.

Ухо Федора Степановича ласкало, можно сказать, собственное мещеринское пение. Отец жадно вслушивался в хор и был весьма недоволен, когда голоса Шурки и Васи не выдавались из общего потока. Два детских шарика, — Федор Степанович вывез из Кронштадта машинку и сам стриг ребят непременно раз в месяц, даже зимой, — умиляли отцовские глаза.

Ребятам это умиление было хуже горькой редьки. Папа умилялся и одновременно надзирал за благочинием: мальчики обязаны были не прятаться в глубь клироса, а стоять на виду, не вертеться, не оглядываться, смотреть вперед, на иконостас, креститься в нужное время и петь.

Федор Степанович с недоумением наблюдал за лицом регента, которое вдруг искажалось злобой и отвращением, всё передергивалось, едва Вася, по мнению папы, начинал петь особенно благозвучно, вылезал из хора, вспархивал над ним

точно птичка над стаей. Лавров стискивал зубы, совал мальчику камертоном в плечо, а Вася виновато краснел и опять вливался, как ручей, в запруду, не слышимый отдельно.

Ох, это отцовское благочестие! Густой, словно тысячи басов, как у Благовещенского, монастырский колокол звал к утрене в пять утра. Отец занят: полчаса седьмого открываются кабацкие двери. Но бог не ждет и не знает оправданий для нерадивых. По всем праздникам, по воскресеньям, по постным дням Федор Степанович посылал взамен себя певчих-мальчиков.

Сон обманчив и вкрадчив. Только что папа разбудил, даже стянул одеяло и унес с собой, Вася приподнялся, прикорнул к подушке лягушонком — и опять его нет на свете.

Второе пробуждение иное: брови — они густы и кудлаты, маленькие глаза пронзительны и резко-понукающие...

— Звонят, — с просонья сух и беспощаден благочестивый голос, а рука кладет на подушку медно-зеленоватый пятачок, светлую серебрушку и поминальник. — Свечку поставь. На блюдо. Просвирку.

Летом золотится и чешуится утро, как кормленный льняным маслом лещ. Ноги несут легко и звонко к монастырским зеленым, в блистающей росе, воротам. Веселые главы горят. На колокольне воркуют гули. Большие светлые рамы плавятся и пылают, как жаровни.

Зима подслеповата, черна, все вокруг низко, нахлобучено. Вон в снегу, за сугробами дрожит желтенький огонь в теплой, со сводами, подвальной церкви.

Там под спудом в медной раке, напоминающей огромный утюг, — за ручку можно принять бронзовую, гирькой, висячую лампаду, — лежит какой-то святой Иоасаф, основатель монастыря.

С холодных, в шубе и рукавицах, полей несет колючую позёмку. По пустым рядам идет невидимо мороз в монашеской мантии, и ряды трещат. Зачем вставать в эти неуютные, унылые зимние часы?

Мальчики от холода и от страха перед мглой и пасмурью окружающего, ежась, бегут петь — молиться за отца.

— Сам дрыхнет, — бормочет Вася, — досыпает, а мы вставай! Ровно мы монахи али послушники! Те на то и наняты.

Шурке приходится вставать реже. Только летом, только в рождественские и пасхальные каникулы. Шурка учится в двухклассном училище, в селе Верховажьи, в двадцати верстах.

— Шурка, — с насмешкой любопытствовал Вася, — почему бог рано встает? Чего ему не спится? А может, он, как папа, объегоривает монахов? Те ему поют, кадят, огонь жгут, а он и не видит и не слышит, храпит себе в бороду под одеялом. Старец Нафанаил страсть бога не любит, — больше, чем Лаврова. Под пьяную руку всегда богохульствует.

Шурка осторожен и незлобив. Он останавливает брата:

— Перестань. Тише. Вдруг кто-нибудь услышит и скажет папе. Отстоим.

— В следующий раз, — совсем тихо, оглядываясь, бормочет Вася, — сначала я прикинусь больным, потом ты. Попеременно. Только надо с вечера. А то утром не поверят. И отлыним.

В церковь Вася попадал не всегда. Вместо нее он забирался к сапожникам Петру и Павлу и тут дожидался конца утрени и ранней обедни. А то помогала узенькая тропка вдоль страшных рядов. За ночь ее перемело. По ней в снежные зимы хаживали волки. Папа раз наткнулся на одного. Впереди вспыхнули две серных спички. Хорошо, у папы было жестяное ведро. Он, как барабанщик, ударил в донышко и затрещал. Волчьи спички скосило на сторону, и волк побежал в поле, освещая себе путь двумя фонарями-капельками.

По тропке Вася, крадучись, пробирался на скотный двор. Там жили при матерях скотницах и в рабочей казарме несколько мальчиков. На скотном вставали с первым ударом колокола. На гуменники, на конюшни, на скотные дворы менял Вася подневольное выстаивание в церкви.

Но мальчик имел барыш от отцовского усердия. Богородицы и святые угодники не дополучали. Рыжая пакля, тощенький заморыш, словно ему от роду не шла пища в тук, отец Николай разбивал серебрушку и пятак на копейки и полушки. Рыжик и малыш — не надень клобук, высокий, точно лукошко, был бы не виден из-за церковного денежного ящика. Но староста отличался лисьей догадливостью и кошачьей лукавостью.

— Трень-трень, — почему-то говорил он с искрой в глазу, — отколупываешь от святой обители? Помельче тебе? А за размен мне сколько?

— Копейку, — шептал мальчик.

— Две.

— Нет, копейку.

— А я отцу пожалуюсь.

Было жалко такой ненужной убыли в денежных запасах. Вася с ненавистью ловил жадный свет в сереньких, пронзительно вспыхивающих гляделках старосты.

— Давай обратно, — довольно громко заявлял мальчик, решавший не сдаваться, — я игумену скажу, как ты богомольцев обсчитываешь, неверно сдачу сдаешь. Отец Нафанаил про тебя знает. А мне папа велел разменять, — выдумывал сразу Вася, — у него мелочи не нашлось. Я на каждое блюдо по копейке положу да на просвирку, да на свечку Флору и Лавру.

Клобук старосты низко склонялся к мальчику, а глаза насмешливо дразнили:

— Вот и разочлись. На всё нам и хватит. Нынче пойдем с тремя блюдами. Я тебе по копейке выдам.

— Это надувательство, — вдруг громко и с яростью сказал мальчик, так громко, что на голос оглянулись один и другой ранний богомолец: старушонка, нищий-бродяга, странник-мужик и свободные почему-либо скотницы.

— На, на, — испуганно отсчитывал староста медную дробь. — Разве так можно в церкви божьей?

Получив медяки, мальчик скрывался в угол за печку, раскладывал на подоконнике свои сокровища, делил их, остаток опускал в карман, потом раздумывал и еще убавлял из отложенных в горсть на свечки и блюда.

— Клади, — шептал отец Николай, возглавляя трех монахов, путешествовавших гуськом с широкими оловянными блюдами. — А я посмотрю, на все ли положишь!

Бывало, мальчик укрывался за чью-либо спину и нагретые в ладони гроши присоединял к сбережениям.

Отец Нафанаил научил его брать с блюда двойную сдачу; тогда рыжий сборщик, попавшись на эту ловушку трижды, стал поспешно проходить мимо мальчика и даже прикрывал от него блюдо широким балахоном рукава мантии.

— Кради, Васька, — хохотал старец Нафанаил, — нашему рыжему Николе Мирликийскому меньше останется. Куда ему, уроду, деньги? Сатане в ад. Не пьет, не курит, бабы от него бегут, на всем готовом живет, копит, гнида, неведомо для чего. Я тебе покажу в дырочку... мы у него в келье в дверях провертели... как он, гадюка, мелом серебро чистит, а кирпичом медяшку. Ха-ха! Раскладывает на столике дьявольские сребренники и радуется. Ты, Васька, деньги не храни, а пущай их по ветру!

В дырочку смотрели Нафанаил, Нил, Вася, Лавров и Благовещенский. Смотрели коротко, наперебой, давясь от смеха. Васю толкнули последнего.

Мальчик прильнул — и обомлел. Рыжий малыш никаких денег не считал. Он голый стоял у окна.

— Всегда в этот час! — крадясь на цыпочках от двери, прошептал старец Нафанаил.

За ним следовали так же остальные по глухому и полутемному коридору братского корпуса.

— Вот ты хотел поглядеть, — сказал на лестнице мальчику Благовещенский, — и поглядел. Понял?

Монахи и послушники с удовольствием захохотали над несмышленым Васей.

— Это преподобный Онаний так научил нашего церковного старосту, — разъяснил старец Нафанаил.

Мальчик приносил просвиру. Ему доставалась самая вкусная верхняя крышка.

— Не кроши, — сердился папа. — Это святые крошки. Подбери все и съешь.

Церковные деньги открывали дорогу в мелочную лавочку соседа по кабаку, Владыкина. На них покупал мальчик в рабочих казармах у кухарки костыги. Отец давал по праздникам скупой пятачок. В именины и дни рождения — двугривенный. Это уже было богатство. Но средства увеличивал Вася по-разному.

Из жилой половины, отделенной стенкой от кабака, слышен всякий шаг входившего посетителя.

— Вася, посмотри, — говорил обедавший или отдыхавший папа.

Под стойкой денежный выдвижной ящик. Его не всегда догадывался Федор Степанович запирать.

Ящик мгновенно вытащен, и пятаки уже в кармане.

Но в кармане бывают и карандаши, и грифель, и разноцветные камешки.

— Что это у тебя бренчит в кармане? Деньги? Ты лазил в кассу? — однажды резко спросил папа.

Мальчик погибал. Он только что утянул три пятака. Вася мгновенно нашелся. Он притворно, на-ура, с полнейшей обидой, дрожащим от возмущения голосом, точно сперва не мог справиться с ним, крикнул:

— Н-на, посмотри! У меня к-карандаши!

Мальчик подставил отцу раскрытый карман.

— Федя! — жалобно заступилась мать. — Ты.... сам научишь!..

— Ну, ладно, ладно, — смягчился вдруг отец и не стал проверять карман.

Мещерины обедали. Вася переживал страшную тревогу. Удачные обстоятельства могли измениться каждую минуту.

А что, если все-таки папе вздумается, хотя и с опозданием, пошарить в воровском кармане?

Мальчик с величайшей осторожностью вынул пятаки, проследил, как папа отвлекся на разрезание мяса в тарелке, ощупал мамино колено, — она сидела рядом с Васей. Мать сунула под стол руку и зажала деньги.

Мальчик с болью и со стыдом заметил сразу покрасневшее лицо мамы. Она не выдала...

Таскал Вася и больше.

Перед кабаком ровный, накатанный большак. Середина летнего солнечного дня. Вон в полях мужики и бабы. Вон они на озере. На сини и золоте белые лодки, белые крылья парусов. Владыкинская собачка Каквас, лохмач, словно она произошла от такого же густоволосатого лавочника, лежит на дороге, в жирной и пухлой пыли.

Тройки и пары не подымают пыль. Не звенят дилидоны, не гремят колеса, спит разудалая ямщичья плеть.

Тишь. Монастырь отдыхает после обеден. Пуста лавочка у ворот. Кабак никому не нужен. Играли в городки: папа на Шурку, Вася бил в обе стороны. Мама сидела на крыльце и подзадоривала.

— Папа! — закричал на все Рябинки Вася. — Полтинник! Я нашел полтинник.

Мальчик ловко выкинул из кармана украденный раньше полтинник и тут же цапнул его вместе с горстью пыли.

— Чей же он? — смеялся и ликовал притвора.

— Ну, какой-нибудь пьяный выронил. Твое счастье!—поддержал папа счастливца и позаботился о нем: — Не потеряй. Отдай лучше маме — на сохраненье.

Папа даже шутил:

— Мне-то не давай! Боюсь — издержу. Израсходуюсь и... захвачу твои капиталы.

Мальчик знал, что на его находку никто не посягнет. Какое удобство! Вася мог носить деньги в кармане и тратить их, как хотел.

Игра в городки стала еще приятнее. Было одно неудобство: нельзя смотреть открыто и просто на маму, чтобы не догадалась.

Удачи сменялись неудачами. Федор Степанович поверил в находку первого полтинника, а когда в следующий раз сын нашел уже серебряный рубль, — всё замутилось и перевернулось в жизни.

Папа замер с поднятой для битья городков палкой, нахмурился и сказал маме:

— Слышишь?

Мать неловко пошевелилась на крыльце. Мальчик веселился и прыгал одну секунду. Он шмыгнул глазами по равнодушным к его радости родителям и внезапно начал розоветь.

— Пойди сюда, — приказал властно отец.

Мальчик разбито пошел на зов отца, выставив вперед в ручонке серебряное колесико.

— Сознавайся! — потребовал папа. — Ты из кассы его взял? Кто тебе поверит, что вся дорога возле кабака усыпана полтинниками и рублями? Сам себя выдал. А? Почему Шурка ни разу не нашел?

Вася яростно оправдывался, шумел и плакал. Ничто не помогало.

— Пошшел в светелку! — бешено гаркнул папа. — На неделю пошшел! Не сметь на нашу с Шуркой игру и в окно смотреть!

Отец, дергаясь лицом, поднял с дороги грязный прут. Мальчик сжался. Прут свистнул и опоясал Васю несколько раз по ногам и по спине. Вася кинулся с воем в кабак мимо затихшей и отвернувшейся мамы.

— На тебе, Шурка, краденый рубль на гостинцы! — услышал мальчик на бегу голос папы. — Ты этого стоишь!

Вася действительно сидел в мезонине настоящим узником. Ему запрещено было спускаться вниз. Шурка носил брату питье и пищу.

Папа разгневался даже на самого бога: большой колокол будил одного Шурку. Заточение не делалось слаще от этого преимущества.

— Не будешь? — спросил папа.

Но мальчик неуступчиво возразил:

— Отдай мой рубль.

Федор Степанович вспылил на нераскаянного грешника:

— Ты так? Ну, так сиди еще. Всё равно не поверю. Я тебя уморю, обманщика!

А дни за окном сияли. Стояло не замутимое ни одним дождливым пятнышком вёдро. Жизнь проходила мимо мальчика.

Шурка хотел отвлечь брата и скрасить его томительное одиночество. Он недогадливо привел Тишку, Свища, Ванцо — позвони в колокольцо и Пакало. Папа монастырских ребятишек в дом не пускал, но можно было играть в городки перед домом. Начали.

Но тут в мезонинной светелке безутешно зарыдал мальчик. Пришлось игру бросить.

— Мало вам скотного двора, — вдруг закричал Федор Степанович на монастырский выводок, — убирайтесь отсюда! А ты, разгильдяй, — кинулся он на обомлевшего Шурку, — чего их привел сюда лоботрясить? Брата поддразнить? Подсмеяться над ним? Марш на его место!

Вася получил освобождение. Шурка, в обиде на такую несправедливость, наотмашь смазал брата по щеке в самых дверях, а тот, изловчившись, убегая, пнул его.

Мальчик успел догнать негодовавших на Федора Степановича ребят и едва с ними уладил. Те гнали его прочь.

В тот радостный вечер, точно мама была в заговоре против отца, мальчик шепнул ей:

— Это я Лаврову украл. Он попросил. Ему надо. Лавров мне сказал — у папы не убудет. Папа ведро воды продает, а деньги получает за водку. Деньги эти ничьи.

Мать поколотила Васю. Он охотно подставлялся под бе-

режливые и совсем не больные удары, но для прилику даже тер кулаками глаза.

— Вот тебе и от меня попало, — сердито сказала мама. — За битого двух небитых дают. Я с твоим негодником Лавровым поговорю с глазу на глаз.

Ссора скоро прошла. Мальчик внезапно откуда-то прибежал с озабоченным лицом и с лукавостью спросил:

— Ты знаешь, мама, поговорку: пока сытый сохнет, худой сдохнет?

— Ну-у?

— Это Лавров про папу. Когда просил денег, так и смеялся. Сколько, говорит, у него ни бери, он все равно тебя богаче. Сколько воды в Студенце, столько у папы денег. Я и поверил. Ты, мама, Лаврова не ругай: он бедный. Я тебе нарочно рассказал всё. Я от тебя ничего не утаиваю. Я больше Лаврова не стану слушаться. Ты про меня папе не говоришь, не говори ничего и Лаврову. А то я папе сознаюсь, как мы с тобой вместе его обманули.

Опять налаженная жизнь катилась ровно, без тресков в ухабах, как катится по синему обручу неба круглое, обточенное колесом солнце. Пробуждались из ночей утра́. Вечер закрывал глаза дню. Ночь укладывала на покой землю, озеро, людей и владыкинского Какваса.

Садовник Нил ненавидел Какваса. Нил пришел поздно в лавочку за махоркой. Тогда еще маленький, Шарик лежал на крыльце. Он и вцепился в длиннополого. Говорят, в первый раз кусался. Отец Нил и закричал:

— Как... как... вас? Владыкин?

С тех пор все Шарика стали называть Каквасом. Один Нил кликал Шариком.

Ванцо — позвони в колокольцо — дискант. У него голос звенит, как колокольчик, на верхнем „до“. Такой же писклячок, охрипший от старости, у казначея Вениамина. Ванцо — его сынишка от просвирни Стеши. Тишка — от самого игумена и от большухи. Говорят, и старец Нафанаил тут не

без греха. Тишка — спорный. Пакало — от всех сразу. Этот маленький, худенький, как обглоданное колесами деревцо при дороге. Он надувает щеки, смешно вздергивает нос, глаза у него бегут в разные концы, морщится лоб, и волосы шевелятся вместе с кожей на голове. Он изображает похоже высохшего на корню дьякона Агафодора.

— Паки, паки господу помолимся! — возглашает Пакало Агафодоровым голосом, подымая в руке кончик пестрого шарфа, кинутого на правое плечо.

Монахи и послушники умирают со смеху. Еще большее удовольствие доставляет Пакало, когда, подученный, он произносит возглас у дверей кельи Агафодора. Наблюдатели заглядывают в дверную щель. Лежащий дьякон срывается с кровати, недоумевает и крестится. Туговатое ухо его не слышит шороха в коридоре. Все, кроме Пакала, уходят к выходной двери. Тогда мальчик трижды провозглашает „паки, паки, паки“ — и мчится, топоча маленькими аккуратненькими сапожонками на высоких каблучках — для роста. Агафодор гремит вслед:

— Жеребцы стоялые! Кони! Неймется вам, черти, и в мертвый час!

Разбуженная от послеобеденного сна братия звенит ключами, высовывается из келий. Одни продолжают потеху, другие поднимают брань.

— Верзило Кащеевич, заткни дыхание! Гляди, в рот на тройке въедешь! Труба! Думали, на страшный суд зовут архангелы! Ан, ревет Агафодория! Клади свои мощи на утлую подстилку!

Агафодор хлопнул дверью. Коридор удушлив и полутемен в молчании, как подземелье.

Свищ не поет, а сапожничает. Он, говорят, произошел сразу от Петра и Павла, от баса Благовещенского и от тенора Одинцова. Сапожное ремесло перетянуло. Мать — судомойка на черной, рабочей кухне.

Вася и Шурка вскладчину выкупают его у Петра и Павла

на денную гулянку. Вечером он повесничает бесплатно. Спьяна, с пьяного горя один из отцов-сапожников проткнул мальчику шилом щеку, — дырявое место не зарастает и сочится. Он клеит его свежим и молодым листом березы. Тот скоро отваливается. Свищ бегает так, не прикрываясь. Он лучше всех играет в городки, плавает, удит, и никто так ловко, без промаха, не умеет попадать камнем в бегущего по дороге за мужицкой телегой щенка или в многочисленных монастырских котов и кошек, гуляющих по крышам братских корпусов и ограды.

Ваня Синичка — тонкоголосый певун — сынишка маслодела Кирсанова. Он живет рядом с постоялым двором и лавочкой Владыкина. Его часто бьют за слабосилие, за птичкин синеглазый вид и голос, но любят и подолгу дожидаются на улице, покуда мальчик-тихоня неповоротливо собирается в путь.

Солнце — жерло золотой трубы. Свет и огонь льются и плещут из нее. Мир — как раскрытый зонт. На каждой пылинке блеск и жар. Земля напрасно открывает потресканные и сохнущие губы. Жажда и голод. Мрет, увядая, трава. Кто-то невидимо поворачивает трубу на гору, все выше и выше. Вот она опрокинулась на самое темя. И тогда сквозь увеличительное стекло, купленное Васей на ярмарке, зажигают курильщикам, Тишке и Шурке, прямые и косые цыгарки, прожигают бумагу, пробуют солнечный пёк на ноге, подрумянивая его до боли, а то и на подряснике старца Нафанаила, бездельно вздремнувшего на скамейке у ворот.

Ребячий семерик несется к озеру. Как косцы с косами: по три, по четыре удочки стоймя за плечами.

То же — и не то же, что в Пряхине. Рыбацкие лодки, невода, чайки. В глубоком устьи Студенца монастырская пристань для редких пароходов: раз в неделю. Это старая, полинялая беляна с двумя узорно-резными избушками на носу и на корме, с пустой, открытой серединкой, где маячит только новенький зеленый трап для пассажиров.

Всегда ловится хорошо с пристани. Там сторож — послушник в выцветшем подряснике, с ведерком возле себя и с подсашником на длинной кривой палке, постоянно сидит за рыбалкой. Кого другого, но рыболовов он пускает беспрепятственно. Те даже не спрашивают.

— Отец Увар, здравствуй, — шепчут ребята, как полагается по правилам рыбной ловли на уваровской пристани.

Они идут подальше от края, чтобы рыба не заметила такую ораву беспощадных охотников, явившихся подкалывать и подсекать ее на крючки, идут на цыпочках, чтобы не стукнуть каблуком по высохшему гулкому настилу пристани.

Увар совсем и не отец Увар, он просто ни на что не годный в монастыре послушник, сосланный в сторожа. Увар — бывший искусный звонарь. Слушать его нарочно приезжали на ярмарку купцы. Тогда Увар и отличался. Тогда приходили звонарская слава, купеческие заказы, почет и подарки. Купцы любили особый трезвон-перебор на малых колоколишках, до чего был невиданный мастер Увар.

Пошатнулся и повалился и стал неуместен на богоугодном деле звонарь сразу. В пасхальном подпитии, а больше в гордыне от своего уменья, Увар вместо обычного послеобеденного звона откатал плясовую вприсядку. Народ повалил из церкви и, гогоча возле паперти, не хотел расходиться. Все загибали головы на колокольню. Туда кинулись трезвые монахи и послушники снимать спятившего звонаря.

Увар испытывал какое-то удовольствие от присоединения его к монашескому званию и величания „отцом“. Ребятам ничего не стоило сделать приятное нужному им сторожу.

— Наше вам с кисточкой, — отвечал Увар, — рассаживайся, знай. Нынче хватается плотица. На хлеб. Груша с постным маслом. Мера глубины — два с четвертью аршина. Донка. Наверх чтой-то не хочет. Свищ, — приветливо усмехался рыбак, — поди, нас живенько перешибет.

— Эй вы, монастырские, — кричат проезжие на лодках

мужики, — не трожь нашу рыбу! Она скоромная. Мы тута гнилое мясо кидали на притраву. Греха вам не отмолить. Мясопуст нам, а вам сыропуст.

Мужики ладили прогнать лодки как можно ближе от удочек Увара.

— Не гребись к поплавкам! — вполголоса взывал и отчаянно махал руками сторож. — Вона какое широкое плёсо. Что, право, за баловство!

— Увар, — не унимались озорничавшие мужики, — с той поры, как леший закинул тебя на пристань, вся рыба в Заозерье ушла. Должно, в обиде, не хочет плавать в монастырской ухе.

Мужики кричали издали, приставляя рупором руки ко рту:

— Увар, эт твоей работы ребятишки сидят, али ты чужих пестуешь? Ишь, увесился ими, ровно напоказ.

Сторож закрывал глаза и оставался в молчании несколько минут.

Затихали и ребятишки.

— Сейчас начнет, — вдруг произносил Увар, — тута мужики завсегда шумят и стукотят. Она привыкла. О-о, у меня поплавок пошел!..

Ребята завистливо переглянулись: рыболовное счастье баловало первым отца Увара.

— А ровно мы тоже не в начете! — вполслуха горделиво бросил Свищ и начал бережно водить по кругам сильную рыбу.

— Бери, бери подсашник, — волновался сторож, — уйдет! Дай слабину! Не трожь, не трожь лапой за леску! Оборвешь, оборвешь! Н-на фунт, н-на полтора сорожка!

Вытащили, однако, лучше — язя.

Солнце, кажется, неподвижно стояло в небе, точно вон тот монастырский вызолоченный шлем колокольни. Озеро в легкой шерстинке. Луч дробится и колется на зыби, как сверкающая звезда. Красноперый окунь выбрасывается по

всему плесу. Щука остроносо бороздит его резкими бросками.

Увар отсидел ноги. Он предупредительно ползет подальше от края, встает и, разминая их, пускается в обход своей рыбацкой команды. Заглядывает каждому в мешок, пересчитывает улов, подолгу смотрит на рыбу и на руке прикидывает ее вес.

Вася, кося глаз, видел, как Увар и Свищ на том конце пристани то узко, то широко расставляли руки: это они вспоминают, каких размеров в прошлый раз брала рыба. Брала и ушла.

Уходит всегда та, которую приходится вспоминать, широко разводя руками.

Вася неловко дернул после поклевки. Рыба уперлась, точно непослушный Каквас, когда он не хочет вылезать из своей будки. Мальчик оборвал лесу под самый крючок.

— Ай, ай, Васютка, — сочувственно сказал Увар, — да ты восьмерку не умеешь делать. Привыкай. Гляди вот. Надо восьмеркой, или то же, что морским узлом. Вот так! На такой привязке ты рыбу, как собачку на ошейнике, станешь водить. Леса лопнет, удилище напополам, а крючок ни за что не слезет!

Мир и покой, точно на дне таинственного плеса. Солнце жарит вкосую. Огромное солнечное лезвие как разрезает воду, и в ней смутно видны камни, водоросли, песок.

Тогда Увар стаскивает свой прохудалый подрясник. А под подрясником ничего нет.

— А мы свои рыбке, — орет он, — а на нас ей не лицо жаловаться! Кончила она баловаться до вечерен.

Увар низвергается с пристани, похожий на неуклюжий мешок. Ребята крепко отталкиваются ногами от маленьких перилец, вонзаются головами в воду, словно острые, с очиненными концами сваи.

Увар не зябнет и не устает. Он надолго погружается вниз.

— О меха у дьявола! — восторженно воскликнул Вася и

дурашливо обманывал товарищей: — Ребята, ребята, глядите, вода убывает: это Увар пьет.

Ребята, продрогнув, вылезли и оделись. Тогда появился среди них, весь в капельках, Увар. Он сушился на солнце, повертываясь в его лучах то одним, то другим боком.

— Гляжу я на вас, — приветливо и даже жальчиво тянул сторож, — вы, нонешние ребята, противу прежних не выстоите. Мы, бывало, из воды вовсе не вылезали. А ныряли как! Через весь плес. Правда, тогда и вода была теплей. Это оттого — кишело озеро рыбой. Рыба теплит воду.

Ребята знали, что к сердцу Увара протянуты были невидимые ниточки, словно веревки к колокольному звону. Они дергали за любимую.

— Отец Увар, ты, говорят, всех рыболовов почище?

Сторож забывал надеть свой подрясник.

— Я прежде на две волосинки рыбачил, — весь расплываясь в улыбку от воспоминаний, говорил Увар, — другие и на пять и на шесть, а я на две. Лещей по десять фунтов выводил. По поклёвке узнавал крупную. Лещ — он как берет? Поплавочек зашатается, будто пьяный, и будто пьяный — набок. Мужик ждет-пождет, покуда леший насадку обсмакует, засосет в рот, — тогда поплавец вскочит торчком и пошел, пошел с погрузкой в глубину. Тут и подсекают. А я не так. Я напрахтиковался. Двунадесятых у нас праздников двенадцать? Я двенадцать раз „господи помилуй“ прочитаю да ка-ак пазгну: леща при лежачем поплавке и беру. На две волосинки. И ну и ну его выхаживать! Раз пять часов водил. О был денек! Рядового леща выкидывал. Накидал, поди, пудов десять. Прасолы прямо ко мне на лошадях подъезжали. Улов продам, да рыбу-то, что не выловил, запродам. Верили. Ежели отец Увар сказал — так и будет.

Рассказчик стоял голый, в забывчивости размахивал руками, приседал, подсекал, нагибался, изогнувшись почти до земли, подолгу высматривал клёв.

— Эй, чудище! — хохотали бабы рыбаков, проходившие

по берегу. — Срамник! Будет представлять! Прикройсь! Увар, а Увар, подь к нам, мы тебе штаны сошьем! Из крапивы. Собак на тебя науськаем! Прямо в святые мученики попадешь!

Увар слушал в пол-уха. Не переставая рассказывать, он поворачивался к бабам спиной.

— Эт славно! — потешались бабы. — Ай да Увар! Всё сразику понял! Вот теперь так и на человека похож. Как все люди. Прямо живой угодничек!

Бабы останавливались, крестились и со смехом делали поясные поклоны.

— Я, — вдохновенно шептал Увар, — однажды под вечерок чудо видел на озере. Вдруг откуда ни возьмись посередке спасательная лодочка с Каменного монастыря. Она в бурю несется. А тут — не замутишь ни в воде, ни на небе. Лодочка эдак постояла да на воздух и поднялась, паруса на ней вспорхнули, и покатила и покатила она под облака. Я мужикам кричу: „Лодка, лодка на небе!" Окол мужики невод кропали. Видение то мне одному было. А и сидел-то я, поди, от мужиков за пятнадцать шагов. Лодка прямиком на солнце полетела. Я глядел на нее, покуда и пятнышка от нее не осталось, а только будто след от облачка, как будто белая птица с подшибленным крылом. Одно крыло машет, другоэ повисло. Мужики-дураки ничему не вняли. А один, гляжу, идет ко мне, сердитый такой, ведро у него в руке. Подошел. „Вон, лодка-то опять вылезает из воды". — „Где?" — говорю. Мужик-то меня, сволочь, обманул. Ведро мне сзади на голову вылил. Как я с перепугу закричал да почал захлебываться! „Ты, грит, Москвы теперь не видишь?" Эдакая свинья косолапая! Не поверил в лодочку, а она, ей-ей, плыла: глаза у меня свои, а не чужие.

Увар, не скупясь, рассказывал. Иногда ребята шли домой без рыбы, но никогда не возвращались они, не наслушавшись от сторожа разных былей-небылиц.

— Ну и врать Увар! — охальничал Вася, утрачивая за-

думчивость по мере приближения к монастырю. — Выдумать ему ничего не стоит. Врет и денег не берет. А может, ребята, он смеется над нами от скуки? Ему делать нечего, кроме как пузом на солнце лежать да червяков насаживать на крючок. Он раньше звонарем был на колоколах, а теперь языком звонит.

Домой поднимались вверх по Студенцу, обшаривая норы в берегах и под камнями. Это называлось — доловить остальное. Вася так часто лазил по норам, испытывая удачи и неудачи, что все норы разделялись на любимые и несчастливые. К любимым мальчик подходил, опережая товарищей, с захолонувшим от ожидания сердцем. Вася отчаянно обманывался.

На узком перекате лежал огромный синий камень. Его называли „кормильцем“, шарили под ним в очередь, ведя точный табель. Спорили до драки с нарушителями.

— Кормилец нынче мой! — жадно заявил Вася. — Вчера Тишка, я видел, выскочил из-за плотины и побежал вниз. Он хочет два раза сорвать улов. Это к чортовой матери! Не по правилу!

Тишка был вороват и жаден и силен. Но Вася неудержим на руку: камень так камень, палка так палка. Мальчик яростно надувал губы, неудержимо кидался на противника и побеждал.

— Выгружай, толстая губа! — хмуро говорил Тишка. — Поглядим, чего достанешь! Я тут... раньше зачистил!

Рыба любит перекаты. Под синим камнем-кормильцем дыры, как ноздри в коровае. Много. В одну входит рука по локоть, в другую — до поллоктя, в третью — одна кисть, а в четвертую — палец. Никогда все дыры не бывали пустыми. Выскользнет налим из рук: это значит — не ушел совсем, а перебрался в другую норку, по соседству. За ночь рыба шла из верхнего и нижнего бочагов. Утром норы полны.

Здесь частенько ребята ночевали, дожидаясь рассвета. Тогда норы — для всех. Рыболовы забредали в воду, каждый

становился хозяином отведенного ему участка и по сигналу мог приниматься за ловлю.

Налим тянется на огонь. Жгли костер у самой речки. В полночь, когда гуще мгла, даже середь лета, вздували спичку. Для растопки поджигали сухую берестинку: приносили ее из дому.

— Вздувай налимий фонарь! — кричал Вася.

Журж, журж... — лепетал Студенец.

Багровый лак костра покрывал таинственную поверхность вод, извивался по ней причудливыми разводами, точно муар по шелку. Живые цветы, водоросли, трава ползли по течению, мгновенно выступали, как румянцы на щеках; в одном месте струи гасли, в другом мешались, пропадали... Звезда уронила в бочаг драгоценный сияющий свет, и он лежал не то на весу где-то в глубине, не то на дне, в россыпи камней. Васе казалось, что к отраженной звезде подплывал налим и закрывал ее усиками.

— Идут, — шептал мальчик.

Ребята напряженно вглядывались в молчаливо-спокойное лоно Студенца. Им представлялись толстопузые головачи-налимы, развернувшиеся по дну гуськом, будто разрубленная на части длинная змея. Они медленно, степенно, ползуче правились в норы.

Синий камень забросили после одной ловли. Еле-еле дождались утра, когда с румяных высот распространился над землей достаточный свет и легкий туманный пар окутывал синий камень, будто огромный поплавок. Вася засунул руку в самую просторную дыру.

— Захватил! — восторженно вздохнул мальчик. — Упирается. Что-то, ребята, невиданно большое! Тяну! Тяну! Скользит! Ох, не удержать! Нет, нет, тут! Во-от!

Вася с трудом взмахнул рукой. С нее взбудораженно лила вода. Товарищи с затаенным дыханием ожидали. И вдруг сразу все с криком отпрянули от синего камня. Мальчик дико взвизгнул...

С силой отброшенная огромная черная крыса плюхнулась в нижний бочаг и тяжело погрузилась, как гиря. Вася, дрожа, тряся рукой, выскочил на берег: на мякоти большого пальца был рваный прокус.

Ох, и досталось синему камню!

Ребята вооружились кольями и долго и старательно разрушали знаменитые норы. С тех пор рыболовы никогда не проходили мимо, чтобы не наказать бывшего любимца. Вася навсегда потерял охоту шарить налимов.

Длинных летних дней недоставало. Загуливались до ночи. Тишке, Ванцо, Пакалу и Свищу монастырские высокие стены нипочем. За игуменским корпусом угловая башня насквозь просырела. Обступили ее вплотную мокруны-тополя. Остренькая башенная головка точно в зеленых вихрах. Эдакий непокорный вихор торчит и справа и слева. Кривые ветки перекинулись через ограду и низко свесились к земле. Захолустье. Поле репья, кустарника, бросовой земли — до Студенца. Тут лазили взад и вперед.

Шурка и Вася научились спускаться из мезонинной светелки по скрипучей лестнице неслышимыми кошками.

К кабаку со светелкой приделано длинное одноэтажное летнее строение: это продолжение кабака на время ярмарок — чайная и закусочная. Там огромные комнаты-сараи с некрашеными столами на ко̀злах и узкими скамьями. В середине чайной деревянный буфет и огромная плита с вмазанным в нее кубом для кипятка. Куб — как медная кованая избушка. Прилавок низко присел. Кабак издали напоминает монастырскую башню с продолговатым куском ограды. Монахи и послушники называют это строение не иначе как „кабацкий корпус“.

Шура и Вася, тихонько отложив крючок у входной дверцы в чайную, осторожно крадутся в самую заднюю пустую комнату. Там свободно выставляются окна. Тем же путем и возвращаются.

Это ночное нашествие на монастырские сады и ягодники.

Нил Обросов спит и не видит. Попадались днем. Перенесли на ночь.

Из озорства и насмешки, в траве от деревца к деревцу привязывали тонкую бечеву. Нил подслеповат, шаг у него крупный и безудержный. Садовник встает от первого удара колокола. Сматривали из-за кустарей на запруде, как бежал с беспокойным обходом отец Нил, запинался о бечеву и падал носом в землю. Точно ветром подхватывало соломенную широкополую шляпу.

В траве барахталась грузная, неуклюжая фигура, и смешно горела круглая лысина, почти равная малому блюду, с которым ходит третий сборщик в церкви. Отец Нил, под задавленный хохот наблюдателей, как говорят сорок раз подряд „господи помилуй“, вспоминал мать-богородицу и всех святых.

Монастырские сады, кладбище, мельница, гуменники, поля, конюшни, скотные дворы, братские корпуса с темью коридоров и закоулков, пустые, заброшенные башни с каменными мешками в стенах, с ржавыми кольцами от стародавних времен для монастырских узников и ярмарочные ряды — необозримая ребячья земля. Каждый шаг на ней и знаком и нов.

За версту от Рябинок деревня Осинники. Там школа. Там никогда не бывает лета: там всегда зима. Там чужая и злая земля. От Шурки перешел к Васе потрепанный черный ранец: брату отец купил новый. Такого, и потрепанного, нет ни у кого из школьников: все ходят с грязными сумками из холстины. Ранцем можно гордиться. Но недолго. Пока у всех ребят на виду. А лучше его сбросить с плеч скорее и с Тишкой, и с Пакалом, и с Синичкой продолжать привычную жизнь.

В школу Вася ходил не торопясь, простаивая лишнее на мосту через Студенец, свертывая с дороги в поле к летним вешкам-березам и елям в монастырской балке. Стоянием на коленях у доски мальчик платил за опоздания.

Обратно веселый и быстрый путь: вприскочку, взапуски с Синичкой. Ни одной напрасно потерянной минуты.

В школе хорош только желтый высокий шкаф.

Когда Вася получил первую толстую, в зеленом переплете, книгу, он крепко запомнил мутные, вымазанные мелом стекла в шкафу и разноцветные книжные корешки. Мальчику захотелось непременно и как можно скорее прочитать всю верхнюю полку. Да, пожалуй, дорога в школу и даже уроки чего-нибудь стоят!

Нельзя, конечно, пропустить и редкий волшебный фонарь. Вася с удовольствием путешествовал по морям и океанам, забирался на Памиры и в Кордильеры, бил гарпуном китов, охотился на тигров и львов, гулял, вспоминая Кулакова, по заграничным огромным городам, сравнивал древние монастыри и башни с Рябинками... Но все же чудесны воскресенья и праздники, чудесны каникулы, и ни с чем не сравнимо лето, когда школа заперта и учитель Иван Иванович Чугунов приходит запросто в кабак, смеется и шутит, не спрашивает уроков и не может поставить на колени.

Зимы, вёсны, лета и осени. В какой-то день приехала на подводе бабка Афанасья. Чья это старуха вылезает из телеги? Вася едва узнал бабушку.

— Ты это что же, матка, больно худа-то? — тревожно спросил папа.

Бабка не приезжала давно. А когда она была? Как будто совсем еще недавно!

Мама вдруг как-то сказала:

— Три года живем в Рябинках, и времени не видали.

Потом в осеннее ненастье из Котлова пришла тетя Дарья, папина сестра; она сразу заплакала, и Вася понял без слов, что бабушка Афанасья умерла.

Через год мама вместе с Васей ездили на похороны в Пряхино: бабушку Аграфену закопал знакомый церковный сторож, который переделывал папе вывеску. После похорон мальчик зашел в бабушкину горницу. Вон они, три лукошка

с яблоками. Бросился. Но яблоками только пахло. Лукошки стояли на полу, а не висели под потолком. Пустые. И тогда вдруг стало жалко бабушку.

Вася помчался Пряхиным. Заглянул туда, сюда. Какая незнакомая местность! Ребята чуждались его, и он почувствовал какое-то смущение перед ними.

Даже, даже Никита изменился. И... как он постарел! Как будто бы у Никиты голос был чище и звончее. Никита явно уступал в выдумках старцу Нафанаилу. Мальчик недолго посидел со старым другом.

Года два назад, когда Никита приходил на ярмарку за порохом и дробью, друзья не могли досыта наговориться. Мальчик во всех подробностях расспрашивал о Пряхине, а Никита расспрашивал о Рябинках. Теперь они точно издали поклонились друг другу и разошлись.

Жизнь в Рябинках шла крепко и оседло. Сзади кабака Федор Степанович построил обширный свинарник в десять стойл. Игумен Нектарий святил его. Он же дал папе книгу, с картинками, про йоркширских свиней. Боров Васька походил на старца Нафанаила, когда тот спьяна в одном белье выползал из кельи на четвереньках, хрюкал и старался, как настоящее животное, щипать траву. Боров был смирен и добродушен, как Увар.

Вася сделал из тонких веревок узду для бороза, надевал ее и, обшарашив своего коня, выезжал на большак.

— Ну и шелопай! — засмеялся Федор Степанович, увидав всадника первый раз. — Смотри, Марьюшка, Васька на Ваське едет. Выдумает же игру, безобразник!

Боров двигался с таким равнодушием, точно не чувствовал на себе седока.

Но Федор Степанович одобрил затею только на первый случай. Вася не удовольствовался конем-тихоходом. В один из своих выездов он дал ему шпоры — и тогда боров взревел, разъярился, понес и сбросил всадника. Васе пришлось звать на помощь. Бороз вцепился зубами в пиджак мальчика,

приподнял его на воздух и принялся трепать. Отец и мать уже торопились на выручку. Едва отняли. Боров, с ошалелыми глазами, кинулся на Федора Степановича, загнал его в кабак. Мать в страхе потащила сына с прокушенной ягодицей в придорожную глубокую канаву, чтобы укрыться от борова. Федор Степанович едва справился с ним, обломав о животное палку.

Отец явился из свинарника с Васиным уздечным изделием в руке. Уздечкой он и выпорол его, приговаривая:

— Я тебя, мерзавца, в стойло к борову брошу! Пускай он тебя загрызет и обгложет. Раздикасился, стервец, на свою голову!

Напротив кабака Федор Степанович получил от игумена Нектария десятину огородной земли. Ее пахали монастырские лошади. Кабатчик не сходил с огорода. Шурка и Вася с сестренками пололи и поливали огурцы, морковь, картошку, капусту — по три копейки в день. Папа вел табель и платил по субботам. За хорошую работу прибавлял.

Полнотелая корова Рыжуха ходила с ведерным выменем. Федор Степанович гордился ее густым, как иссветла-желтое масло, молоком.

— А я к тебе, Федор Степанович, на сливочки, — говорил игумен Нектарий, заходя в кабак перед монастырскими помочáми: косили и жали рожь бесплатным пришлым деревенским народом.

Федор Степанович провожал нужного гостя в комнату и угощал. Клобук его, как черное ведерко, стоял на стуле. Вася вертелся около клобука: мальчику хотелось его примерить.

Папа водил игумена осматривать свинарник. Клобук удалось надеть. А потом Вася созорничал: незаметно посадил в клобук кошку.

— Пóмóчь у нас, Федор Степанович, — озабоченно пел игумен, — жнитво... В прошлое воскресенье объявил я за проповедью народу... Придут, не придут? Порадеют, не по-

радеют? Гонцов послал по деревням. За неделю миряне оповещены.

— Было б только вёдро, отец Нектарий, — отвечал Федор Степанович, — осталось два дня, а погода неверная...

— Упаси боже! — восклицал игумен в страхе. — Столько приготовлений! Обитель останется без хлеба. Своих рук не хватает. Рожь сгниет на корню.

— Уберем, — успокаивал Федор Степанович. — Я и то Марьюшку пошлю жать, сам за нее справлю всю работу. Деревенские монастырь так не оставят. Вино, отец Нектарий, сколько бы ни выпили на помочи, как и в прежние годы, мое. Это мой грешный вклад в обитель.

Хозяин и гость приветливо усмехались друг другу. Игумен, устроив нужное дело, начинал довольно собираться восвояси.

— Не тронь, не тронь, Федор Степанович, — притворно не позволял игумен суетившемуся и смущенному кабатчику вынуть из клобука мирно дремавшую там кошку. — Как она туда забралась! Вот ведь облюбовала место!.. Кис-кис, проснись!

Игумен тихонько, посмеиваясь, опрокинул набок клобук.

Марьюшка в тревоге посматривала на хмурого мужа, а больше всего на притаившегося у стенки баловника Васю.

— А чорт, даже принять не можем как следует первого человека в Рябинках! — бормотал Федор Степанович жене. — Откуда-то взялась эта кошка? Брысь, негодница!

Федор Степанович чем-то швырнул в нее. Кошка опрометью вылетела из комнаты. Не прозевал убежать за нею и Вася. Гнев отца мог обратиться и на него: папа, браня кошку, уже подозрительно оглядел мальчика.

Вася не умел считать проходивших лет. Но в мезонинной светелке один косяк дверей принадлежал Шурке, а другой — ему. На Васином зарубок было больше.

Шурка вставал к косяку два раза: весной и осенью.

Брата зимой не было уже давно: сначала он учился в селе Верховажьи, а потом папа отвез в какой-то город Чере-

повец, на реке Шексне, в Александровское техническое училище.

Вася заглядывал в светелку в самое неурочное время. В гнилом пазу возле косяка был воткнут зарубочный гвоздь. Он бороздил глубоко и отметно гладкое, струганое дерево.

— Меряться, меряться! — радостно вопил Вася, встречая приезжего брата.

Почти внезапно мальчик разглядел по-новому и старца Нафанаила, и Лаврова, и Благовещенского, и даже папу. Они ему показались другими, чем он их видел вчера. Как будто совершенно напрасно он верил каждому их слову, хотел им во всем подражать и непременно походить на них. Почему-то ему стало неприятно, что папа весь покруглел, на тяжелую серебряную цепь поперек живота навесил кисть дребезжащих брелоков, ходил с перевалкой и не со всяким посетителем кабака одинаково здоровался.

После одной ссоры с отцом, наказавшим мальчика, он сидел запертый в светелке. Пришел Шурка.

— Кабатчик! — пренебрежительно воскликнул Вася, повторяя с наслаждением много раз слышанное им слово, которое недовольные папой люди произносили с особым обидным ударением. Раньше мальчик загорался от обиды за отца, дрался с ребятами, а теперь готов был сам крикнуть это слово, если бы не боялся побоев. — Вон Синичку отец никогда не трогает.

Шурка ходил в летней форме технического училища: в коломенковых брюках навыпуск и в такой же курточке. На картузе — топор и якорь. Вася хотел походить из всех знакомых ему людей только на брата. Но Шурка не поддержал его:

— Не бьет, значит Синичка не заслуживает, — важно сказал он. — А за брань папы я тебе дам взбучку!

Шурка с некоторого времени относился к брату свысока и покровительственно, считая себя окончательно и бесповоротно взрослым. А главное, Шурка был сильнее и од-

ним махом в драках валил брата на землю. Васе пришлось смолкнуть, хотя бы и не меняя своего взгляда на папу.

Подчинение Шурке обладало какою-то непонятной сладостью. Брат был тих и скромен и аккуратен.

— Гляди, на кого ты похож! — в сердцах говорила мама. — Пиджак рваный! Лицо в царапинах! А руки, руки?.. Ты землекоп? Настоящая свинья-хавронья!

Действительно, братья целый день играли вместе в городки, бегали у озера, ловили рыбу, бродили по лесу в поисках грибов... И какая разница между ними! Шурка как ушел из дому в выглаженных брюках, с отжимом, так и вернулся домой. На нем ни складочки, ни пятнышка, чистюля! Даже сапоги не запылил!

Брат превосходил во всем, даже в чистописании. В школьном шкафу, в желтом переплете, в самой серединке, по широкому корешку книги было вызолочено: „Александр Сергеевич Пушкин". Книгу открывала страничка с почерком Пушкина. Вася, из подражания, начал писать мельчайшими буквами.

Федор Степанович любовался чистенькими тетрадями Шурки, написанными ровно и четко, красивее, чем по-печатному. Тетради Васи резко отличались от братниных. Пока мальчик писал крупно и по линейкам, отец, вздохнув над неровными и кривыми буквами, хотя сам был не особенно горазд в чтении, все же разбирал отдельные слова. Теперь письмо сына не поддавалось: отец был не в состоянии его осилить.

— Как ворона набродила! — сморщил раздраженно папа брови, сунул мальчику тетрадь в руки и приказал: — Читай!

Вася запнулся на первой строчке и безнадежно умолк.

— Вот, вот у кого надо учиться! — закричал Федор Степанович. Он бережно разложил на столе тетрадь Шурки, ткнул в нее носом мальчика и заставил его по линейкам переписывать непреодолимый чернильный бисер в новую тетрадь. — Кончишь, покажи! Каждый день мне подавай твое

бумагомарание. Я тебя, подлеца, вышколю! Шлея несчастная! Я тебе покажу мелкое шитье!

Вася был упорен не менее отца. Мальчик отказался от мелкописания только в подконтрольных тетрадях. Зато он старательно упражнялся на стенах, на лоскутках бумаги или просто на гладком столе грязным ногтем, воображая перед собой бумагу. Отец ловил его и беспощадно таскал за уши. Беспощадно порол.

Шурку все любили. После вечерни игумен Нектарий, прикладывая крест к губам брата, иногда приглашал его к себе на вечерний чай. Это была особая, редко доступная для Васи честь.

Тут Шурка не выдавал брата. Итти одному домой Васе было нельзя. Он дожидался у игуменского крыльца или у ворот. Братья возвращались вместе с гостин у игумена.

Летом школьный шкаф на запоре. Летом дождливые дни, и проходящие грозы нависают темным потоком над землей. Вася не умел сидеть без дела. Выручал тот же игумен Нектарий.

У него свой книжный шкаф: тяжелый, с зеркальными стеклами, с задернутыми извнутри темномалиновыми занавесями. Нектарий отдергивал на золотых колечках по медному пруту занавеси. В глаза Васе било крупное, глазастое золочение корешков: „Кормчий“, „Четьи-Минеи“, „Жития святых“, „Троицкие листки“, „Преподобный Нил Сорский“, „Сказание о неопалимой купине“, „Пантелеймон-целитель“, „Симеон-столпник“, „Варвара-великомученица“, „Божья матерь семистрельная...“

Игумен Нектарий сначала проверил Васю на тоненьких дешевых книжках о святых и потом уж стал охотно выдавать дорогие, в переплетах.

Иногда посещение игумена кончалось чаепитием с вкусными монастырскими булочками из пшеничной муки. Двойная выгода. Мальчик старался ускорить обмен книг. Обманул один раз — и попался. Нектарий попросил рассказать прочитанное,

а мальчик только покраснел. Теперь он, возвращая книгу, уверенно говорил:

— Сегодня спрашивать будете?

Игумен Нектарий чаще усмехался и отказывался и только изредка отвечал:

— А ну, попробуем!..

Он не спеша перелистывал, подолгу копался в книге, отыскивал самое сложное.

Вася складно, без запинки барабанил какое-либо житие пречестного и преславного Пафнутия, мученика Сосипатра, старицы Ефросиньи или Прокопия, Христа ради юродивого чудотворца.

У мальчика была цепкая память. В трапезной монахи и послушники обедали и ужинали в две смены. В низенькой сводчатой трапезной всегда горела огромная висячая лампа над огромным столом. В углу, в киоте, от полу до потолка стояла икона, словно за стекло поместили высокую продолговатую дверь, покрыли ее красной краской, а на ней расписали во многих клеточках „Житие праведного Иоасафа“. Серебряный подсвечник со свечой, толще самоварной трубы, курил перед Иоасафом копоть. Направо, у окна, на аналое раскрытая книга Четьи-Миней.

Монахи и послушники охотно уступали Васе место у аналоя. Мальчик зарабатывал право садиться за соблазнительный монастырский стол. Вася читал в первую смену при игумене. Ели чинно, молча, крестясь перед каждым блюдом. Мальчик заранее узнавал у кухарей, когда были четыре перемены и стоило ли за них долго, до хрипоты в горле, читать Четьи-Минеи.

Страницы закапаны воском, кто-то во многих местах сковырнул воск до дыр, но можно легко и свободно читать Четьи-Минеи даже наизусть.

Игумен Нектарий сидит в голове стола. По бокам — казначей Вениамин и Агафодор. Дальше — все остальные малые монастырские люди.

Игумен всегда кончает первым блюдо. И ждет, держась за колокольчик, пока последний из братии проглотит остатки с тарелки. Игумен делает вид, что он внимательно слушает звонкий голос чтеца, летящий по Четьи-Минеям.

Иногда Вася перепутывал количество звонков перед подачей следующих блюд и захлопывал книгу раньше времени. И... остолбеневал: братия оставалась на местах.

— Мы не кончили, — с усмешкой говорил игумен, — ты рано торопишься за стол.

Краска бросалась в лицо мальчика: Нектарий раскрывал тайные желания чтеца.

Вася накапливал за Четьи-Минеями аппетит: жующие и вкусно чмокающие монахи раздражали его.

Во второй смене было весело и оживленно. Лавров или старец Нафанаил садились на игуменское место, хотя ему и полагалось быть пустым. В звонок звонили только тогда, когда хотели, под общий хохот, передразнить игумена. Требовали смены блюд проще.

— Степанида! — гудел бас Благовещенский, коверкая имя кухаря Степана, — посылай служков! Есть там в котлах выплески от синедриона?..

В стенке открывалось небольшое окошечко из кухни, в него просовывалась красная, потная рыжая образина Степана.

— Кто имя жены произносит во святой трапезной? — забавляясь, провозглашал кухарь. — Изыди, поганый женолюбец!

Прячась от внезапного появления игумена, поспешно доставали из широкополых подрясников скляницы с водкой и пили чайными стаканами, поставленными для кваса.

— Вася, — кричал Лавров, — побарабань нам монолог из Четьи-Минеи! Вали житье старца Нафанаила али отца Нила, кустодия монастырских древ и кущей!

Мальчик уписывал за обе щеки, не вставая с места, но охотно жарил на-память почти любую страницу из прочитанной несколько раз книги.

Шурка с некоторого времени подсмеивался над божественными книгами и не читал их. У Шурки был крокодиловой кожи толстый альбом, привезенный из Череповца.

Недостижимым для Васи почерком в альбом были переписаны разные стихи. Брат подолгу углублялся в перечитывание своего чистописания. Альбом хранился в столике под замком. Вася изредка с трепетом получал этот альбом: на руки ему Шурка не давал, а читал и пел вместе с ним одно стихотворение за другим.

Почему-то этот кожаный альбом казался Васе таинственным и необыкновенным. К обладателю его мальчик постепенно проникся чувством преклонения. Вася желал быть вторым Шуркой.

Толку получалось мало. Мальчик вдруг раздражался и взрывался внутри против медлительности и спокойной уверенности брата, тащил его, покрикивая, за собой в поле, к озеру, за монастырскую ограду. Вдруг с неприязнью разочаровывался в его разутюженных, аккуратненьких брюках, курточке, картузе с белоснежным чехлом, в начищенных смазных сапогах.

Вдруг в неудержимой отчаянности он начинал ковырять зарубочным гвоздем в замочной скважине стола, чтобы достать Шуркину книгу, напачкать в ней, истрепать ее или совсем выбросить. На зло. В насмешку. Разозлить Шурку. Заставить его плакать, бежать за ним со сжатыми кулаками, с хохотом смотреть, как смешно трясется у брата от ярости нижняя губа и глаза вылезают на лоб.

Дрались в кровь. Но никогда не жаловались они друг на друга отцу. Федор Степанович наказывал за драки обоих: и правого и виноватого.

Была одна песня в Шуркиной книге. Ее переписал тот на отдельном листочке, дал выучить Васе, а Вася — Синичке с монастырскими ребятами. Ее полюбили и пели хором каждый день. По ней Федор Степанович и Марьюшка узнавали, где пребывают их дети-певчие.

О, — говорил с улыбкой Федор Степанович жене, дожидаясь ребят обедать или ужинать или на поливку огорода, — идут! Опять король поехал...

Хор с увлечением заунывно и медленно пел:

Когда-то жил в Англии король молодой,
Имел он двух дочек, не равных собой.
Белее, чем майский день, была младшая дочь,
Сестра же смуглее, чем черная ночь.
И старшая младшую манила тайком:
„Пойдем погуляем на бреге морском...“
И черен был моря покров...

Дальше рассказывалось, как старшая дочь, из зависти к красоте младшей, столкнула ту в море. Из косы утопленницы сделали арфу. Бродячий музыкант пришел в королевский замок, заиграл на арфе, все узнали в пении арфы голос королевской дочери. Тогда преступница побежала к морю и утопилась. Но уже из ее косы никто не сделал арфы.

Вася со слезами на глазах переживал грустную гибель несчастной младшей царевны и негодовал на старшую. Событие ему казалось достоверным и будило в нем потаенные чувства любви к красавице. Мальчик воображал себя рыцарем, он дрался на турнирах, всех побеждал, пробирался в королевский сад, в десять-двадцать раз больше игуменского сада, царевна выходила к нему на свидание, но злая старшая сестра тоже любила Васю, подглядывала, из ревности завлекала Васину возлюбленную на морской берег...

Тут мальчик поправлял песню по-своему, более решительно, чем вначале. Он внезапно появлялся среди обеих царевен и громовым голосом кричал:

— Остановись, презренная!

Старшая сестра не успевала погубить младшую. Наоборот, Вася хватал злодейку и легко, как перчатку, швырял ее на острые зубцы скал. Потом он приказывал из косы преступницы сделать телеграфные провода и протянуть их по Кирилловскому тракту от Вологды до Кириллова.

Слушая из окна мезонинной светелки, как печально пели провода в бури, мальчик считал, что ревнивая царевна уже наказана.

Много лет эта песня из Шуркина альбома звучала в ушах Васи и будила самые причудливые мечтания о подвигах, о любви, о добром и злом на свете, о чудесных далеких странах, о где-то бушующих, сильнее чем озеро, морях, о славе. Мальчику хотелось быть красивым, красивее всех, красивее Шурки, умнее игумена и папы и учителя Чугунова, гордым и выносливым, как все герои в книгах и в песнях, а главное — знаменитым, как президент бурской республики Крюгер и генерал Бота.

В то время шла война буров с англичанами. Федор Степанович читал почти по складам. Вася даже снисходительно жалел отца, не умевшего читать, как он, бегло и без запинок. Папа, однако, выписывал газету „Биржевые ведомости", „Сельский вестник" с приложением книжек „Бог — помощь" и жадно слушал чтение сына.

Почтовая пара неслась мимо кабака два раза в неделю. Почтальон не мог не заехать. Федор Степанович наливал ему бесплатный граненый стакан с верхом. Папа ненавидел англичан и горой стоял за буров.

— Вася, Шурка! — нетерпеливо звал он ребят. — Газеты! А ну-ка, валите скорее, как там наши буры колошматят англичанку. Где генерал Девет со своей армией? Где Бота?

Удовлетворив нетерпение, папа уже сам садился за газеты, радовался неудачам англичан и делался мрачным при отступлении буров.

В дни прихода почты ребята делились на два лагеря, воинственно сражались на пустыре в лопухах за монастырской оградой, переправляясь через Студенец вброд и вплавь, с ревом и криком рубили самодельными деревянными саблями и просто палками лопухи и крапиву. Сражение разыгрывалось не на шутку, если Васе удавалось утащить и пустить в дело отцовский пугач.

Песня о королевских дочках сама по себе и незаменима... Но в сражение и после сражения шли с другой.

Делая воображаемо страшные и кровожадные лица, каким полагалось быть у обиженных буров, ребята грозно и зловеще, почти басовито гудели:

Пахнет кровью над лугами,
Битвой душу веселя,
Буры храбрыми рядами
Ходят, бриттов шевеля...

Сверкало солнце в Оранжевой республике. Широкополые шляпы буров надвинуты на лоб. Но разве закроет шляпа мужественное лицо бойца от пали солнца? Лица должны быть загорелыми, как начищенная медь.

Ребята терли кирпич, мешали порошок с желтой глиной и наводили на лица загар.

Вася мечтал быть Крюгером, Деветом, Батой. Мир населен героями. Мальчик плакал от обиды и несправедливости в день разгрома бурской республики. Но он же негодовал и ненавидел, когда Девет и Бота сделались послушными английскими генералами, а Крюгер поехал гостить в Лондон к английскому королю.

— Изменники! — рыдал мальчик. — Продажные шкуры! А мы за них стояли! Не хочу я походить на Крюгера, на Боту, на Девета!

Отец посмеивался и с сожалением говорил:

— Ничего не поделаешь! Плетью обуха не перешибешь! Нужда заставила! Они, поди, съели бы англичан, да тех не разжуешь. Раз поддались — помалкивай!

Героев почти не убавилось после потери бурских военачальников: дядя Том из „Хижины дяди Тома“, Роланд, князь Михаил Скопин-Шуйский, Наполеон, Микула Селянинович, Добрыня Никитич, генералиссимус Суворов, кривой князь Кутузов, Барклай-де-Толли, Петр Великий, Иванушка-дурачок и конек-скакунок.

Вот только святые отцы и мученики, и митрополиты, и патриархи, и апостолы не годились в герои. Читать о них было очень занимательно, но они обременительно всю жизнь постились, ходили в рубищах нищих, жили под землей, в пещерах, как крысы живут в норе под синим камнем, — эти в воде, те на суше, — или в тяжелых, пудовых ризах и разукрашенных горшках-митрах на голове подолгу служили утрени, обедни, всеночные, не смели любить красивых принцесс и просто девушек, ходили по земле в неудобных подрясниках, рясах и мантиях, точно бабы в сарафанах и платьях.

Таким же был и преподобный Иоасаф, старец Нафанаил, отец Нил, игумен Нектарий, казначей Вениамин, такими же — другие монахи. Вот из них и выходят святые.

Вася смеялся.

— Отец Нил, — говорил неугомонный весельчак старец Нафанаил, — сказывают, наш игумен затевает открытие мощей Иоасафа из-под спуда. Архимандрита думает получить. И богоугодного старца разыскивает по монастырям. Обитель скучает по святым. Все угодники от древности, а новых никак не сыщут! Ты б Нектарию шепнул словечко, как он к тебе придет ягоду пробовать: Нафанаила-де пора в почет, настоящий прорицатель, за всяким все грехи видит, большое прославление Рябинок может получиться. Али тебя в преподобные? Ни одного огородника и садовника не бывало во святых! Мы с тобой вместях потрудились.

Вася слушал, и запоминалось...

Шурка в сонном бреду бормотал:

— Открой топку! Дай пар!..

Это он готовился стать машинистом и водить по Волге пароходы.

Машинист — тоже герой. Но Вася где-то прочитал о взрыве котлов на пароходе и о гибели под водой затонувшего судна. Страшно. Жутко. Да и никто не видит в машинном отделении героя. Там так жарко и душно, точно в печке у

покойной пряхинской бабушки, когда Васю парили на огненном поду. С машиниста льет пот, как масло с маховиков. Это уже просто скучно!

Вася решил отказаться от звания героя-машиниста. А когда это случилось, Шурка показался ему менее интересным, чем раньше. В конце концов мальчик остановился на заимствовании от Шурки одной коломенковой курточки, легко подхваченной широким ремнем с золотой бляхой, и на брюках с проутюженным рубчиком.

Скоро завладели вниманием Васи другие герои. Подражание почерку Пушкина засело крепко. Но этого было мало. Захотелось вот эдаким неразборчивым, пушкинским почерком, даже с нарочно зачеркнутыми словами, самому сочинить Четьи-Минеи. Мальчик на одной страничке перекладывал длинное житье какого-нибудь святого. Память помогала.

В начале зимы на неделю приходил обшивать семью кабатчика старик портной Налимов из Загорного. Ему-то, тайно от отца, мальчик и читал свои запретные сочинения.

Налимов, бородатый, седой и кругловатый, как апостол, сосредоточенно думал, разглядывал старый, продранный пиджак, отмечал на нем мелко́м какие-то знаки, перелицовывал его. Сверкающая игла Налимова ловко и умело насекала ровный, красивый бисеричный шов. Старик внимательно слушал, ласково поощрял мальчика и приветливо усмехался. Между делом он много рассказывал Васе сказок, опять же о святых, но мало похожих на четьи-минейские и во много раз занятнее. Мальчик садился перекладывать их по-своему. Налимов раскрывал удивленно глаза на маленького сочинителя.

— Эт ты... как же... как же... слово в слово... О башка у парнишки!.. Прямо-таки... хотя бы в волостные писаря... О уставляет! Писарек с ноготок! Ты, малой, старайся, старайся! Боле отца свово добудешь харч. Я те говорю серьезное дело!..

Теперь Вася вообразил себя писателем.

Черная лакированная коляска, запряженная парой белых лошадей. Раньше чем кучер Никита шагом проехал на ней в монастырские ворота со скотного двора, Вася и Шурка уже дожидались ее у игуменского подъезда. Вот и он, в черной легкой рясе, в знакомом клобуке, с посохом, игумен Нектарий. В коляску внесли коричневый сундучок: там лежат неведомые угощения.

Вася и Шурка чинно подошли под благословение к игумену. Тихонько коснулись худой и сухой руки.

— Садитесь, — сказал Нектарий. — Шура со мной, а ты, Вася, на сундучок. Ты нас поменьше. Тебе удобнее. Кстати сундучок не будет прыгать.

Васе приятно и на сундучке, но еще приятнее на ко́злах с Никитой. Мальчик медлит. Игумен с недоумением смотрит на него.

— А можно мне туда? — спрашивал неуверенно Вася и показывал на ко́злы.

— Конечно, конечно, — отвечал Нектарий, довольный тем, что нелюбимый мальчик не стал оспаривать места у Шурки.

Кони взяли. Мальчику очень хотелось свистнуть на все Рябинки, как делали ямщики. Но мешает игуменский клобук.

Зато никто не мешал Никите гнать лошадей по узкому зеленому проселку. В пяти верстах Брюхачевская поскотина. Монастырский хутор с особыми игуменскими покоями. Летние скотные дворы. Желтый копаный коровий пруд. Лесные сенокосы.

Приехали на сенокос. Завелось: игумен делал приятное полезному Федору Степановичу, беря его ребятишек к себе в коляску. Деревенские старые бабы умилялись на клобук, окруженный детьми.

На огромных лесных полянах несколько сот наемных и бесплатно-богоугодливых косцов и косиц в рубашечной пестряди весело и споро клали душистый коровий корм.

Игумен с часок прогуливался, направо и налево кивая своим клобуком на приветствия косцов. Кой-где игумена задерживали бабы, кидавшие косы и стремглав подбегавшие под благословение.

Тогда Вася незаметно ухмылялся и шептал Шурке:

— Нектарию это нож вострый. Гляди, сердится: где бы косить, а они бегают!

Тем временем игумен как будто находился в смущении и всем прикладывавшимся к нему говорил:

— Не надо, не надо! Работайте с богом! Я не для того приехал! Я не хотел бы мешать!

На ущербе дня, под белым шатриком, точно балдахин на четырех молодых березках, игумен с ребятами чаевничал и закусывал. Коричневый сундучок открывался. Почему-то белые баранки, такие, какие давали на закуску в кабаке, здесь были вкуснее, как и конфеты, пироги и тройное варенье — малина, клубника и поляника.

Поодаль дымились котлы для косцов.

— Смотри, — шептал Вася брату, — папиной водкой обносят мужиков и баб. Папа у нас жертвователь...

Косцы располагались прямо на земле, хлебали из больших деревянных чаш-хлебниц сущ. Монахи с четвертями водки, просвечивающими сквозь низевшее солнце, обходили пестрые груды потрудившихся и каждому наливали по зеленому стаканчику.

— Стаканчик-то зеленый для обману, — не унимался Вася, — в нем ничего не видно. Будто он и большой, а у него дно толстое.

Шурка пугливо отодвигался.

— Какая божья благодать! — восклицал Нектарий каждому из проходивших мимо людей. — Воздух райский! Животворящее солнышко! Святое божье вёдро! Прямо для обители и для всех православных христиан-тружеников!

Староста радовался проще:

— Ныне повалили, отец Нектарий, боле трех четверок

покоса. Ровно бы, по дыму из труб, погода выстоит, сено не смочит, и убрать можно во-время. И без беды не обошлось. Подляки какие-то в траву каменья нашвыряли. С целью, негодники. По всем полянам около трех-четырех десятков кос поломали косцы. У другой зазубрина с пятачок, у другой кончик отвалился, иную напополам...

Игумен Нектарий всплеснул руками, как крыльями:

— Ты, Барашков, это так не оставляй! Надобно уведомить урядника. Пускай он пошарит по деревням. Народ — дурак. Шила в мешке не утаит. Озорники непременно не утерпят и... похвастаются. Тут их и возьмем за длинный язык. Ах, злодеи, ах, завистники! Это из лесных деревень. Это старая тяжба из-за покосов.

Вася только ради почета и редкого удовольствия прокатиться на игуменских лошадях и мирился с этим стеснительным для него сенокосом.

Накануне они были здесь своей ребячьей компанией, явились пехтурой, с корзинками для грибов, нагрузили их, шлялись весь день, вертелись под косами, подъедали выкошенные ульи в траве, гребли, боролись и засыпали друг другу за пазуху сухое, колючее сено. Вот это сенокос!..

Игумен Нектарий собрался в обрат с первыми хмельными выкриками быстро подпоенных с устатку косцов.

— Ну, ребятки, с божьим благословением, — сказал он, поднимаясь, — погостили с мирянами, и будет. И лошадки наши отдохнули. Благорастворение воздухов и несмышлёных скотов равно ублаготворяет! Лошадки побегут весело и дружно.

Вася описал сенокос с полной насмешкой над игуменом. Мальчик увлекся и не заметил стоявшего за плечами отца. Папа понял не больше половины, путаясь в неприятных каракулях, строго посмотрел на сгоревшего сразу в краске мальчика, разорвал листок на мелкие части, смял в крепкий комок и швырнул за окно.

— Неблагодарное животное, — сурово сказал папа, — тебя

игумен в коляске возит, а ты про него пакости пишешь. Это ты на потеху послушникам делал? А? Чтобы ты больше никогда не смел! Я тебя когда порол? Неделю назад? Да? Так я тебя буду скоро каждый день! На задницу не сядешь. В свеклу ее разделаю!

Мальчик никак не мог угодить строгому отцу, любившему чистописание Шурки.

В жнитво, когда желтая саженная монастырская рожь топила Рябинки со всех сторон и они казались маленькими, захлебнувшимися в золотистой тьме хлебов, деревенские приходили на̀ помочь.

После торжественной обедни с проповедью о семи тощих и семи тучных коровах, о пяти тысячах, насыщающихся от одного маленького хлебца, сотни подогретых и разжалобленных баб, девушек, мужиков и даже старух со своими и с монастырскими серпами кидались на поля.

По загонам ковыляли коренастые раззолоченные иконы в киотах. Иеромонахи в клобуках, с серебряными крестами на шеях, бродили по межам. За черными с ног до головы попами с бабьими гривами Тишка, Пакало, Свищ, Ванцо и другая челядь со скотного двора несли небольшие водосвятные чаши. Монахи размахивали кропилами и поливали жнецов святой водой. Игумен Нектарий на разных концах монастырских плодоносных земель, с хором и с двумя диаконами в легких золотых и серебряных ризах, служил молебны.

К вечерням поля далеко отошли от Рябинок. Суслоны, как солдатские ружья в козлах, обступили неоглядными лагерями монастырь. Глухой вечер, июльская густая протемень заставляли разгибаться жнецкие спины. Тогда только догадывались подавать сигнал к окончанию: небольшой колокол трижды раздельно гудел над положенным замертво хлебом.

— Начисту̀ю! — кричал с колокольни вестовой-наблюдатель игуменскому келейнику, высланному Нектарием на балкон. — Щепоти нигде не осталось! Шариком! Народ пошел!

На широкой улице между странноприимными домами и скотными дворами из свежего пахучего леса были заранее нарублены дня за два, за три длинные козелковые столы со скамьями. Тут и сям на столах среди горок хлеба стояли пузатые зажженные фонари с лампами. Монахи с поклонами встречали подходивших жнецов и жниц.

— Доброхоты! Радетели! Кормильцы! — возглашал громогласно игумен Нектарий. — Прошу покорно откушать! Потрудились! Обитель славит вас и вместе с вами ликует! Слава отцу и сыну и святому духу! Многая лета труженикам православным христианам!

Игумен давал знак Лаврову. Вася и Шурка любили петь многолетие. Звон камертона. Лавров поднимал высоко руки, как он делал, когда нырял зимой в прорубь в банные дни, резко бросал их вниз, и хор ревуче многолетил.

Бульк, бульк... — плескалась мещеринская водка в четвертях. Четверти плыли над головами много и жадно ужинавших жнецов. Скотницы разносили огромные чаши с капустной и картофельной похлебкой, с кашами, со сладким луковником. Деревенские молодцы с молчавшими покуда тальянками стояли кучами недалеко от столов. Девушки принимали от монахов стакан с водкой, подавали знаки молодцам, те стремительно подбегали и наскоро опрокидывали разбавленное водицей мещеринское зелье.

Шабашили. С громом и треском качались столы. Народ подымался. Монахи исчезали, точно их по ошибке жнецы и жнеи скушали вместе с кашей и луковником.

Вдоль монастырских стен по широким дорогам, возле стыдливо закрытых ворот начиналась веселая и пьяная тальяночная топотня, песни, драки...

Девки и бабы шли в разудалую частушечную дробь:

Шила милому кисет,
Вышла рукавица,
Меня милый похвалил:
— Какая мастерица!

Рядом другой табунок отплясывал под свою гармонь:

Я сидела на комоде.
Шила юбочку по моде,
На боках карманчики,
Чтоб любили мальчики.

Молодцы не удавали. Они скакали в облаке теплой и пухлой пыли, словно вытряхали на мельнице из мешков черную муку, и неистово голосили:

Серы уточки летели,
Во все горло крякали...
Мы с миленком целовались —
Только щеки брякали.

Рядом, облапив девок, озорничала другая артель.

Как на речке, на ручью
Целовал не знаю чью,
Думал — в кофте розовой...
Вижу — пень березовой.

Не выстояли перед общим весельем даже пожилые бабы и мужичьё с бородами. Знакомый Васе школьный сторож, запьянцовский красконос Федя, почему-то прозванный ребятами „чуланом“, отчебучил свою песню:

На столе лежал арбуз,
На арбузе муха.
Муха злится на арбуз,
Что не лезет в брюхо.

Не забыли монахов-хозяев и послушников. С помочью нагрузились из остатков и они. Несколько смиренных иноков откуда-то выбрели в самый разгул и, подхватив подрясники, заскакали на дороге:

В огороде у забора
Два подкидыша лежат:
Одному лет сорок восемь,
А другому пятьдесят...

Пылили до полночи, унося за собой в мрак полей голосистые, смирающие вдали песни, нытье тальянок, топот расходившихся во-всю ног...

Вася записал новые для него частушки-коротушки. Но только он запел и топнул раз ногой в мезонинной светелке, вызывая Шурку на плясовую, папа уже позвал вниз.

— Новое дело! — пренебрежительно бросил Федор Степанович. — Плясать, дурак, у меня над головой выдумал? Песни дурацкие петь? Наслушался вчера! Ну, так я тебе говорю, разгильдяю: довольно, забудь! Пой своего короля. Этот и не больно складен, но все же не деревенщина!

Вася не посмел открыто возразить, но втайне усмехался: он и без записи помнил понравившиеся ему частушки. Отец был бессилен вытравить их из памяти.

Мальчика одергивали на каждом слове, оспаривали каждый его поступок, редко Вася угождал отцу своим поведением. Мальчик научился укрывать свои чувства и переживания. Он умел уже разбираться в окружающем, любить и ненавидеть его, отбирать хорошее и быть недовольным дурным.

В Рябинках в году три ярмарки: на благовещение, на петров день и на воздвижение креста. Ярмарки по пяти дней. В подторжье приезжал купец Шевелюхин с тремя взрослыми сыновьями. В канун подторжья вся мещеринская семья, кроме папы, выбиралась из кабака в странноприимный дом. Мещеринские нижнюю и верхнюю комнаты занимали хозяева; они спали на папиной и ребячьей кроватях, завладевали всем имуществом кабатчика.

Раздолье пожить без отца! Раздолье не оглядываться взапятки, в страхе увидеть папу! Но одновременно ненависть к купцам Шевелюхиным. Они выше и сильнее. Папа побеждал всех, кроме Шевелюхиных. Он беспокойно торопил маму:

— Укладывайся, укладывайся живее! Неровно раньше времени прикатит. Велено вычистить комнатушки и проветрить от жилья.

Игумен Нектарий давал лошадь. Она стояла у кабака и поджидала кладь. Мама всегда печально бормотала:

— Бездомные мы какие-то в эти проклятые ярмарки. И чего Шевелюхину не жить бы в монастыре? Гляди, проживется у Нектария в палатах? Дорого, видишь! А тут бесплатно. Три копейки сбережет. Сколько даровой посуды набьют, табачищем стены продымят, нагадят в каждом углу. Не комната делается, а второй кабак. А мне потом мой и скреби скребком...

Мальчик рано понял унизительность этих ярмарочных переездов, и негодование клокотало в его маленькой, тщедушной груди. Монахи и послушники растравляли его.

— Иди, Васька, к нам в монастырь насовсем, — издевался старец Нафанаил. — У тебя Шевелюхин глава, у нас Нектарий. А над Нектарием повыше шишка — сам архирей. Я хоть без толку, а могу архирею на Нектария жалобу подать, а на Шевелюхина некуда. Вытряхивает вас — и баста! С-сироты! Келейку тебе дадим, Васька!

Редкостное ярмарочное зрелище, с балаганами, каруселями, качелями, с тысячами цветистых сарафанов, платков, шалей, с тысячами ржущих лошадей, вытаптывающих поля вокруг, померкало в блеске. Точно рывун-ветер срывал с него таинственное покрывало, и обнажалась грубая правда Васиной жизни, которою распоряжался чужой дядя Шевелюхин, распоряжался, как хотел: мог выгнать маму с сестренками из низу, а Васю с Шуркой — из мезонинной светелки, мог оставить. И не оставлял. Не помогали и Шуркины нарядные брюки и модный с белым чехлом картуз.

Вася пробирался с заднего хода в кабак, чтобы повидать отца и получить с него денег на необходимые закупки сластей, пряников, рожков, халвы. Папа давал каждый день по двугривенному.

В кабаке были ор и шум, как на ярмарке, та же толкотня и давка, воняло водкой, дымом, гарью, закусками. Звенели стаканы, плескалась и булькала в бутылках и стаканах

водка, звенели медяки, серебро. Папа худел с подторжья: на ногах за стойкой — двадцать часов, а ночью перекачка водки в дубовую бочку, подготовка к торговому утру.

— На, — поспешно совал папа монетку, — не шляйся сюда больше. Скажи матери — пусть она вам дает. Иди, иди! Хозяин увидит, он не любит!

Вася улавливал тревожный взгляд отца, обращенный на закрытые двери комнатушки. Мальчик вспыхивал от стыда и боязни показаться на глаза хозяину.

На ярмарке забывалась обида. Пахучие ситцы, вкусные шипуны-пышки, сладкий медовый запах палаток с пряниками, леденцами, карамелью, винными ягодами, вяленой и сушеной грушей — покоряли все чувства и все неприятные мысли. Они всплывали позже, после закрытия ярмарки, в сновидениях...

Веселая и шумная ярмарка с сотнями незнакомых купцов, с приезжими помещиками в синих поддевках, в чесучевых и белых парах, а с ними барыни и барышни в легких кисейных платьях, в хвостатых шляпах, какие-то военные, — все это сборище и сливалось с тысячами простого народа, отстаивало вместе обедни и вечерни, толклось между торговых рядов и в то же время держалось отдельно.

Вася разглядывал этих людей и с клироса и на улице. Он безошибочно определял их: это игуменские гости.

Они высовывались из окон игуменских покоев, выходили на балкон, лазили на колокольню, бродили по ризнице, гуляли в саду, они первыми подходили в церкви к кресту.

Среди них мальчик замечал озабоченную огромную лошадь — купца Шевелюхина. Васе нравилось, что кабацкий хозяин здесь был совсем другой, чем в кабаке. Там он тяжелоступ и неприступен, а здесь и ласковый, и вертлявый, и даже низко кланяется.

Мальчик видел и понимал, что на ярмарку собирались совершенно разные люди: одни явно властвовали над другими. Хотя Шевелюхина Вася ненавидел и презирал, но все же ему

больше нравилось гоститься с игуменом и быть вместе с этими красивыми, нарядными, чистенькими, чем с неряшливыми деревенскими, тащившими на себе узлы с покупками, чем с бабами-скотницами, целыми днями неопрятно жевавшими пряники, и даже с монахами, должно быть, опять же маслившими свои гривы только для этих знатных.

Федор Степанович незадолго до какой-то из ярмарок положил перед мальчиком „Сельский вестник“ и мечтательно сказал:

— Видишь вот эти клеточки? В них разные чины. Называются эти чины „табель о рангах“. Будешь хорошо учиться, тебе дадут чин. Я чина не выслужил. Я податного состояния. А ты прилежанием в господа̀ попадешь. Понял, дурак? Ежели и не в господа, то в чиновники. И будут тебя называть: Василий Федорович Мещерин, коллежский регистратор али губернский секретарь, личный гражданин. Так обозначат и в паспорте. Никто мужиком не назовет. Не кабатчиков-де сын Мещерин, а сам себе с усам. Хорошо?

Знатных ярмарочных людей Вася считал коллежскими регистраторами и губернскими секретарями. Желание отца и сына совпало. Мальчик поделился своими мечтами со старцем Нафанаилом и с Лавровым. От тех пошло дальше.

— Ты, Васька, — с притворной серьезностью подзуживал Нафанаил, —ладь прямо в дворяне. Отец твой больно скромен. Чиновники маленькие — все нищие. Ты, Васька, не с того конца начинаешь. Ты денег добудь в жизни гору. За деньги чинов себе накупишь, они недорого и продаются, медалей, орденов. Увешивай, знай, грудь, ровно иконами божницу. И в писатели не ходи. Писателю, не будь у него поместья, без денег тоже туго. Он вроде нашего брата под игуменом-хозяином ходит. Одни деньги, Васька, главное в жизни. Деньги добудешь — до всего ход. Купец да богатый дворянин первая спица в колеснице. Попишки там, игумны, архимандриты — это слуги, это помощнички! Им — чего из кошелька вывалится!

Вася охотно соглашался стать богачом. Он даже принялся копить выдаваемые папой пятаки, продавал выигранные костыги ребятам на копейку двадцать штук, готов был воровать... Только негде. Федор Степанович после истории с рублем всегда держал на запоре денежный ящик под стойкой.

Однако мальчик оказался не прочь помечтать о богатстве, а деньги его не любили и скоренько поступали в мелочную лавку Владыкина.

Ярмарка кончалась под колокольный звон к поздней всенощной. Лавки в рядах начинали закрываться. Повсюду наизготовке дожидались подводы под недопроданные купеческие товары.

Скрипят телеги. Ржут кони. С лязгом и звоном разбирают карусели. Ребята на последние гроши раскупают кустики из красных и синих детских шаров, колеблемых ветром над головами.

И снова в Рябинках молчаливо и уединенно. Только скачут мимо редкие пары и тройки, ползут тихоходы мужицкие обозы. После пасхи мужики с котомками побрели на отхожие промысла. На тропках канав остается скорлупа от крашеных пасхальных яиц. Зимой, в ноябре гонят рекрутов по большаку, и они стараются разгромить кабак. Папа запирает кабацкие двери, берет в руки скалку и мрачно стоит за дверями, поджидая недругов, если бы они сломали засовы. О ставни, о двери стучат кулаками, палками, покуда не надоест.

Проносят чудотворную монастырскую икону со сбора. Несметная орда баб и пустоволосых мужиков, в поту и в пыли, тащит тяжелую киотную усыпальницу с царицей небесной. Игумен Нектарий с духовенством в ризах, с золотыми металлическими хоругвями, с фонарями, с семисвечниками дожидается ее в монастырских воротах. Так по чину надо встречать монастырскую домоправительницу. Она с петрова дня до успенья ходит из деревни в деревню по древнему Кирилловскому тракту, собирая мужицкие копейки на украшение обители.

В тех же воротах со всем монашеством, в тревоге и бледноте, встречает игумен Нектарий объезжающего епархию архиерея. Тогда скачут мимо кабака монастырские верховые и кричат:

— Выехал из Евстигнеева!

Это за три версты. Но уже раскачивают язык у большого колокола. И пошел встречный звон...

За длинной всеночной седенький архиерей Павел Обнорский, горячка и кипяток, читает Евангелие. Дьякон Агафодор криво держит книгу, архиерей сердится, тычет краем Евангелия дьякону прямо в лицо... Вася видит, как Агафодор покачнулся, из рассеченной губы сочится кровь; дьякон незаметно слизывает ее и прячется от народа за раскрытый серебряный сундук Евангелия.

И снова Рябинки пустынны, точно выморочные. Жизнь остановилась, как сломанный маятник. Владыкинский Каквас хозяйничает на дороге.

Он же заставляет ожить ненадолго Рябинки.

У Федора Степановича пропала бесследно кошка Мурка. И Вася, и Шура, и папа обыскали весь монастырь, ряды, чердак в кабаке. Нигде!

— Будет искать, — решительно сказал Федор Степанович, — заведем другую. Не плачь, Васютка. Да и не верю я тебе, что любишь Мурку. Любил бы, не дразнил ее и не дергал за хвост, пока жила кошка с нами. А теперь разнюнился. Она от тебя и ушла. Не захотела терпеть мук. Чорт с ней! Подумаешь, беда и потеря какая!

Но через день Васе пришлось затаиться за углом в пустых ярмарочных рядах. Папа бродил тут же. Он ловко лазил из одной лавчонки в другую, отдирал щиты, заглядывал под пол и тихонько, ласково звал:

— Мурка! Мурка! Кис-кис!

У мальчика сладко и тепло сжалось сердце: отец звал Мурку со слезами на глазах.

И Мурка нашлась. Она залезла в будку Какваса, принесла

пятерых котят, а хозяин помещения дневал и ночевал около. По нему и заметили неладное в собачьем жилье. Особенно, когда Каквас яростно кинулся на бродячую собаку, заглянувшую в окошечко будки. Каквас проспал врага, но и вознаградил же он себя за оплошность, изорвав нахальную собачонку в клочки. Каквас никого не допускал к будке и лаял на самого Владыкина.

День на третий, на четвертый появилась Мурка и стремительно понеслась в кабак. Владыкин побежал за нею следом, а Каквас остался сторожить котят.

Он так и не залезал в будку, покуда Мурка по одному не перетаскала за шиворот своих подросших детей в мезонинную светелку.

Рябинки зашевелились. Смотреть и хвалить Какваса приходил сам игумен Нектарий.

Тихо. Звонят. Шумит озеро. Раз в неделю приходит пароход и мешает Увару целый день удить. Отвальный свисток слышен глухо в Рябинках.

Вася принес похвальный лист из сельской школы. Кончил ее. Учитель Чугунов подарил ему книгу в желтом переплете, на корешке которой знакомые три слова: „Александр Сергеевич Пушкин“. Вася узнал после, что учитель купил на Благовещенской ярмарке другого Пушкина и поставил его на место школьного.

Лето. Солнце. Зреют на земле хлеба, ягоды, яблоки и люди. Вася сделал на косяке еще одну зарубку: она подкрадывалась к Шуркиной.

ВЕРХОВАЖЬЕ

Село Верховажье, как оленьи рога, кужляво и путано. Оно на высоком берегу крутонравой реки Ельмы. Широкий паром на канате. На той стороне большак сразу ныряет в мелколесистые остатки прежнего во́лока. В Верховажьи земская почтовая станция, рекрутский стан, двухклассное министерское училище и кулаки-прасолы, купцы, кожевенники, маслоделы, торгаши крупной и мелкой бакалеи.

Училище двухэтажное, широкое, опушка у него сизо-серая. Такие бывают голуби. Это единственный в Верховажьи дом с большими, городскими окнами. На крыше жестяной петух-флюгер. Училище на краю села. Темнозеленый сквозной тын городит десятину школьной земли. Яблони, березы, малина и крыжовник. Пчельник с желтыми колодами. Пруд — как десятисаженная круглая пчелиная сота. Бока до дна выложены крупным булыжником. Родник. И вода ясна, точно свежий мед в соте. Это живорыбка. Сюда заведующий школой Владимир Матвеевич Набалов пускает живых щук, лещей и окуньё. Рыбаки привозят улов живьем.

По следам Шурки Федор Степанович поместил Васю на хлеба́ и на жительство к Набалову. Сначала папа доставил в подарок супоросную свинью. Она развела хрюкающее на всю школьную десятину семейство. Вася со всех ног мчался к пруду от рыбацкой телеги с широкоподдонными корзинами

и бережно погружал рыбу в незамутимые, даже в пору дождей, воды. Набалов наметкой вылавливал рыбу к обеду.

Во втором этаже, окнами на большую дорогу, сельская и двухклассная школы. Две комнаты. Широченный светлый коридор во весь дом отделял заднюю половину. То квартира Набалова из нескольких небольших комнат.

Внизу, под ними жил другой учитель — Николай Дмитриевич Фирлей-Канарский. У него два горба на спине. Одни из ребят называли учителя Верблюдом, другие — Двухснасным.

Против жилья Фирлей-Канарского похаживал старичок на ножках кренделем, в полотняном фартуке, с засученными по локоть рукавами. Он похаживал среди десятка столярных станков, похожих на конские стойла, распиленные в ширину надвое. Душистая стружка шуршала, обвиваясь вокруг сапожков Чичагова, и волочилась за ним, свертываясь в колечки.

Чичагов — мастер-столяр, обучающий двухклассников столярному ремеслу.

— Ты не столяр, а сапожник, — услышал Вася в первую же неделю своего жительства у Набалова зычный голос последнего на лестнице, ведущей сверху в столярную, — ты пятнадцать лет нам на экзамен одни шкатулки делаешь да дурацкие, никому не нужные сундуки. Ты ни одного столяра из ребят не мог подготовить. Они только лес портят.

Клавдия Сергеевна, жена Набалова, маленькая, кругленькая, толстенькая, швырнула шитье на диван и стремительно подбежала к дверям.

Вася все это видел из соседней комнаты, где он жил с семидесятилетней матерью заведующего, Александрой Павловной. Сморщенная и белая, точно березовая губа, бабушка с поларшинным чубуком затянулась и сказала:

— Чичагов опять пьян.

Старуха подумала.

— Третьего дня — тоже. Пропил казенный фуганок.

— Володя! — раздался умоляющий голос Клавдии Серге-

евны. — Володя, ты ужасно гремишь! Ты забыл, как это дурно влияет на твой больной желудок?!

— Пьяница! — вопил Набалов. — Я на цепях буду держать инструменты! Я на тебя колодки надену!

Внизу, под лестницей тоненько и визгливо плакал человек, и через одинаковые промежутки времени что-то неуклюже валилось и поднималось.

— А, — выходил из себя учитель, — ты в ноги мне кланяться?! Ты пятнадцать лет кланяешься! Ты покорностью меня хочешь взять?! Не-ет, н-е-т, не-ет! Достаточно! Достаточно я от тебя натерпелся! Н-не прощу! В-вон! Д-долой!! Нет! Шалишь!

— Володя, оставь его! Пускай проспится, — уже тянула за рукав мужа Клавдия Сергеевна. — Ему это — как с гуся вода, а ты будешь страдать! Опять грелки, горячие бутылки, бессонная ночь!

Бабушка запыхтела в свой черный чубук, лукаво улыбнулась и заговорщически шепнула подглядывавшему через дверную щель в коридор Васе:

— Ну, теперь наши колобки покатятся из комнаты в комнату. А и виновата во всем она: давно бы надо выгнать Чичагова, а он ей, святоше, поплачется на свою судьбу, — бабка с сердцем поставила дымящуюся трубку в уголок на окно и вполголоса насмешливо протянула: — а Клавдинька у нас милосердная! Добродетельная христианка! Жалко пьянчужку! Букашечки, таракашечки жалко! А Вольдемар — каша и квашня. Она скажет слово в защиту, он и простит вора, себе на шею...

Низеньких и полненьких, одинакового роста Набаловых, по ребячьему прозванию, именовали „колобками“. Вася уже понимал взаимное недоброжелательство свекрови и снохи: обе они ревновали Владимира Матвеевича друг к другу, и каждой хотелось быть при нем главной.

— Пошел в свою берлогу! — гаркнул из всех сил Набалов и, почти плача, вбежал в квартиру, чтобы долго и неутомимо

суетиться, шуметь, продолжать бранчливое распекание отсутствующего Чичагова.

Клавдия Сергеевна следовала за ним по пятам с рюмкой и напрасно предлагала выпить какую-то желтенькую мутную водицу.

— Дай кошке! Дай кошке! Она тебя позабавит! — почему-то долго отталкивал лекарство Набалов, пока жена не добилась своего; муж проглотил, фыркнул и сунул обратно рюмку. — Какая гадость! Л-лекарство домашних врачей!

Поздно вечером Вася, уже с нетерпением дожидаясь ужина, вдруг услыхал откуда-то тягучую, неясную и жалобную песню.

— Это Чичагов поет, — сказала старуха с трубкой. — Он после брани Вольдемара ложится спать, через три часа просыпается, потом начинает стругать. Если водка не вся выпита, он ее допивает и поет песню. Одну только и знает. Беспутный человек! — воскликнула старуха с большим осуждением всякого беспутства на свете и даже со злобой добавила: — А хитрец! Он чтобы к уроку показаться пьяным — ни-ни! Всегда на месте!

Вскоре Вася, дружа с Чичаговым, подтягивал ему. Пьяный столяр лежал в копне стружек. Бутылка была спрягана тут же. Это на случай появления Владимира Матвеевича. Чичагов пел с закрытыми глазами:

Ох, вы, славные русские кислые щи,
Вы медвяные щи, пузырные!
Для чего вы, щи, скоро киснете
Середи поры-время теплого?
Что поутру вы, щи, запенилися,
О полудни, щи, поспевали вы,
А при вечере и скиснули.

Ах, ты, молодость, моя молодость!
Ты разгульная и веселая!
Для чего скоро, ах, проходишь ты
Середи житья да привольного?
Что давно ли то было времечко,

Как я молод был, молодешенек,
И лёгок и бодр, будто добрый конь.
А теперь я начал уже стариться:
Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы, —
По горе коньку, знать, шажком итти...

— Вася, милай! — восклицал Чичагов, обливаясь слезами. — Ни отца у меня нет, ни матери! Сирота я! Жана — у другого. Ни кола, ни двора у меня! Столяр я с рубанком да с фуганком, и больше никаких! Ка-ак тута, милай, не потешить себя водочкой? А Набалов меня ремизит. А ведь я под Набаловым на аршин вижу! Я дале его в жизни вижу! Он ребят обучает: аз, буки, веди, глагол, а я ребят на корм в жизни ставлю, руки у них золотые делаю. Сто-ля-ры!

Эх! Проскакал конек поле чистое,
Доскакал конек до крутой горы,
По горе коньку, знать, шажком итти...

И вдруг Чичагов остолбеневшими и недоуменными глазами долго и приметно разглядывал мальчика.

— Ты кто? — кричал он. — Как твоя фамилия? Ты... чорт в образе младенца?!

— Я... Вася, — отодвигаясь, произносил мальчик.

Чичагов начинал хитрить. Он легонько тянулся рукой к фуганку, закрывал один глаз, следя другим за неподвижным Васей. Но не тут-то было. Мальчик успевал выскочить.

— Свят, свят! — бормотал столяр в страхе. — Да воскреснет бог и расточатся врази его!..

Чичагов поспешно доставал водку, делал несколько глотков, оглядывался во все углы — и внезапная улыбка разливалась по его лицу.

Доскакал конек до крутой горы,
По горе коньку, знать, шажком итти...

Вася смело входил и садился на свое место: все повадки Чичагова были изучены.

Но однажды мальчик подобрал выброшенный Клавдией Сергеевной лисий хвост от выношенной горжетки, засунул его в карман и явился к пьяному Чичагову. Когда тот дошел до отупения и увидел перед собой чорта, Вася юркнул вон и нарочно защемил хвост в дверях.

Чичагов так страшно и дико взвыл, что мальчик опрометью кинулся наутек, забыв о хвосте. Столяр вышиб раму, выскочил в окно и в ужасе понесся вдоль села, покуда ошалелому старику не подставили ножку ямщики у земской станции и не схватили его. С хохотом и пинками опрокинули кстати на Чичагова кадушку с дождевой водой.

— Тону, тону! — биясь на земле, позвал на помощь Чичагов, но тут же растерянно опомнился и замолчал.

Фирлей-Канарский жил напротив столярной. Чичагов досаждал ему больше других. Николай Дмитриевич владел секретом усмирения старика. О секрете никто не знал, покуда Вася не открыл его и не рассказал Александре Павловне. Фирлей-Канарский отличался редким терпением. Он только в крайности ёжил уродливыми плечами и покидал свою комнату.

— Конёк-горбунок! — орал Чичагов, встречая Фирлей-Канарского. — Верблюдик в брючках! Двухспасный барин!

Учитель молча подходил к старику и мокрым шлепком клал ему на лысую голову полотенце.

Чичагов вздрагивал, как будто захлебывался от стекающей с полотенца холодной воды, мгновенно смирялся и в совершеннейшем оцепенении смотрел в глаза горбуну. Когда Фирлей-Канарский заставал Чичагова в картузе или шапке, он сначала снимал их, бросал на стружку, а потом уже прикладывал компресс.

— На сегодня достаточно! — приказывал горбун. — Не слыхать больше?

— Не слыхать, — соглашался Чичагов.

— Мне надо поправлять тетради учеников?

— Надо.

— С меня спросят?

— Спросят.

— Ты мне мешаешь?

— Мешаю.

— Понял?

— Все понял, — торопился, расцветая неожиданно от удовольствия, старик. — Вот твое и полотенчико! Просветлело у меня в мозгу.

Чичагов дрожал от озноба.

— Ложись и не вставай, — повелевал Фирлей-Канарский, — я тебя проверю. Станешь бродить по мастерской, я услышу — и тогда приду с палкой.

Вася узнал, как лет десять назад Фирлей-Канарский обломал о Чичагова палку, — с тех пор старик всегда послушен горбуну. Чичагову дозволялось только безнаказанно бранить укротителя.

Вася первый раз жил с чужими людьми.

Федор Степанович, прощаясь с Набаловым в каждый свой наезд, подчеркнуто говорил:

— Владимир Матвеевич, будьте отцом родным, порите вы этого шелопая, как сидорову козу. Только благодарность вам от меня. Дома от рук отбился. А хочется человеком сделать.

— Сделаем! — гремела набаловская труба.

Мальчик никак не мог ни понять, ни объяснить себе, откуда такой голосище у Колобка?

— В ежовые рукавицы! У меня карцер для таких молодчиков, — делал грозное лицо Владимир Матвеевич. — Я голодным пузом лечу от шалостей. Он уже зна-а-ет!

Так установилось, что Вася провожал отца по лестнице до калитки.

— Сидел? — любопытствовал папа.

— Да.

— За что?

— Уроков не знал.

— Почему?

— Не мог выучить.

— Долго сидел?

— Целое воскресенье.

— И... не кормили?

Вася заметил, что отец недовольно нахмурился. Мальчик замялся.

— Отвечай! — крикнул папа.

— Мне Александра Павловна по секрету... всего принесла.

Вася с недоумением наблюдал папу:- он и просветлел и одновременно нахмурился.

— Значит, Владимира Матвеевича и Клавдию Сергеевну обманули?

На это не нашлось ответа.

— Хорошо, потом поговорим, — пригрозил отец, — неохота ворочаться, чтобы вывести тебя и бабку на свежую воду. Вдругорядь приеду, я вас проучу.

Мальчик ожидал всего, но только не такого оборота. Надо было выручать Александру Павловну, помогавшую Васе в темнице. И он сразу решился:

— Я... сам...

— Как сам? — не понял отец и заинтересовался.

— Федору Степановичу почтение! — прошел мимо и радушно поклонился Чичагов. — Чего эт наследника строгаешь? Ни за што, поди, ни про што? Парень у нас Вася золотой. Поручусь!

Федор Степанович остановил Чичагова, взял его под-руку и немного отвел от сына в сторону.

— Подожди меня за калиткой, — приказал он Васе.

Мальчик охотно вышел. Встреча отца с Чичаговым была понятна: папа давал столяру рубль за обучение сына столярному делу, а Чичагов этого рубля дожидался во всякий приезд Мещерина.

— Обучу лучше не надо! — слышал мальчик за калиткой торопливые и ликующие возгласы Чичагова. — Екзамен сдас на полную пятерку. Как говорю, так и будет. Прямо возле

кабака твоего открывай столярную мастерскую. Мастером выпущу. Он у меня и нынече лучше лучшего. Парень — сама сметка. Фуганит али рубанком очко мне вперед скоро дас.

Федор Степанович простился и вышел к сыну, внимательно посмотрел на него, как будто припоминая прерванный разговор, действительно припомнил его и сказал:

— Пойдем отсюда. А то Чичагов опять помешает. Проводи меня по улице до Ельмы и рассказывай.

Пошли.

Мальчик не знал, как начать.

— Карцер у Владимира Матвеевича в кладовке?

— Да.

— Это рядом с квартирой, по коридору?

— Да.

— Там тепло? Ну да, печка выходит туда одним зеркалом...

— Холодно, папа, — прибеднился с хитрецой мальчик, — я в шубе сидел.

— Так тебя и следует, — не посочувствовал и не вполне поверил папа. — Откуда холодно, когда одна стена теплая и кладовка среди дома? Выдумываешь! Обманываешь!

В конце концов где-то недалеко от Ельмы мальчик совсем обелил Александру Павловну.

— В кладовке, — покраснев, сказал Вася, — стояг стеклянные банки с вареньем и... с рыжиками и с капустой...

— Ах ты, негодяй! — прошептал в негодовании отец. — Чем же ты достал? Прямо рукой?

— Рукой.

— И тебе не стыдно добрых людей? После твоей грязной лапы они будут кушать!

Долгое и тяжелое молчание прекратил подплывший к берегу паром. Отцу надо было переезжать на тот берег.

— А еще тебя Чичагов хвалит! — пренебрежительно прошептал папа, прячась от людей, спешивших на паром. — Иди, иди, мазурик, домой. Вгонишь ты меня в гроб своим поведением. Я вот опять буду в Верховажьи, я тебе тогда

припомню. Никому, смотри, не болтай, воришка, как ты в чужие банки лазил. И не сметь больше никогда лазить!

Мальчик не стал глядеть на отплывающий паром: отец нарочно повернулся к сыну недовольной спиной. Вася, тая усмешку на губах, весело поскакал вдоль Верховажья.

В действительности мальчик пользовался и вареньем, и соленьем, и приносами бабушки с чубуком.

Васю перестали сажать в кладовку, догадавшись по низко осевшим в банках запасам о сытном и вкусном питании заключенного. Теперь мальчика запирали в класс.

Осталась на свете одна Александра Павловна. Старуха не забывала малого своего друга. Она шлепала по коридору туфлями и тащила под шалью съедобное. Все было предусмотрено. Из соседнего класса двери можно раздвинуть, чтобы просунуть в щель передачу.

— С...с...с... — слышал знакомый шопот мальчик, — на́, ешь скорее... не накроши... Клавденька востроглазая. Классы метутся после ребят. Чистые. Она живо подглядит. Съедят меня, старуху, за баловство тебе. Ешь да учи уроки. И не будут наказывать, шалый.

Федор Степанович находчиво загладил ошибку сына. В один из зимних приездов он вошел в учительскую квартиру, неся в обеих руках по пудовой пирожнице, да еще поменьше — подмышкой.

— Ах, что вы, что вы, Федор Степанович! Зачем это? — воскликнула Клавдия Сергеевна. — Это лишнее. У нас и своих припасов достаточно.

— Не обижайте, — усмехался папа, не замечая такой же усмешки сына, прикорнувшего в углу. — Моему же озорнику достанется... Он живет у вас, как сын. Лучше! Воспитание благородное получает. Я рад хоть чем-нибудь отблагодарить.

Клавдия Сергеевна между тем помогала Федору Степановичу ставить пирожницы на кухонный стол.

— Осторожнее, Федор Степанович, — в полной тревоге хлопотала хозяйка. — Посуда с мороза делается хрупкой, не раз-

бейте! Никак, это варенье? Слышен запах клубники, малины, крыжовника... И такую бездну привезли! Да нам тут на два года.

Федор Степанович и слышать не хотел об отказе Клавдии Сергеевны.

— Кушайте на здоровье! Варенье зимой вместо летней ягоды.

Вася как будто так сосредоточился за уроками, что не слышал этого разговора. Он что-то усердно писал на лоскутке, готовый в любую минуту сунуть его в пачки трепаных учебных книжек. А писал он с азартом и увлечением только два слова: „Клавденьку разобрало, разобрало Клавденьку, разобрало...“

Заточение в классе с некоторого времени сделалось очень приятным.

Уроки мальчик должен был готовить на глазах у Владимира Матвеевича. Набалов изредка выходил из своей комнаты и проверял усердие нахлебника.

— Я кончил, — нетвердо заявлял Вася.

— Сколько прошло времени? — спрашивал Колобок.

— Два часа.

— Мало. Посиди еще полчаса. Повтори выученное, и можешь отправляться на улицу. К ужину — домой.

Это называлось проверкой.

В дни наказаний Вася освобождался от докуки и опеки. Классное окно, выходившее на небольшие три окошечка в соседнем двухэтажном доме прасола Курочкина, приковывало. Мальчик через силу придвигал сюда тяжелую парту, ставил ее боком, залезал на скамью коленками и на подоконнике раскладывал книги и тетради.

Саня Курочкина, маленькая, пестренькая, — таким бывает бледнорозовый ситец горошком, — ученица трехклассной школы второго отделения. Но на утреннюю молитву перед началом занятий сходились все пять классов. Молитву читали попеременно.

— Динь-динь! — передразнил Вася голос Сани Курочкиной в одну из больших перемен, носясь по коридору вперегонки с товарищами.

Саня покраснела и взглянула сердитыми глазами.

— Курочкина, молитву! — сказал однажды утром Владимир Матвеевич.

И вдруг в рядах ребятишек произошло замешательство.

— Что-о?! — крикнул Набалов. — Ты молитвы не знаешь?

Саня Курочкина вспыхнула, вышла наперед перед иконой, произнесла с дрожью два-три слова и отчаянно зарыдала.

— Останешься после обеда! — побагровел Колобок. — Не знать молитвы во втором отделении? Читай следующий!

Саня весь день просидела безвыходно в классе, все перемены. Вася заглядывал на нее несколько раз в щелку дверей, позвал ребят с одной парты с ним; они пронеслись мимо Сани, громко топоча, взлягивая ногами, изображая коней, высовывая языки...

Но почему-то Вася, с бьющимся сердчишком, едва дождался утра, чтобы увидать снова Саню Курочкину. Так и начались мгновенные, таинственные, украдкой, с огнем на щеках, переглядывания.

Саня и Вася теперь не могли сказать друг другу ни одного слова. Мальчик весь превращался во внимание, розовел, едва слышал за тонкой перегородкой диньдинный голос Сани, отвечавшей у доски. Владимир Матвеевич грохотал:

— Сто яблоков разделили между тремя мальчиками, двум девочкам досталось в три раза меньше. Сколько...

— Мещерин, — язвительно спрашивал Фирлей-Канарский, — ты что мух ловишь? И глаза у тебя, как у пьяного, а уши оттопырены, как у некоторого... у некоторого... — учитель, морщась, не договаривал. — Повтори, какие последние слова я сказал!

Вася вскакивал, сотрясая парту и неловко гремя откидной доской. Фирлей-Канарский неприятно вздрагивал, и пиджак у него на горбу двигался, как неуклюжий армяк.

— У некоторого, у некоторого, — робко бормотал мальчик, — вы сказали... у некоторого... у некоторого...

— Осла! — неистово завизжал Двухснасный.

Ребята предательски и угодливо и громко засмеялись.

— На колени к доске! — вопил учитель. — Двойка за внимание. Молчать все! Что за смех? Кто позволил смеяться? Шаров, Купреянов, Осмеркин — туда же! По-двое у каждой доски!

Фирлей-Канарский, бледный, с трясущейся челюстью, с глазами, горевшими странным блеском, точно в глуби их вздулся настоящий красный огонь, распределял наказанных, переставлял с места на место и долго не успокаивался.

— Три яблока... — слышал какие-то обрывки ответов Сани мальчик, — две девочки... нет, один мальчик больше... — нежное, тонкое динь-динь звучало в сердце и заставляло его замирать странным беспокойством.

Мальчик не решался сказать Сане о своих чувствах почти до рождественских каникул. А тут в последние недели, запираемый через день в классе, он бесповоротно осмелел.

Саня увидала его в окне. Она выглядывала из-за белой занавески и тотчас пряталась.

Вася с дрожью вырвал лист из тетради. В три четверти листа по-печатному, задыхаясь, написал одно слово, каждую букву отдельно:

„ЛЮБЛЮ“

Написал и приклеил к стеклу. Саня вдруг перестала выглядывать из-за занавески. Прошло с полчаса. Мальчик, как истукан, но только со слезами на глазах, стоял позади наклейки и обиженно ждал ответа.

Вася испугался молчания. Ему было непонятно стыдно и больно. Но внезапно высунулась маленькая беленькая рука, одна рука, и наклеила на стекло крошечный бумажный лоскуток. Вася ничего не мог прочесть на нем, он видел только белое пятнышко. Однако оно значило для Васи больше, чем написанные им по-печатному огромные буквы.

На другой день Саня не пришла в школу. Вася это заметил тогда, когда решился поднять на молитве глаза от полу. Щеки мальчика рдели, как раздавленные на белом ягоды.

Не до занятий. Фирлей-Канарский, столовавшийся у Набаловых, резко и озлобленно сказал за обедом:

— Он лентяй. Он штаны протрет на коленях. Он отстает от всех!

— Вася! — сразу же загромыхал Владимир Матвеевич из соседней комнаты.

Александра Павловна с мальчиком обедали отдельно. Вася поспешно оставил ложку. Старуха нахмурилась. Она дружила с мальчиком так, как дружил бы с ним одногодок.

— Ты знаешь, у кого живешь? — закричал Набалов. — Ты лодырь! Воспитанник заведующего не сидит в классе, как все ученики, а... ползает по полу. Дрянь, паршивец, нерадивый мужлан! — пришел в ярость от собственного голоса заведующий, и Клавдия Сергеевна не успела удержать мужа. Он почти подпрыгнул, схватил со спинки стула полотенце и несколько раз с силой опоясал мальчика. — На неделю под запор! Без воздуха! Без прогулок! Я тебя в кабак отправлю!

Какой казалась прекрасной верховажская жизнь без папы, но только сначала! Мальчик без особого труда разобрался, что жил он не просто у чужих людей, но эти люди без всякого укрывательства презирали его и считали не равным Леньке и Борьке — мальчикам земского начальника Леонида Николаевича Орловского.

Это высокий, с проседью человек, как саврасый конь. У него вставной стеклянный глаз. Чичагов спьяна лукаво подмигивал, прикладывал к глазу пятак и говорил:

— Орла мужички попотчевали в Саратовской губернии. Удружил. Сказывают, больно лютовал. У нас живет на замиреньи...

Ленька и Борька проходили прямо в учительскую комнату, как-то особенно противно шаркали ножками перед Клавдией Сергеевной, и она улыбалась им совсем иначе, чем Васе или

даже папе. Леонид Николаевич на поклон мальчика вращал целым глазом и снисходительно и свысока бросал:

— Здравствуй, здравствуй, нос красный!

Вася чувствовал обиду, что его называли, правда — редко, в горячке „мужланом“. Но зато он вполне одобрял мужиков, выбивших глаз саврасому. Это была справедливая месть, — может быть, за таких же обиженных саратовских мальчиков, как Мещерин. Стало еще больше понятно желание папы сделать Васю коллежским регистратором.

— Мы мужички дурачки, — жаловался и негодовал Чичагов, распивая бутылку и не закусывая, — круглые дураки! Мужик наш, Васька, то громит, то глаз вышибает, то попрошайничает и в ножки кланяется. Ох, и скотинка же он безрогая! Барину на ём, любому барину, Орлу одноглазому, и тому садись в обшарашку и повозничай! Набалов учителишко... В услуженьи у мужика... Обучай, сукин сын, сопляков деревенских! От барина в ём одна бумажка на барство осталась, а ба-ар-рин! И вся земля ему нипочем! Нипочем! Будто выше и человека нет на свете!

Вася старался подогнать запущенные уроки. Он зубрил, ничего не понимая, и тотчас забывал прочитанное. Перекличка белыми флагами продолжалась до потемок. Мальчик только и видел ручку Сани. Девочка упорно не подходила к окну. Изредка она останавливалась где-то в смутной глуби комнаты. Но этого было мало: Вася хотел видеть ее всю, для него одного, а не как в школе, когда Саня пряталась среди других девочек, а те ее прикрывали от мальчика.

Зато в окне появлялся порой Васин недруг Степка, из третьего класса, брат Сани. Мальчики не ладили, несмотря на все попытки Васи помириться с братишкой возлюбленной.

— Жердь! — кричал пронзительным голосом Степка, завидуя высокому росту Васи.

Снести это было выше сил.

— Коротышка! Городок! — делаясь свекольным, отвечал мальчик маленькому непокладистому задире.

Они кидали друг в друга книгами, смятой в комок и смоченной под краном бумагой, а на школьном дворе — снегом, глиной, камнями, чем попало.

Степка делал рожи у окна, почему-то хватался за живот и хохотал, а несколько раз, загнув на спину пиджачишко, взбирался на лавку и прижимал к стеклу маленькие ягодицы в штанишках.

Так, с двойками и с неизвестным письмом к отцу от Владимира Матвеевича, на попутной лошаденке Вася отправился в Рябинки на рождественские каникулы.

Проезжая мимо жилья прасола, мальчик скосил глаза из желтого и жесткого отцовского башлыка на окна любимой. Скосил без всякой надежды.

И вдруг в одном из окон он с трепетом увидал беленькую Саню, как на шкафу у Фирлей-Канарского стоит, выбеленная мелом, большая статуэтка какой-то молоденькой девушки с кучкой волос позади. Вася раскрыл рот, забыл о всякой осторожности, поворотился весь к окну и не сводил с Сани очарованного взгляда. Девочка, не мигая, уставилась на проезжающего и некрасиво сплюснула носик о стекло, так что видны были две растянутые дырки.

Мальчик, вглядевшись, вспыхнул от растерянности и негодования: ему показалось, что Саня смеялась.

Но Вася тут же был вознагражден. Подвода уже проезжала. Мальчик съискоса явственно заметил, как Саня осторожно приложила губки к стеклу, поцеловала его и моментально присела на пол. Видение исчезло...

Мальчик опомнился далеко за Верховажьем. Всю дорогу он зажмуривал глаза, и тогда в сладкой тьме все повторялось сначала.

О набаловском письме с тревогой и боязнью Вася вспомнил в Севастьянове, откуда были уже видны Рябинки. Мальчик долго не размышлял, открыл ранец и вынул письмо. На счастье, мизинец пролез с уголка в заклейку, и конверт открылся непопорченным.

Письмо не сулило ничего доброго: Васю ждало неизбежное наказание вместо радостного свидания с мамой, с монастырскими ребятами и послушниками. И письмо Вася утаил от отца.

На этот раз каникулы показались мальчику бесконечными. Он рвался в Верховажье, вызывая одобрение Федора Степановича, оценившего сыновнее усердие.

Нетерпежку Васю отправили за день раньше. Обычно с побывок дома по праздникам мальчика со слезами увозил отец. А тут папа нашел ненужным свою поездку, раз сын едва дождался конца продолжительных каникул.

Вася выиграл. Теперь когда-то соберется отец в Верховажье, и о письме все забудут.

— Почему ты так рано? — удивилась Клавдия Сергеевна, встречая нахлебника. — И один? Федор Степанович не приехал?

Владимир Матвеевич закричал издали:

— Порка тебе была?

Мальчик всего этого ожидал, подготовился, притворно смутился и почти шопотом ответил:

— Была...

— Не слышу! Громче! — засмеялся Набалов.

— Была, была! — досадливо выкрикнула Клавдия Сергеевна. Она смотрела на мальчика и чего-то ждала от него.

Вася уловил ее взгляд и засуетился, быстро доставая из ранца отцовское письмо. Дома ему папа сказал при прощаньи и несколько раз повторил:

— Тут деньги. Не потеряй. Передай Клавдии Сергеевне. Но не говори ничего о деньгах. Просто передай. Как будто и не знаешь, что̀ в письме.

Мальчик поступил наоборот.

— Вот вам, Клавдия Сергеевна, папа послал деньги за харчи.

— За хлеба, а не за харчи, — неприязненно поморщилась, поправляя, Клавдия Сергеевна.

С письмом как будто пронесло. Был вечер в тусклых огнях и в начинавшейся метели. Вася побежал к заветному окну в класс. Окно замерзло. Мальчик спустился в столярную к Чичагову. Там в окне нашлась маленькая чистая лазейка для одного глаза. В нее Вася увидал красное жилое пятно света в Санином домике. Метель скоро скрыла его и пушистой стеной встала в проулке.

В последний свободный день, перед началом ученья, как только Вася показался на ельменской ледяной горке, ватага школьников встретила его подозрительным затишьем. Мальчик насторожился.

А потом и началось. Вася прокатился на лубяном лыке. Мальчика обогнал на гремящих и свистящих санках Степка Курочкин. Обогнал и свистнул. Артель ребятишек собралась внизу.

— Эй, жердь! — вызывающе кинул Степка. — Слушай, я про тебя песню сложил!

Ребята оживленно закричали и засмеялись. А Степка ухарски сдвинул рыжую собачью шапку на ухо и с ужимками, с приплясом запел:

Санька-капелька идет,
Белой юбкой машет,
Второклассник Васька жердь
У окошка пляшет.

— Люблю! Люблю! — гаркнуло сразу несколько десятков голосов. — Л-ю-б-л-ю! Ха-ха!

Вася без памяти бросился домой. Он на лету усвоил частушку, и она преследовала его.

Мальчик забрался в класс, сел в угол и горько заплакал. Все погибло. Теперь ребята должны были задразнить его. Они уже подготовились. Не может быть, чтобы это подстроила Саня! Тогда зачем она краснела при встречах, и усики ресниц у нее опускались на глаза, чтобы не показать Васе, о чем она думала? А поцелуй в дорогу?.. Мальчик в праве

надсмеяться над Саней, как делают большие ребята, когда девки их обманывают.

Проплакавшись, Вася, в негодовании на Степку, долго выдумывал частушку про своего врага. Посрамить его не удалось: шипела, как известка в яме, ненависть, а в частушке — ни складу, ни ладу. Бросил. Задушевный друг Чичагов тоже не помог.

— Раненько ты в любовь играшь, — серьезно сказал столяр. — Эт дело притчатое. Окол рекрутчины любвишка, там, ребятам в голову приходит. А до того... пожалуй, и драть следовает! Не грамотей, не столяр, а любовь?! Хи-хи! — не удержался Чичагов, пощекотал Васю и провел против шерсти по голове.

Школа неистовствовала неделю. Из боязни учителей, частушку в здании не пели, а шушукали по углам, на лестнице, писали на бумажках и распространяли по партам.

Вася ожесточенно дрался. Он подстерегал одного, другого из своих противников и лупил их ремнем с бляхой. Били мальчика скопом друзья Степки. Но Вася наконец упорством сопротивления победил своих недругов. Битва обошлась ему недешево: мальчик носил под левым глазом шишку, нос был рван и дран царапинами, курточка сразу постарела — много ее шаркали о стены и катали по полу.

Настоящая расплата пришла после. Саня попрежнему любовно взглядывала на молитве и в перемены и на ледяной горке. Вася из-за оконного косяка наблюдал за окошком любимой. Она шевелила занавеской и делала щелку. Наклеивать бумажки боялись оба. Степка сторожил. С улицы подглядывали другие школьники.

Бессловесная любовь распалила мальчика. Он однажды столкнулся с Саней почти наедине. Набалов и Фирлей-Канарский приготовили в классе волшебный фонарь и позвали ребят из коридора в широко раскрытые двери. Вася и Саня отстали и очутились вместе. Праздничный вечер был темен для других. Он для Васи сверкал и сиял, как солнечное озеро

в ветер, — мальчик коснулся плеча Сани и почувствовал сквозь свою рубашку чужое тепло.

Ребята отпрянули друг от друга точно два ударившихся легких камешка. В тесноте и давке у дверей Вася осмелел. Он нашел руку Сани. Пунцовые, светлые и горячие, отвернувшись, держась за руки, они сделали два шага и кинулись в разные стороны.

Это прикосновение к руке Сани вдруг изменило все. Мальчик до сих пор не догадывался, что так, незаметно для посторонних, в какой-то из вечеров с волшебным фонарем можно взять руку любимой и вложить в нее письмо с признаниями. Мальчик решил, что потому Саня и не отняла руки, рискуя попасться на глаза Степке: она дожидалась письма.

Бессловесные чувства были проще и яснее. Вася выкрал из стола Владимира Матвеевича пачку белой бумаги. Но и на целой пачке, оказалось, нельзя высказать того, что хотелось и как хотелось сказать. Мальчик исписал множество листков и перечеркнул их. Не то.

Выручил Чичагов. В клетушке его, за перегородкой внутри мастерской, валялся на полочке письмовник. Столяр принес его из солдат, когда у Чичагова где-то были в деревне родные, и он выбирал по письмовнику нужные ему слова.

Дело пошло быстро. Вася проглотил письмовник в один вечер, остановился на одном письме и тщательно переписал его. Потом он выстриг с последней страницы хрестоматии, которая должна была понадобиться ему в конце года, картинку, изображающую перелет журавлей, наклеил ее в конец письма и подписал под ней одно слово „печаль“ в знак своих сомнений, ответят ли ему на пылкую любовь и не придется ли ему кричать и плакать, как журавлю.

В ожидании удобного случая для передачи письмо Вася таскал в кармане. И выронил. Письмо подобрали. И кто же? Фирлей-Канарский.

— Тише, Верблюд идет! — вполголоса выкрикивал последний из ребятишек, вбегая перед уроком. — Колобок уже пошел!

Двухснасный никогда не входил прямо лицом. Он сначала раскрывал дверь, зачем-то оглядывал коридор и потом уж пятился в класс горбом вперед. В это время за спиной его весь класс поднимал над партами по два пальца закорючками, чем-то напоминавшими двугорбие учителя.

А сегодня Фирлей-Канарский появился с Набаловым.

Тишина середины ночи. Ученики окаменели. Набалов — редкость в двухклассном училище. Два пальца, показавшиеся Васе несоразмерно длинными, уставились на него.

— Жалко, у нас нет гороха, — оглушительно громыхнул Владимир Матвеевич, — на горох бы тебя, Мещерин, поставить!

Вася с ужасом увидал в руках Набалова знакомый листок с полетом журавлей. Мальчик сунул руку в карман: пусто.

— Иди сюда! Стой перед всем классом! Потом поведем тебя на смотр ко мне в школу! — кипятился Владимир Матвеевич. — Может быть, вы, Николай Дмитриевич, почитаете?

И он подал письмо Фирлей-Канарскому.

Учителя сели за столик, выдвинутый в проход между двумя рядами парт, поставив между собой обвиняемого.

Красно-багровый Вася выдержал подчеркнутое, издевательское чтение, подхватываемое ребяческим бессмысленным хохотом, только до полстраницы.

Набалов и Фирлей-Канарский никогда не могли предполагать, что произойдет дальше. Мальчик внезапно вскрикнул, завыл, смаху рванул из рук чтеца письмо и немедленно исчез из класса. Двери так и остались настежь.

Пока смеялись ребята, а втайне они смеялись над одураченными Верблюдом и Колобком, а те оба зарозовели и растерянно поднялись из-за стола, — мальчик в одной курточке выскочил на мороз, метался по двору в поисках укрытия и спрятался в набаловский свинарник.

Там он в клочки уничтожил смятый листок. Для верности, чтобы никто и никогда не мог сложить листок из кусочков, Вася начал было жевать их и проглатывать. Но догадался

поступить проще. Кучку растерзанной бумаги с дорогими любовными словами с подставленной ладошки, похрюкивая, слизнула свинья. Мальчик даже улыбнулся с приязнью к животному, сразу освободившему его от всяких улик.

Владимир Матвеевич выгнал Васю из свинарника часа полтора спустя, когда испуганно и Чичагов и учителя обыскали всю школьную десятину, доступную для обозрения и не заваленную снегом. Двор был весь избеган, в ребячьих следах; искавшим пришлось лазить через сугробы и всматриваться в каждый черневший за тыном предмет. Чичагов с палочкой прошел двор от начала до конца, начерпав в высокие валенки снега.

Саня на придирчивом допросе рассказала все. Она и мальчик по своим классам несли недельное наказание: он стоял на коленях, она стояла в углу.

Вызвали Федора Степановича. Вася подслушал из коридора, приползя к дверям набаловской большой комнаты. Мальчик очень удивился, что Владимир Матвеевич и Фирлей-Канарский только сначала говорили громко и жаловались, а потом утихли; громко до конца говорил один папа.

— За что же мальчика исключать? — недовольно сказал отец. — Я так думаю, он никого не оскорбил. А вот маленького оскорбили большие — это признает каждый. Вора в суде, и того на посмешище не ставят. Моего сына вы, Владимир Матвеевич, и вы, Николай Дмитриевич, вольны наказывать за шалости, за непослушание, за лень, но...

Папа не договорил. Три голоса стали совсем тихими.

— Во всяком случае, — опять донесся до ушей Васи набаловский, сдерживаемый сейчас, голос, — я не хочу держать на хлебах вашего сына. Я с ним сбился. Прасол Курочкин приходил ко мне на квартиру, искал Васю и хотел его за свою дочь даже побить. Я едва его выпроводил. Мальчик ставит меня в смешное положение как заведующего...

Федор Степанович твердо и не задумываясь ответил, вызывая в подслушивающем сыне гордость и восторг:

— О Курочкине что же можно сказать, Владимир Матвеевич? Хотел связаться чорт с младенцем. У Курочкина нет ума на грош...

Папа недолго просил Набалова оставить Васю на хлебах.

— Владимир Матвеевич, — подольстил Федор Степанович, — вам виднее, а мне как родителю почет и гордость, что около вас живет мой непутевый сын. Я день и ночь благодарю вас. Не может быть, чтобы мой парнишка около вас, благородного человека, не обтесался и с Васи не слезла вся серость. Я знаю, что главное его образование в вашей семье, а не в школе.

Тогда и сдался Набалов.

— Хорошо, — довольно засмеялся Владимир Матвеевич, — попробуем еще немного. Забудем эту... дерзкую историю. Вы в свою очередь внушите Васе, что так поступать нельзя. Ну, как умеете!

Мальчик радостно подмигнул в темноте, щелкнул пальцами и юркнул в класс.

— Ты, дурак, у меня влюбился, — придя через некоторое время навестить сына, сказал папа с растроганными слезами в глазах. — Что из тебя выйдет, не знаю! — покачал папа головой. — Драть тебя? Деру. Не драть? Нельзя. В монастырь отдать в монахи? Не возьмут, мал. Помни, — погрозил папа, — если ты еще раз провинишься и на тебя Владимир Матвеевич пожалуется, я тебя возьму из школы, свезу в город и отдам в мальчики к знакомому сапожнику Цветаеву. Тот из тебя колодкой выколотит кислую шерсть. Оставайся пьянчужкой сапожником, а Шурка будет жить барином, с образованием. Выбирай!

Владимир Матвеевич узнал об утаенном письме, но за него Васе уж не пришлось отвечать: бóльшая вина поглотила меньшую.

Любовь к Сане Курочкиной стала запретной. Мальчик никак не мог простить девочке, что она рассказала большим, как он ей жал руку и как наклеивал бумажку на стекло.

И все же крошечная пеструшка чем-то осталась Васе мила. Он не подавал вида, что замечает ее, когда Саня проходила мимо, но слышал всегда ее голос, когда она тоненько и звонко диньдинькала у доски. Саня старалась перед всеми показать полное свое равнодушие к мальчику.

— Жердь! Васька жердь! — кричали Степка и Саня на улице и на горке и в школе, дразня Васю.

Мальчик горделиво отвертывался, не отвечал, а дома подолгу сидел за бросовым листком бумаги и разными почерками, от вершкового до бисерного, вдоль и поперек строчил дорогое имя в обратную сторону: я н а с я а л и м...

В тот год была ранняя весна и ранняя пасха. Возвращаясь с пасхальных каникул, Вася едва не застрял за Ельмой. Вез мальчика Владыкин на собственной лошади. Лавочник поехал в Верховажье за товарами и захватил с собой соседского мальчика.

Темная дорога с глубокими провалами, в которых стояла полая вода, пугала. Вверх по теченью, за кривым мысом звенел лед, шумела и переливалась вода, оттуда несло холодом.

— Э, да не оставаться же здесь! — отчаянно крикнул Владыкин. — Не домой же ворочаться! Ты, Вася, не боишься?

Мальчик находился в тревоге и в не меньшей досаде, чем Владыкин: Верховажье рукой достать, а оно почти недоступно.

— Мне торговать нечем! — кому-то пожаловался лавочник.

— Махнем! — решительно сказал побледневший Вася.

— Чему быть, тому быть, того не миновать, — подбодрял себя Владыкин, — товары схвачу у Кирпичева, перекидаю в сани и перескочу в обрат... час какой-нибудь пройдет времени.

Лошадь упиралась и спускалась с крутого берега нога за ногу.

— Не езди! — кричал из-за реки паромщик, готовивший у своей будки летние снасти для перевоза. — Велено дорогу закрыть! Слышишь? Тебе говорят! Кулькнешь, дьявол! Коня сгубишь!

Но, зачерпнув в сани, переехали. Вася из страха не усидел, поднялся, уцепился за плечо Владыкина и быстро соображал, с какой на какую льдину ему прыгать, чтобы выбраться на берег, пойди лед.

Паромщик глядел на переезжающих. С бранью и криком он схватил за узду владыкинскую лошадь:

— Сволочь несчастная, тебе али пню я рычал?! Отвечай за вас! Видишь, трогается. За мысом затор, а то б пошла! Тоды и покатил бы напрямик в озеро, дура беспонятная! Ворочай назад, ежли не слушаешься! Не пущу!

Паромщик начал заворачивать коня.

— Фекла! — рассердился Владыкин. — Чтой ты не признал? Не впервой разлив видим! Может, дорога неделю простоит так, а ты движенье закроешь! На-ко вот тебе полтину за труды. Поди, в середке разравняй, бугорок не на месте, да дощечек подбрось, а то я мигом с возом поворочу, так не опрокинуться бы и лошадь не надсадить!

Паромщик терпеливо и молчаливо подождал, пока Владыкин не торопясь достал и отсчитал деньги.

— Прибавь, — с некоторым конфузом в лице и в движениях попросил присмиревший дядя. — Строчная работа... неровно доски унесет...

Владыкин уж понукал коня, не ответил и только издали предупредил:

— Сей минутой буду!...

Паромщик лениво побрел с топором и лопатой на реку.

Часа через два половина Верховажья высыпала на берег. За мысом образовалась вертушка. С верховьев наседал лед. Он доходил до мыса, и его завертывало по кренделю в самом широком месте. Вода тут все больше и больше понимала низины. Вся нагроможденная, раскрошенная, разбитая углами, целыми сверкающими скалами, ледяная гора с безумолчным шорохом, осыпанием, звоном и ломом раскачивалась и шаталась на воде. Гору подталкивали с разбега звенящие льдины, отплывали от нее, подлезали глубоко вниз и опрокидывались

на ребро. И тогда реку городили точно иссиня-исчерна-серебряные щиты. Бурлящая струя колыхала их, словно кто-то живой управлял щитами.

— Поле, поле! — закричали звонко первыми ребятишки.

С верховьев хлынул лед огромным плесом. Льдины ломались на ходу, устанавливаясь острыми широкими бивнями, огромной несокрушимой лестницей. Перед толчком этой напирающей ледяной махины не устояла громада горы и повалилась, как скошенная на корню. Ельма ёрзнула вперед, как будто поскользнулась, лежащий лед затрещал, воды брызнули из трещин и кипуче зарокотали поверх, темный дорожный переезд перекосило и перерезало кривыми клиньями. Ельма пошла, зашумев на все Верховажье, как несколько соединенных вместе летних ливней.

На самом высоком береговом выступе, откуда ледоход был виден и в ту и в эту сторону версты на три, в толпе мужиков и баб глазел на реку Вася. Недалеко от него стояла Саня с подругами и братишкой. Люди приходили и уходили.

Зазяб и ускакал Степка. Разошлись подруги. Мальчик и девочка перестояли всех. Они чувствовали присутствие друг друга, но ни разу не встретились взглядом, вяло разговаривали с соседями, мерзли, грели руки в рукавах, стеснялись, как делали другие, поскакать на месте и согреться.

Вася наконец повернулся к Верховажью и сначала неловко пошел, но чем дальше, тем шаг становился крепче и увереннее. Вот какое равнодушие и безразличие показал мальчик Сане, пускай видит и знает! А она что-то воображает о себе и чего-то дожидается! Промерзла, зябуля, а стоит! Степка поядренее — и то убежал!

Сердце Васи, однако, мгновенно согрелось. Он услышал догоняющую его на торопливых ножках Саню. Вася представил, что девочка сравняется с ним, они пойдут вместе, пока никто не видит, и он опять ее возьмет уже за побежденную руку.

Саня обогнала мальчика, на него дунуло разреженным воз-

духом (это он вспомнил из последних уроков по физике перед каникулами), и в глазах замелькало темносинее пальтишко, трепавшееся вокруг полусапожек с приставшей к ним желтой глиной. Саня, не оглядываясь, отбежала далеко, должно быть устала, передохнула и пошла тише.

Вася злобно не сводил с нее глаз. Он негодовал на хитрости и увертки девочки, которая неизвестно зачем поддразнивала его. Обида переполнила мальчика, точно нежданно и негадано и совершенно несправедливо кто-то засмеялся ему в лицо.

— Д-ду-ра! — в ярости вырвался крик навстречу холодному ветру половодья.

Мальчик рассчитал са́мую ярость: он крикнул не раньше, чем девочка скрылась за первым жильем. Точно Вася хотел и разрядить свои оскорбленные и неразделенные чувства, и чтобы Саня все-таки не услышала брани. Для чего?

Мальчик жестоко ошибся и поплатился. Услышала ли Саня или нет, но Вася вдруг за углом избы, заслонившей девочку от него, заметил ее выглядывавший носик и краешек пепельного головного платка.

Настала очередь Васе догонять девочку.

С обнаженных и потеплевших полей перед началом половодья несло приятные и только прохладные струи; теперь они встретились с остуженными струями, наплывавшими от ледохода, и ветер напитался холодом, одичало рвал навстречу и рубил лицо затвердевавшими на лету каплями дождя.

Надернув глубже на лоб шапку, головой вперед, бычком кинулся Вася со всех ног. Никто мальчика и не подумал дожидаться за углом: Верховажье опустело, Саня, наверное, была уже дома и залезла на печку к бабушке, греться, вспоминая ледоход.

На весеннем переводном экзамене, стоя уже возле экзаменационного стола с восседающими за ним учителями, Орловским, батюшкой Питиримом Кубенским и попечителем, верховажским купцом-кожевником Кинжаловым (ребята звали

его Резалов-Безножалов), Вася с испугом подумал, что из-за Саньки он ничего не знает, ничего не учил, ничего не помнит и непременно провалится.

Должно быть, вид и состояние мальчика сразу стали понятны экзаминаторам. Они лукаво переглянулись, а Резалов-Безножалов наклонился с улыбкой к батюшке Питириму, и поп и купец о чем-то зашептались, взглядывая на Васю. Мальчик почувствовал, как он устал стоять и как ноги мелко и противно задрожали. Ошарашил Орловский.

— Сколько в треугольнике углов? — внезапно спросил Леонид Николаевич.

Мальчик остолбенело не понял, казалось, каверзного вопроса и очумело, бессмысленно, чтобы не молчать, ответил:

— Один.

Все за столом пошевелились.

— Подумай, — поддержал Владимир Матвеевич, готовый выручить нахлебника.

— Два, — вдруг как-то обрадованно почти вскрикнул Вася, словно теперь-то уж правильно разрешил задачу и торопился не забыть ответа.

— Н-да! — покраснел за своего ополоумевшего ученика Фирлей-Канарский. — Это штука мудреная...

Чичагов принарядился в потертый пиджачок, надеваемый раз в год, во время экзаменов. Сапоги на Чичагове начищенные. Бородка расчесана. Чичагов стоял возле окна, среди груды изделий. Шкатулки, сундучки, лакированный стол с разводами под березку, какое-то лукошко, этажерка окружали его, как учителя ученики. Чичагов покашлял.

Вася испуганно повел на него глаза, точно желая проверить, неужели даже друг любимый Чичагов смеется над ним? Чичагов загнул на руке два пальца, а тремя словно проткнул и освежил голову мальчика, выставив их напоказ.

Владимир Матвеевич заметил телодвижения Чичагова, наморщился было, не удержался и прыснул.

— Конечно, три, — развязно сказал Вася и как будто удивился смеху Набалова. — Я знаю. Только... спутался.

Фирлей-Канарский, немного удовлетворенный, но все же еще злой на едва не просыпавшегося ученика, захотел показать его и с хорошей стороны.

— Позвольте мне, господа, — сказал он. — Я беспристрастно... хотя и мой ученик...

— Еще один вопрос, — весело ухмыляясь и войдя в охоту, не уступил Леонид Николаевич. — Историю проходят? Русскую? — обратился он к Набалову.

Тот кивнул головой.

— У какого великого князя рука была в полтора аршина? — строго отчеканил Орловский.

Вася испытал подлинный ужас: все великие князья в собольих круглых и островерхих шапочках, в латах, со щитами и без щитов, с кужлявыми бородками и без бородок, святые, равноапостольные и Святополки Окаянные и грешники сбились и смешались в кучу. Выбрать нельзя: непременно ошибешься.

Мальчик открыто уставился на Чичагова. Владимир Матвеевич осторожно наблюдал. Чичагов сделал грустное, полное отчаяния лицо, хотя и покашлял, но беспомощно развел руками, как будто поправляя съезжавшую набок шкатулку.

Уж если Чичагов не выручил, то что же делать? Мальчик, еще бы немного, кинулся вон из класса...

— Юрий... — уловило ухо Васи крадущийся шопот товарищей, дожидавшихся за партами очереди экзаменоваться.

Юрий? Но какой Юрий? Юриев было несколько. Кто мерил длину руки? А может быть, она не полтора аршина, а два или аршин с четвертью! Чорт их там разберет!

Фирлей-Канарский решил сам спасаться от позора. Двухспасный отодвинулся со стулом из-за стола и, хоронясь своих товарищей, стремительно нарастил к левой руке ладонь правой.

— Юрий Долгорукий! — опять овладел собой мальчик и пошарил голову.

— Нечего, нечего притворяться! — громко сказал Фирлей-Канарский. — Никакая голова на экзамене не должна болеть. Она должна соображать в десять раз лучше, чем в обыкновенное время!

Горбун быстро и ловко задал несколько вопросов, на которые все его ученики проворно отвечали, защурив глаза, получил ответы и, скомкав экзамен, обратился к товарищам:

— Пожалуй, довольно?

— Довольно, — махнул рукой Владимир Матвеевич, — кое-что все же знает...

— Еще одно маленькое испытание? — не унимался Орловский.

Вася уже радостно отошел от стола. Мальчика вернули.

— Что у меня в руке? — Леонид Николаевич взмахнул рукой, точно загребая воздух, и сжал кулак.

— Воздух! — небрежно бросил Вася, даже удивляясь такому вопросу.

— Воздух-то воздух, но какой? — торжествовал экзаминатор. — Надо ответить: сжатый воздух.

И вот опять настало ровное, безобидное время. Привет тебе, летняя мезонинная светелка в Рябинках! В угол свалены изжеванные до омелы зимние книги. Отец не любит беспорядка, — и учебники прикрывает ранец с оторванными ремешками.

Шурка проводил последнее лето в Рябинках. Он кончал техническое училище и должен был отправиться куда-то на камские или волжские пароходы практикантом. Два безвыездных года, плавание кочегаром, масленщиком, помощником машиниста...

Шурка нагуливался. Он совсем большой. Под его ответственность не страшно отпускать Васю на ночь: к озеру, в лес.

Теплынь. Горел спокойно, как в большой печи, костер,

играли и возились на отмелях волны, где-то на болотах вскрикивали дежурные журавли, и паслись на заливных лугах кони в ночном. Даже Увар не спал.

— Шурка, как в Пряхине, посвисти! — просил Вася.

Свист Шурки возмужал. Он с оглушительным переливом рвал ночное безмолвие. Кони испуганно ржали. Долго был слышен их торопливый, задыхающийся, убегающий топот. Согревали чайник, варили яйца, пекли картошку, прыгали через костер, кидали головни в озеро и радовались, как закипала вода от них. Ночь текла ласково, тепло...

Молодел Увар и говорил каким-то непривычно звонким тоненьким, ребячьим голосом. В расстегнутом подряснике, который смешно треплется по воздуху и летит, как будто догоняя, Увар носился от одной донки к другой и проверял за натянутые лесы, не сидит ли на крючках рыба.

— Наголо пусто! — восклицал Увар и беззаботно улыбался. — Хва́тит на заре!..

Вместе с ребятами Увар подкрадывался к лошадям, изображая конокрада. Деревенским ребятам в ночном платили за езду пряниками и копейками. Увара подсаживали на старую кобылу.

— Чик! Чик! — орал Увар, обшарашив ее и в страхе держась за гриву.

Ребята покатывались со смеху. Кобыла старалась бежать, но только две-три сажени трусила и, равнодушная к седоку, мотала головой и тянулась к подножному корму.

В баловстве и увеселения ради ребята расправляли подрясник с двух сторон. Увар и конь напоминали крылатое чудовище.

— Вельзевул! — потешался Вася. — Глядите, такой чорт сидит на картине „Страшного суда“ в монастыре!

И года брали свое. Под утро Увар засыпал на песке. Подол подрясника сторожа осторожно связывали в толстенный узел. Так Увара и оставляли спать с конским закрученным хвостом.

Нарочно переходили с удочками подальше. Наловившись досыта, издали будили Увара криками.

Сторож вскакивал, протирал глаза, не замечал тяжелого привеса за спиной, усматривал ребят и поспешно ковылял к ним.

Тут Увар незлобиво развязывался и хохотал первым.

— Как вы отца Увара, выдумщики, обмаклачили! Не надо лучше! Первый сорт! Эт я хвалю! Потеху люблю! Сам бывало...

Увар грустно махал рукой, как будто хотел сказать — да чего уж тут вспоминать прошлое!

Ночевали в Брюхачевской поскотине. Лес багров возле теплины и уютен, как шалаш. Страшное, темное — там, за угасающей в кустарниках чертой огня. Оттуда донесется звук упавшей, как яблоко с яблони, еловой шишки, а кажется — кто-то идет опасный, сильный, мохнатый... Там многозначителен и тревожен даже шелест листвы. Вслушаться — будто катится по полям высокая вода и вот-вот начнет топить поскотину.

Грибы шарили ползком, до деревенских, чтобы первым снять ночной урожай. Берегли впрок грибницы, осторожно выкорчевывая грибы и стараясь сделать на деревьях и в кустарниках заметы: сломанный и очищенный от кожицы прут, податливая молоденькая лоза, завязанная в узелок, старая коряга с насечкой на ней зарубок.

Озеро, лес, сенокосы, помочи, ярмарки, монастырские сады... Кто же все это может отнять? Жизнь ребятам представлялась устойчивой, постоянной, как сама земля, как озеро, как лес...

Гулкий ночной звон. Озеро шумит в теплом мраке. Фонари и задуваемые ветром свечи в полях. Звезды в куполе. Идут по тропам, по межам, по проселкам богомольцы. Крестный ход вокруг ограды. Черные клобуки шатаются над разноцветной толпой, как всадники в седлах. Смоляные бочки пылают жадно и треско и неугасимо, словно пламя вырвалось из земных трещин и поднялись на сажень мягкие,

трепещущие лапы огня. В этот день празднуют пятьсот первый год от основания обители.

Кабак закрыт накануне: то началось ночное беспрерывное бдение в монастыре. Но кому только не отпирал Вася крючок на заднем ходу в кабак? Водка неисчерпаема: неисчерпаемы монастырские ходоки.

Федор Степанович смеялся:

— Ну, завтра после обеден монастырь — влежку! Придется Нектарию посылать за урядником. Монахи перепьются и передерутся. Праздновать, так праздновать!

Старец Нафанаил не в почете, он всегда безденежен за злоязычие, даже в праздники. По приказу Нектария, ему дают из общей монашеской кружки самую малую долю.

Нафанаил опрокидывает на-попа украденную Васей у отца сотку водки, несколькими глотками проглатывает ее, сосет и хлюпает, а потом, отбросив посуду, зажимает рот ладонью для крепости. Лицо старца наливается какой-то черной кровью. Из глаз, как из раздавленной сочной груши, брызгают слезы.

— Слава, слава святителям и строителям сей обители! — покряхтывая, забурчал старец Нафанаил. — Насквозь прожгло, будто шашлык на вертел посадили! О, Вася, чтим Иоасафа и прочиих! А боле всех тебе поясной поклон за ласку.

Старик хмелел и оживлялся.

— Я, мальчик, с преподобным Иоасафом в родстве, — хохотал он, — а ты отпрыск от древнего кабатчика. Кабак прежде обители в Рябинках был. Иоасаф по житию был молодец и выпить не дурак. Кантовал, кантовал, да и впал в святость! Вериги надел. Скуфью с железной перекладиной. Бабу свою — по боку. Мощи и стали. Я как выйду во святые, ну и раку же мне лет через сто закатит какой-нибудь отец игумен... нет, архимандрит: при двоих угодниках — Иоасафе да Нафанаиле — быть в Рябинках архимандриту!

Лавров и Благовещенский в этот день сначала повздорили

между собой, потом избили игуменского келейника и заодно облаяли Нектария, вышедшего на балкон.

— Вон! — в гневе крикнул игумен. — Я вам волчьи паспорта выдам, пьяницы, лодыри, лежебоки! Ни в один монастырь вас не возьмут, прохвостов!

— Давай сейчас! — гаркнул в пьяной удали Лавров и что есть силы дернул за веревку в повесочный колокол.

Игумен скрылся.

Несвоевременный набат раскатился по кельям. В окна вылезли пустоволосые монахи и послушники.

— Эй, бродячая шатия! — ревел до надсады в горле Лавров. — Прощайте! Пускай на клиросе у Нектария поют скотницы, а большуха Машка за регента!

Игумен появился с белыми бумажками в руках и одну за одной швырнул их вниз. Паспорта взлетели, поплавали в воздухе и опустились.

— Мерзавцы! — бесновался Нектарий. — Хорошо, нынче успели разделить кружку, я б вас без копейки выпустил на волю!

— Уйди! — забушевал Благовещенский. — Разражу червяка!

И бас начал непослушными пальцами выворачивать булыжник с дороги.

Потом, обнявшись, Лавров и Благовещенский невозбранно шатались по монастырю, пели срамные песни, пока их собравшаяся в кучку трезвая братия не вытолкала в три шеи за ограду. Ворота преждевременно закрыли.

Гуляли, слонялись до ночи по Рябинкам, выбили стекла на скотном дворе, поколотили своих возлюбленных-скотниц, были биты сами артелью проходивших деревенских ребят и слегли на ночь в канаве у запертого кабака.

Вася задумался и вспомнил, что и в прошлом году так же пили и плясали и дрались в Рябинках: не одни, так другие.

Несокрушимая, настойчивая жизнь была и в Верховажьи и в Рябинках.

Зимы, лета, весны и осени...

Александра Павловна с чубуком сидела на том же месте. Колобки катались из комнаты в комнату: Клавдия Сергеевна гонялась с грелкой за Владимиром Матвеевичем.

Вася вошел и знакомо увидал, что Набалов был в набрюшнике. Мальчик все понял: главному Колобку надоело лежать на постели в покое, Колобок вскочил, а Колобиха укладывала его опять.

Осень началась с ожогов. Мальчик набедокурил в день своего приезда. Посещая все укромные и неукромные места на школьной десятине, Вася забрался на пчельник. Потыкал в одну колоду, потыкал в другую. И его облепил рой.

Жгло, кололо, как раскаленными иглами, жужжало остервенело в ушах, ползло в рукавах, за воротником, в нос... Мальчик как будто обуглился...

С ревом и воем он кинулся в бегство, неся на себе пчелиный рой, оставляя густую поющую дорогу позади. Кадка с вонючей водой у крыльца, — замачивал в ней давеча Чичагов высокие сапоги, подготовляясь к осени, — спасение. Вася в беспамятстве нырнул в нее головой и утопил рой, точно вынул у него жало.

Владимир Матвеевич извлек пользу. Он сразу выздоровел. Поднялся с постели по-настоящему, окреп и выдрал Васю подтяжками.

Учебный год начался.

Янас ялим... Милая Саня... Но как все изменяется на свете! Девочка — словно толстая березовая гнилушка, источенная червоточиной. За лето Саня покрупнела. Веснушки на лице — как грошики. Вася удивился: разве можно любить такую овсяную ватрушку?

Вася много раз видал в прошлом году Клавдию Сергеевну в одной коротенькой белой рубашке с вырезанным кружевным глубоким воротом. Он пробегал мимо с таким чувством, как если бы на веревке висело белье.

Нынче мальчик заметил Клавдию Сергеевну в вечерних по-

темках. Она только что встала после обеденного спанья. Владимир Матвеевич куда-то собрался и ушел, хлопнув дверью. Половинка дверей из Васиной комнаты отворилась сама собой. В узкой прогалейке рядом с диваном, покрытым смятой простыней, вполоборота к мальчику стояла низенькая литая белоснежная Клавдия Сергеевна с распущенными волосами, как черной буркой обнявшими ее плечи и спину.

Мгновенно с непонятным восхищением Вася одобрил большую, точно шапка бадейкой, кучку волос Клавдии Сергеевны, когда они были в свернутом виде. Он над кучкой смеялся раньше, а теперь понял, в какую красивую и чем-то влекущую россыпь могла превратиться неуклюжая и тяжелая кучка.

— Вася, закрой двери, — строго сказала Клавдия Сергеевна, — я раздета, а из вашей комнаты дует.

Вскоре, среди ночи, Клавдия Сергеевна, в узком внакидку малиновом халатике, осторожно, на цыпочках, чтобы не разбудить спящих Александру Павловну и мальчика, вошла с пустым стаканом, нацедила воды из самовара и так же аккуратно вернулась обратно.

Мальчик проснулся. Он спал калачом, со сложенными одна на другую теплыми ногами и с просунутыми между них кистями рук. И вдруг ноги и ладони стали горячими. Вася сладко смежил глаза и не мог оторваться от наблюдения за Клавдией Сергеевной.

Опять эти пушистые, раскидавшиеся широко волосы! Их было так много, что когда Клавдия Сергеевна наклонилась к самовару, нагнетая кран, волосы поползли с плеч, и женщина очутилась точно в двойных одеждах.

При встречах с Клавдией Сергеевной мальчик стал краснеть и стесняться.

В третий раз Вася столкнулся с Колобихой, вбежав со всех ног, посланный к ней Владимиром Матвеевичем со двора.

Полураздетая, в лифчике, Клавдия Сергеевна штопала свою

зеленоватого бархата кофточку. Вася немедленно, с непонятным интересом и даже как будто с участием, заметил, что кофточка лопнула подмышкой. На оголенном правом плече женщины была темноватая родинка.

Вдруг мальчик на шаг отступил, отвернулся и смутился. Смущение передалось застигнутой врасплох швее. Она работала с наперстком. Клавдия Сергеевна взмахнула рукой, прикрываясь зеленой кофточкой. Наперсток прыгнул на пол и покатился.

Вася быстро пробормотал поручение и хотел уже кинуться вон. Но не успел.

Клавдия Сергеевна отчего-то засмеялась и внезапно сказала:

— Постой! Куда? Найди мне наперсток. Вон он откатился под стул.

Мальчик нашел и, умышленно не доходя до женщины на шаг, протянул наперсток.

Клавдия Сергеевна подвинулась вместе со стулом, притянула упиравшегося Васю к себе, посадила его на теплые колени, обняла за талию и со смехом поцеловала в щеку около уха.

— Я же тебе мама, — вымолвила она странным и каким-то обманывающим голосом, — а ты меня застеснялся! Почему?

Клавдия Сергеевна шутливо подрыгала ногами, раскачивая мальчика, и совсем неприятно запела:

— Поскакушки, поскаку, потерял мужик дугу... Ха-ха! Ты уже отвык быть маленьким. Ка-ак зарделся... Ха-ха!

С тех пор, надо не надо, Клавдия Сергеевна начала целовать и ласкать Васю. Он нажил в доме и в школе такую заступницу, за которой было не страшно любых проделок.

Втайне, не сказав как будто самому себе, мальчик по уши влюбился в Клавдию Сергеевну. Ему доставляло большое наслаждение дотрагиваться до ее висящих на вешалке платьев, жадно слушать ее воркующий по-голубиному го-

лос, узнавать ее семенящую походку издали по коридору. Он ревновал ее к кошке Марфушке, когда Клавдия Сергеевна гладила ту и, налив в блюдечко молока, приседала возле, наблюдала, как Марфушка, позванивая посудой, не торопясь лакала. Мальчик беспощадно пинал Марфушку при всяком удобном случае и всячески изгонял ее. Владимир Матвеевич сделался Васе нестерпимым: он не мог видеть его круглую, как глобус, только всю в кудрявой шерсти, голову.

Мальчик упорно торчал дома.

— Эй, домосед! — покрикивал Владимир Матвеевич. — Пойди-ка освежись! Ты что-то, братец, стал худ! Отец твой, пожалуй, скажет, — мы тебя не кормим!

Вася трепетал и сиял, получая из рук Клавдии Сергеевны книгу для чтения. Всегда запертый книжный шкаф Владимира Матвеевича теперь отворялся часто: мальчик проглатывал книги.

— Ты, дядя, читаешь и, наверное, мало что понимаешь? — спрашивал Чичагов. — Больно книги тебе дают толстые. А ну, пробарабань мне страничку: дай-ко, и я мозгом раскину.

Раскидывали и радовались.

Но прочитанные книги ничем не напоминали скучных и недоступных к решению задач на дроби, геометрических угловатых и шарообразных теорем, вселенских соборов с Арием и Николаем Мирликийским чудотворцем, выводков князей с обязательными для рассеянной памяти днями рождения и смерти великих, малых, удельных и наследных и заштатных, названий островов, полуостровов, проливов, мысов, городов, губерний и уездов... Тысячи мертвых букв, слившихся в мертвые слова, в мертвые имена и наименования! А эти унылые диктовки по русскому языку, этому непонятному языку, в котором слипаются, как варенье, все слова, когда Фирлей-Канарский топочет по классу с книжкой в руках и скороговоркой до одышки прочитывает длинные заковыристые предложения! Где же, где поставить эти про-

клятые запятые и точку с запятой, тире-палку и всякие кривобокие вопросительные и восклицательные знаки?

А широкая, как скамья, ять! Она неуловима и коварна точно кошка на улице. Но в ту можно запустить камнем, а эта подвластна одному Двухспасному: тот находит ее там, куда даже не подумалось поставить ее. И красная двойка с росчерком на каждой странице диктовки! Красным подчеркнуты, как залиты кровью, перепутавшиеся „аго“ и „яго“, „они“ и „оне“, мягкие и твердые еры и свистящие, и плавные, и губные, и нёбные звуки.

Отец хмурил недовольные брови.

— Грамотей! — восклицал он и швырял на пол роковую тетрадь. — А языком разные сказки-присказки болтать мастер! Все знает, во все лезет, как большой, тупица пустоголовая!

У Чичагова второклассники подгоняли прогулы и недоделки с прошлого года. Лес изводили кострами.

В столярной мастерской всегда весело и шумно, точно в рекрутский набор на Верховажской улице. Нет только пьяных, но гулянка, но игра полные. Пыль. И стружка — как сахар, как снег, как шерсть. С хохотом из стружки вязали связки кренделей-баранок, разыгрывая пьяных мужиков, возвращающихся с ярмарки. Из стружки делали венки и надевали на головы послушным первогодкам. Делали цепочки для часов и развешивали на выпяченных нарочно брюхах, как верховажские купцы.

— Шабаш! — кричал Чичагов. — Буде дурака валять! За верстаки! Бери фуганки!

Слушались дружно и согласно. Работа спорилась.

— Материал переводишь, — обучал Чичагов. — Косишь, дьяволенок! Гляди, как фуганок у меня, у старика, гладит. Гладит да поет!

Чичагов стругал на каждом верстаке. Васе он говорил вполголоса:

— Я до того, Васютка, стар, иной раз лежу один на

постели и думаю, а не живу ль я на свете триста годов? Всё превзошел, а будто и ничего не превзошел. Народу видал всякого. Народу — учеников значит. А ты прямо хрен. Ты только от коровая ладишь оторвать кус. И парень проворный, а столяра из тебя насильно не выйдет. Хорошо — дружу с тобой, а то б вместо пяти пальцев у тебя в аттестате фиге стояла.

Так вперевалку, с запинками протащился год.

Лампа над столом. Стол круглый. Суровая скатерть, вышитая васильками. Владимир Матвеевич уехал в Вологду за жалованием, за книгами, за бумагой, за всем необходимым.

Клавдия Сергеевна вяжет мужу нарукавники. Старые он протер. Набалов в нарукавниках поправляет тетради школьников, пишет отчеты, считает на счетах: он бережет чистые свои рубахи.

Вася сидит рядом с Клавдией Сергеевной. Близость так таинственна, что мальчик слышит свое сердце: тук, тук... Голос его нежен и прерывист.

— Ты медленнее, — говорит Клавдия Сергеевна с усмешкой, — тогда ты меньше устанешь. Я очень люблю твое чтение.

Похвала портит и мешает понимать прочитанное: Вася путается и перелистывает две страницы сразу, не замечая.

— Обратно! — смеется Клавдия Сергеевна.

Бьют ночные часы; сон погасил трубку Александры Павловны. Клавдия Сергеевна внезапно зажимает маленькой мягкой ладошкой, как почти заячьей лапкой, рот мальчику и не сразу отнимает ее.

Вася пьет и вдыхает только ему одному понятное тепло руки. Губы у него шевелятся в западне. Он нарочно берет за пальцы вязальщицу, чтобы прикоснуться по праву к ней. Васе же нужно открыть рот!

— Ты меня очень полюбил, — наклоняется близко к мальчику Клавдия Сергеевна. — Я это вижу.

Можно ли так говорить и так спрашивать? Вася с гро-

хотом срывался с места и опрометью кидался в свою комнату.

Скоро лампа перестала гореть навсегда...

Черемуховый холодный май.

— Май холодный, год хлебородный, — сказал Чичагов в день окончания экзаменов. — Вот ты, Васенька, и окончил наше училище!..

Мальчик дожидался отца и следил из класса за подымающимися от Ельмы подводами: надо уезжать.

И Федор Степанович подъехал. Улыбающийся и довольный мальчик несдержанно закричал папе:

— Я выдержал! Похвального листа мне не выдали за поведение, а экзамены я сдал!

Вася опомнился раньше, чем Федор Степанович вдруг потемнел и, морщась, убито проворчал:

— Хорош гусь!

Клавдия Сергеевна оставила память на всю Васину жизнь.

Набалова вышла к самой телеге. Вдруг Колобиха взяла обеими руками голову мальчика, пристально посмотрела ему в глаза и поцеловала его прямо в губы.

— Мы в этот год очень полюбили друг друга, — сказала Клавдия Сергеевна Федору Степановичу. — Посмотрите, какой он красный! Ему стыдно! Ах, он еще совсем ребенок! Я бы дала ему похвальный лист за сердце, да за это не дают, а учиться он ленился...

Мальчик ехал в Рябинки с унылыми глазами.

Федор Степанович ценил похвальный лист, как и другие люди. Листа не было, и отец вез Васю домой молча.

НЕДОРОСЛЬ

Как две черные рати, подступили к обеим берегам Шексны леса. Только она, быстрая, младшая сестра Волги, легла между ними непроходимой дорогой. Серо-желтоватая: чай с молоком.

По тридцать, по сорок верст волока̀ на Сизме. По узкой лесной просеке, устланной кой-где в оврагах ва̀лежником, плелась из Рябинок лошаденка. Она̀ везла Васю к пароходу на шлюз в Ниловцах. Мальчик, по желанию Федора Степановича, должен был стать техником, как и Шурка. Мещеринский род обеими ногами вылезал из „податного сословия“!

В высоте, над сизменскими волоками плыли поднебесные лебеди, кружило ястребьё и вороньё. Мелкая птаха уже молчала: осень.

В вечерней черноте страшен лом и хруст в бору: не перевелись здесь шипучки-пчелы с теплыми ульями в дуплах, и на выгарях тучны и сладки овсы с крупным, как брусника, зерном, — не перевелись лакомки-медведи.

Ночью озиралась и вздрагивала лошадь, точно жутко ей во мгле итти в неизвестную сторону, боязно слушать неумолкаемый шум листвы и хвои, неверна́ лесная земля под копытом.

Ямщик замер пнем. Цыгарка теплится, посапывая, как сонный ребенок в зыбке. Цыгарка — огонь и два коленца —

походит на трубу, вставленную в печку. Черный мешковатый ямщик в передке телеги — печка. Вася так сравнил.

В кармане у мальчика мелочь. Бумажки зашиты во внутренний карман тужурки. Первый раз в жизни такие деньги. Отец высчитал, сколько на пароходы туда и обратно. Сколько на стол и на всякие расходы. Велено привезти сдачу.

— А если не останется? — предусмотрительно сказал мальчик.

— Не останется — и везти нечего, — усмехнулся отец. — У меня бы осталось. Если поступишь в училище, сдача твоя.

Лес опасен. Васе ничего не стоило назвать его Брынским. А где Брынский лес, там разбойники. Они выходят на дорогу, берут под уздцы коня, сворачивают телегу в чащу и кричат громовым голосом:

— Сарынь на кичку!

В Ниловцы приехали, однако, благополучно. Каменные плиты, словно с монастырских могил, устилают шлюзовой канал. Шумит водопад-плотина. Белая пристань. А вон и Увар, только не в подряснике, а в ватном пиджаке, и те же удочки брошены на палубу около причальной тумбы. На воде всякий — Увар.

Пароход „Косьма и Дамиан“ пришел через двенадцать часов.

Ниловцы больше Рябинок. Там один Владкин, тут — десять. Мальчик от скуки купил десяток папирос „Дюшес“ за шесть копеек и записал в расход: „На блюдо и на свечку в часовне местечка Ниловец от ожидания парохода и за поступление в Александровское техническое училище“.

Записал и представил папу, склонившегося с доверчивостью над тетрадкой. Стало интересно и весело.

Угостил на пристани ниловского Увара. Тот папиросу взял и молча повел струхнувшего мальчика на берег.

— Здеся раскурим, — сказал сторож, — тамо по шапке дадут! Нельзя.

Выспросил Васю — кто, куда и откуда и зачем?

Пошел холодный дождь. Коробочка „Дюшес“ ополовинена. Но пристанщик позволил мальчику перетащить корзинку под навес и сидеть на ней до прихода парохода.

— Слышь, — закричал около полуночи новый знакомый, — как плицы-то ровно десять баб враз вальками хлещут!

Вася навсегда запомнил слово „плицы“.

„Косьма и Дамиан“ подвалил, отдохнул и повез. Он же через две недели привез обратно. Мальчик научился давать телеграммы. Федор Степанович прислал лошадь.

— Почему вернулся?

— Я выдержал на четверку, а надо на пятерку.

— Балда! Ты бы старался на пятерку.

— Я старался.

— Хорошо старался!

Через день мальчик добавил:

— Мне сказали — я поступал казеннокоштным, задаром, а за деньги бы взяли.

Федор Степанович рассердился и закричал:

— Врун! Осыпь я тебя золотом, на тебя там, на вислоухого, поглядели, видят — не будет учиться, а будет голубей гонять, и с золотом не надо! Двоих мне на деньги учить — купил не хватит. Одного должны взять на казенные хлеба. Будь ты Шуркой, взяли бы! Недоросль!

Но мама по секрету в тот же вечер шепнула:

— Папа сказал — будем копить на тебя весь год. На осень опять поедешь поступать.

Папа нанял тенора Одинцова подготовить мальчика. Подготовлялись в келье. В кабак непригоже ходить каждый день послушнику.

В келье пили чай, играли в орлянку, в карты. Вася должал и платил краденой водкой.

А раз под вечерок Одинцов привел в келью молодую красивую бабу из Севастьянова, Нонну. Сам ушел в трапезную ужинать. И келью запер.

— Тебе, Вася, сколько годков? — сразу обняла Нонна мальчика. — Пятнадцать?

Нонна жарко и крепко прижалась к Васе. Его как подожгли. Она тискала и щекотала Васю, целовала, наконец точно проволокла сухие горячие губы вдоль всей розовой щеки мальчика, впилась в его губы, утопила в грудях его всего...

Вася опомнился после, когда вдруг Нонна заторопилась и велела мальчику скорее одеться.

Он, как пришибленный, стоял, отвернувшись, в углу и водил по стене пальцем.

— Ты это так-то, — подкралась Нонна и насмешливо зашептала Васе на ухо, — сначала целоваться, а потом нос насторону воротишь? Так наша сестра завсегда в обиде от молодчика...

— Отойди! — не владея собой, забывшись, закричал внезапно мальчик, сильно оттолкнул ее и кинулся к двери. Замок лязгнул и не отомкнулся. Мальчик готов был возиться в двери на весь затихший братский корпус.

Нонна оттащила Васю и загородила дорогу.

— Волчонок, — вполголоса пригрозила она, — что ты! Молчи обо всем! Помалкивай. Одинцов любит меня. Узнает. Он убьет! Отцу скажет. Да и я не постыжусь покаяться. Пускай что хочет, то надо мной и делает. Дурак, ты созовешь народ, а сам с бабой в келье. Обоих нас к уряднику и поведут... Срам-то какой!

Скоро пришел Одинцов. Он вывел немного погодя мальчика в коридор и шепнул ему:

— Ты на меня не сердись. Нонку я не звал. Она сама пришла нежданно. Давеча бы тебе домой итти, а я чего-то ума решился и запер тебя. Иди, а то скоро запрут ворота. Не болтай. Сам знаешь...

Недели через три во время обеда на стук в кабаке выскочил Вася — и обомлел. У стойки, в красном цветами платке, усмехалась Нонна.

— Ну-ко, крестничек, — развязно и громко сказала она, — дай бутылку.

— Тише... — пробелел Вася.

— Я не без денег, — немного сбавила голос Нонна и выложила на стойку гремучие пятаки.

— Я не отпускаю, — успел сказать мальчик, — я сейчас пришлю папу.

Нонна схватила за рукав на-смерть запуганного и стремившегося убежать Васю.

— После вечерен приходи в ряды. Средний корпус. Крайняя лавочка, — приказала она. — Я тебя буду ждать.

Мальчик отрицательно покачал головой. И он увидел, как рассердилась и вся покраснела Нонна.

— Федор Степанович! — вдруг громко выкрикнула она. — Где ты? Выйди! — и сразу перешла в шопот: — Придешь, дрянь?

— Приду, — пролепетал пересохшим голосом Вася.

Папа уже, прожевывая кусок, открыл двери.

Занятия в келье не помогли. Мальчик съездил напрасно и во второй год.

— Чисти каждый день свинарник! — в полном отчаянии негодовал Федор Степанович. — Может быть, хоть это сумеешь, негодник! — и гнев оскорбленного в своих надеждах отца сосредоточился на Одинцове. — Жеребячья порода, сколько ведер водки выдул за зиму и за лето! Учи-и-тель! Везде мошенничество!

Отцовское сердце отходчивое. Поругал и отстал. Вспоминал о сыновних неудачах, когда были у самого неудачи. Приезжал купец Шевелюхин, проверяя кабаки по Кирилловскому тракту и собирая деньги. Неладно нагрянывал акцизный, опускал в железную мерку с водкой, нацеженной из дубовой бочки, белый пухлый градусник, — и градусы не сходились с положенными. Акцизный осматривал весь буфет, касался сургучных головок на бутылках — не самодельная ли заварка, нет ли просто налитых водой целовальником и

незапечатанных? Чиновник долго писал бумагу. Федор Степанович оправдывался. А потом и чиновник и папа торговались: кабатчик откупался.

— Сукин сын, — ворчал Федор Степанович, — у Шевелюхина состоит на жалованьи, в казне и с целовальников дерет.

Мальчик в эти минуты старался быть незаметным.

— Дармоед! — шумел отец. — Из-за вас тут жульничаешь, копишь, всех обманываешь, а они ни в зуб толкни — ничего не понимают! Почему ты ничем не занимаешься? Свиньи, корова...

— Я, папа, все сделал, — робко и почтительно отвечал мальчик.

— Возьми книгу! Пиши! Решай задачи! Я, ты думаешь, так тебя оставлю лоботрясить — петь на крылосе да по кельям шляться?! Я за тебя еще возьмусь! Я тебя насильно в люди выведу, дурака!

Год выдался для Васи самый привольный: пробегал его по Рябинкам, вырастая из штанишек и курточек; мать переставляла пуговицы на рубахах — ворота не сходились; у мальчика грубел голос...

И вдруг... Вася два раза в неделю начал читать Федору Степановичу в „Биржевых ведомостях" о графе Сергее Юльевиче Витте. Министр-граф сделался папиным врагом.

— Куда деться, Марьюшка, ты подумай, — слышал мальчик тревожный разговор отца с матерью, — казна купеческую водочную торговлю — по боку. Царю захотелось в виноторговцы. Нас, прежних кабатчиков, в сидельцы не берут: проштрафились. Да и с одной запечаткой водка будет. В бутылку не влезешь сквозь печать и не накаплешь воды. Не разведешь... Опять в деревню? На старое пепелище? Землю пахать? Будто бы неохота. Будто бы отвыкли. Надо пытать место в городе. А там один чоботарь знакомый. На залог есть. Да ведь этого мало... Веры к чужому нет...

Отец с сыном разошлись. Граф Сергей Юльевич Витте

получил полное одобрение Васи; он помогал мальчику переехать на жительство в Вологду. Рябинки исхожены, излажены, истоптаны вдоль и поперек. В Рябинках даже все до одной книги прочитаны. Одни ярмарки выручают: тогда закупка на рубль. Папа давал его особо, помимо рубля на гостинцы.

Купец Шевелюхин приехал навеселе с какими-то двумя купцами.

— Запри, Федор Степанович, кабак, — приказал хозяин, — да пускай нам твоя Марьюшка сготовит яишню и всякое другое пятое-десятое. Не хочу боле торговать! Всех мужиков без водки нонче оставлю. Гони в шею любого! Гуляем сей день!.. И без разговоров!

В запертом кабаке поставили стол, прибрали его белой скатертью, скоро тяжелый самовар придавил его. Закуски, наливки, водка. На стойке зажгли три столовых лампы. Шевелюхин посадил папу и маму. Полупьяный хозяин целовался с Федором Степановичем, хлопал его по спине, называл запросто Федором, без величания, и во все горло орал:

— Сиделец, слышь: не пропадем! Кольцо золотое в воду упало, а водолаз его найдет! Конешно, коли дно узнано! А нам с мутной водой не привыкать! Федор, кабаки у меня последние денечки доживают, а нам по городам трактиры отдают! Ха-ха! Торговлишка была и останется! Граф Витте из всех графов граф, а и на него найдем управишку! Купцы и графа под себя подомнут! Федя, а ты у меня мужик на примете. А ты желаешь буфетчиком стоять у Шевелюхина в Вологде в Светлом ряду, в Светлорядском трактире? Желаешь? Беру тебя!

Папа развеселился и не отставал от хозяина в выпивке. Марьюшка испуганно следила за бледневшим мужем. Рожи у Шевелюхина и его товарищей только багровели.

— Федя, нам бы певчих! — требовал хозяин. — Хочу божественного и скоромного пения. Покличь монахов. Беда — монастырь не женский, а то бы монашек!

И папа пошел за послушниками.

Вася с ужасом увидал Нонну. Ужас его увеличился оттого, что отец вел ее неуклюже под-руку, и они оба над чем-то весело хохотали; сзади угодливо семенил Одинцов и другие знакомые монастырские певчие. Нонна заметила прятавшегося у печки мальчика и ущипнула его.

— Батюшки! — воскликнул в неистовом восторге Шевелюхин. — Крас-с-сота! Не одни долгогривые, а и святая иже мученица с ними! Имячко, имячко! Нонка? Нно-но-но! Ха-ха! Знай, повозничай!

Федор Степанович, как ни был „под турахом“, не забыл своих отчих обязанностей, проследил за подглядывающим из щелки дверей мальчиком и прогнал его спать.

Пьянка затянулась надолго и мешала, и Васю начало клонить ко сну.

В кабаке, прерывая пение раскатистым ржанием, звоном и боем посуды, визгом, криком, плясом, пропели всю обедню, всеночную, заутреню...

Мальчик страдальчески слушал, засыпая, как пронзительно, точно где-то на высокой крыше, звенел ухарский голос Нонки:

Девки, сами знаитё,
Чем приманиваетё,
Сулитё, не даитё,
Пощо обманываитё...

Игумен Нектарий задешево скупил мещеринский свинарник, корову, огород... Переехали в Вологду.

Немощеная улица Кобылка на окраине. Редкие флигеля. Рядом линии Архангельской чугунки. За ними большие Вологодские железнодорожные мастерские. По Кобылке идут рабочие в кожаных и ватных и легких пиджаках, пахнут железом, маслом, ржавчиной. На Кобылке они живут. По Кобылке гуляют в праздники. Здесь пляшут, смеются, дерутся и плачут, валяются пьяные в грязи, сидят бабы рабочих на лавочках у ворот и щелкают семечки. Рваные, нищие, мазаные ребятишки запрудили улицу.

А то Кобылка вся — как солдатский, казарменный двор: в канун праздников из флигелишек выходят рабочие-охотники с ружьями за плечами, с патронташами, с веслами. Из-под Соборной горы отъезд на низовые охотничьи и рыболовные пожни. Под Соборной горой покачиваются на ленивой струе реки Вологды собственные лодки на цепях, под замками...

— На низ! — кричала Кобылка.

— Счастливо! Ни пуху, ни пера!

— Помаленьку паляйте! А то птица пуганая. Улетит со страху!

— Водчонка запасена?

— Целый кабак! Дичь на закуску.

— Лучше с собой бы огурцов прихватили, а то закуска летучая! Огурец — тот не обманет! На худой конец в карман вытечет!

Федор Степанович сразу победнел, оставшись на одном жалованьи, без свиней, без коровы, без огорода. Кобылка — самая дешевая. Флигелек в три окна. Напополам. Две передних, на улицу, низкие, тесные комнатушки — квартира Мещериных. Отца нет с восьми утра до одиннадцати вечера: в трактире на Толчке, в Светлых торговых рядах.

Время пошло̀. Федор Степанович съезжал с одной маленькой квартирки на другую. Васе казалось, что папа лез по лестнице с самого низа до самого верха. Кобылка — как на дне оврага, повыше Спасоболотская, Лебяжий переулок, Березовые бульвары. Золотуха у Каменного моста — макушка, середина города, купеческая гнездовка.

Так и шагали, осторожно, не забегая вперед, щупая ступеньки, с передышкой, с оглядкой назад.

На Кобылке — резиновые рогатки, змей, свайка на лугу, под недокорчеванным и забытым кустом; у забора, в проулке — карты в „три листика“. Так живут ребята — будущие рабочие в коротеньких бегучих пиджачонках, охотники, рыболовы, завсегдашняя Кобылка, до конца живота...

Вася гонял по городу недели две-три.

В воскресенье „Светлорядский“ трактир начинал торговлю после обедни в соборе. Архиерей Павел, звали его „Нога-за ногу“, любил кончать службу, когда на колокольне, похожей на огромную бутыль, круглые часы показывали ровно двенадцать и ленивые колокола начинали бой.

— Довольно скакать порожняком, — сказал Федор Степанович в одно из воскресений, собираясь на работу. — Одевайся! Не хотел учиться, будешь стоять за буфетом. Не хотел быть барином, будешь буфетчиком. Помогай отцу: нечего задаром сапоги рвать.

Но это же так интересно торговать в трактире, хотя бы и рядом с папой целый день! А особенно приятно садиться за хозяйский стол против буфета, когда около шести часов дня исчезает до вечера посетитель, трактир пустеет, его метут, брызгая водой из чайников и засыпая мокрыми опилками, а потом, проветрив, шестерки подают в бело-голубой миске вкусные щи, жаркое на горячей светлой сковородке, невиданное сладкое на третье.

Обед не походит на мамин, домашний. Толстенный повар Федотов в белом халате и колпаке, точно доктор в больнице, готовит на плите, а не в русской печке, льет и кладет в кушанья какие-то снадобья из жестяных банок, из бутылок и склянок. Оттого так немыслимо вкусно. И хочется сидеть за столом долго.

По праздникам трактир закрывали в шесть часов вечера, и Вася довольно шагал рядом с отцом на Кобылку. Звонили на соборной колокольне ко всеночной. Проходили мимо. „Бутыль“ огромна.

— Посмотри, папа, — сказал Вася, — а колокольня походит на сифон с зельтерской. Крест на верхушке, как рыльце у сифона.

Федор Степанович от неожиданности сбился с шага, как будто бы он тайно усмехнулся, но резко укорил:

— Чорт тебя знает, что ты за балда! Язык у тебя, как у коровы хвост, болтается! Хорошая наука! Увидал пустой

сифон в трактире и... к чему приложил? К святому сооружению! Чтобы я больше не слыхал от тебя таких глупостей!

Мать — та просто перекрестилась, узнав от сына о разговоре с отцом по дороге, и дала Васе подзатыльник.

Но все-таки Вася видел, как папа шел-шел молча, насупясь, вдруг беспричинно рассмеялся, скосил нежно и ласково глаза на него и взъерошил на Васиной голове волосы. Правда, веселье папы было минутным. Он тут же хмуро пробормотал:

— Ты сегодня сдавал сдачу — не просчитался? Ты еще не забыл таблицу умножения? Сложение и вычитание знаешь? В карман себе не спустил двугривенного? Помнишь, как в Рябинках рубль утащил?! Здесь тюрьма рядом: я тебя с городовым живо туда отправлю.

Проверил Федор Степанович карманы не сейчас, а как-то в ближайшие дни. Вдруг остановил у крыльца, когда они возвращались из трактира, и пошарил в каждой дырочке костюма. Дома велел снять сапоги, опрокинул их голенищами на пол, потряс, слазил в голенища рукой и, кстати, вооружился молотком и поленом, забив в подошву торчавшие из нее гвозди.

— Ноге больно, а, дурак, так ходишь на гвоздях, — укоризненно пробурчал отец. — Сам не можешь, давно бы сказал. Что, не успел сегодня слазить в кассу? Нечего распускать по лицу краску! Кто раз в чем замечен, к тому доверия нет. Так и знай! Я тебя подстерегу. При народе буду лазить к тебе в карманы. При всех осрамлю, только посмей это баловство сделать! Денег тебе не надо, у тебя всё есть.

Вася на несколько месяцев прослыл честным: все отцовские неожиданные налеты кончались неудачами.

Вася усвоил способ не попадаться. Шестерки — бывалы. Они быстро обучили молодого буфетчика. В торговые питейные дни мужик с Толчка, чиновники двадцатого числа, с жалованием, богато несли медь, серебро и даже золото. Ящик под стойкой с выдолбинами для разной монеты тяжел и

звонок. Вася ловко и умело получал, сдавал, быстро отпуская густую галдящую стену посетителей.

Один взгляд на шестерку, сдача ему вдвойне, в грудке мелкого серебра и меди рублевый кружок, а то и глазастый рыжик. Шестерка смахивает со стойки сдачу ладошкой, точно деньги обучены, как у фокусника, сами прилипают к руке и мгновенно исчезают в объемистом кошельке. Шестерка побежал с Васиным прибытком, мелькая в толпе белой курточкой, белым рукавом, с воздетой высоко загребистой лапой, несущей над головами поднос с графинами, бутылками, рюмками и стаканчиками. Посуда сверкала и сияла на солнце, точно довольные глаза Васи: попробуй, папа, найди свои безымянные деньги!

Но частенько не находил их и сам воображаемый владелец.

— Какие деньги? — удивленно спрашивал половой. — Ты мне в оккурат сдавал. Что я тебе буду собственными платить?

— Сволочь, не стыдно? — возмущался Вася.

— Мне нечего стыдиться! Это тебе надо стыд иметь: отца обворовываешь.

— И ты вместе со мной.

Другие отдавали часть, третьи — всё; последним Вася платил добровольный процент.

— Я тебе задаром не работник, — вымогал такой, — задаром чирей не сядет.

Отдавали все молодые шестерки, пока не привыкали и побаивались сына буфетчика, чтобы не напортил по службе и чего-нибудь не накляузничал отцу.

— Я папе скажу, — грозил Вася, чуть не плача от бессилия, — я тебе два золотых дал.

Шестерка насмешливо подавал две незатасканных, светлых медяшки:

— На́ твои золотые! На разживу. Отца ты брось! Я сам ему повинюсь. Подойду и скажу: „Федор Степанович, не знаю для чего, Вася мне сначала глазом подмигнул, потом золото выложил. Я сослепу взял, да раздумался... Не таскает-

де ли у отца деньги на баловство парень?“ А то и так можно: взял-де нарошно, чтобы поймать воришку и отцу глаза открыть. Хочешь? Мне, ежели и не поверит твой отец, наплевать: все равно хочу уходить в другой трактир.

Непроходимая... Васю трясло от такого вероломства. Но сделать он ничего не мог.

И Вася всячески изощрялся. Радовался своим уловкам. Мстил. Как будто ничего не было, он вскоре совал обманщику полтинник и шептал:

— На мировую!

Половой в душе посмеивался. И вскоре был одурачиваем. Вася, шатаясь по городу после запора трактира, забегал к бывшему обидчику, занимал у него как раз такую же сумму, а то и больше, какую тот присвоил. Теперь наставала очередь посмеиваться Васе.

— Я не брал. Ничего отдавать не буду.

Не действовали и угрозы отцом.

— Как знаешь! — издевался Вася. — Мне что? Ну, папа меня выдерет... а ты полетишь вон за то, что украл у меня краденое, за то, что в долг мне даешь. Полетишь из трактира, да папа тебя и в полицию отправит: обманываешь маленьких.

Половой старался насолить: предупреждал всех товарищей, чтобы те не давали взаймы. Над простаком же и гоготали. Вася быстро усваивал обучение, получаемое от прожженных на купеческой службе шестерок. Он аккуратно выплачивал долги тем, кто грабил его меньше или удовлетворялся только процентом за полежалое.

С течением времени Вася обогнал в предприимчивости своих учителей и платил мало. Шестерки сами сбавляли процент, добиваясь хотя бы какого-либо заработка за передачу. Самый дешевый довольствовался грошами.

В конце концов Вася сделался неуязвим для всякого обмана.

— О ловкача вышколили! — восклицал побитый половой

среди своих. — Башка отчаянная растет! Я ему бумажку десятирублевую выкинул на стойку, он из нее вычел пятерку свою, а с остальной мне сдачу за графинчик с закуской. Я требую с десятки, а он, сукин сын, прямо к отцу. „Папа, — говорит, — Семен меня обманывает. Я хорошо помню, он дал пятерку, у нас в кассе всего-навсего четыре десятки давно лежат, его десятка у него в кармане“. Эдак с насмешкой подпустил. Федор Степанович меня же и выругал. Мне же и графин толкнул со стойки, едва к чорту не полетел. Вот орла выпестовали!

Вася побеждал не во всем. После запора половые пили, шла картежная игра, потом отправлялись к девушкам в потаенные „одинцы“ или „двойни“. Так и говорилось:

— Сегодня на камень! Нет, сегодня к близнецам!

Васю явно обыгрывали в крапленые карты. Он понимал. Приносил свои. Но и тогда обыгрывали, стакнувшись между собой заранее. Для затравки какой-нибудь вечер поддавались. И тут же уславливались:

— Припасай, ребята, завтра денег побольше. Сыграем по крупной. Будут гости от Межакова.

Это — лакеи из перворазрядного ресторана купца Межакова.

Карты овладели Васей, как привычка есть, спать, курить. Он добывал средства всеми правдами и неправдами. Но пропустить „крупную“ игру нельзя. Вася проигрывался вдоск. Должáл. Карточный долг выплачивал до копейки, расчетливо выбирая из отцовской кассы понемногу, чтобы при подсчете месячной выручки отец не заподозрил значительной убыли.

Васю подпаивали. Из подражания старшим, он опрокидывал водку в горло большими рюмками. Отвращение искажало лицо подневольного пьяницы. Половые хохотали. Вася пьянел с двух-трех рюмок.

Когда-то, через час, через два, надо было притти домой, может быть, еще встретиться с не заснувшим отцом. Это

удерживало. Под издевательства и насмешки над трусостью Вася, пошатываясь, пробирался к крану, лил на голову холодную воду, выходил на задний двор и совал в рот два пальца...

Нельзя пересилить таинственного любопытства от поездки к „одинцам“ и к „двойням“. Часто пробивались трактирными задворками.

Огромные Светлые ряды — двухэтажные магазины и лавки с зеркальными стеклами: стекло, мануфактура, кожа, машины, колбасная, мебель, готовая бакалея — изогнулись клюкой. Они замкнуты высоченным забором от другого квартала частных домов. Не видать. Одни проездные ворота — на ночь запирают — ведут в это складочное место купеческих товаров, выброшенных ящиков, всякого гнилья и мусора, стружки, опилок, рогожи, сена и соломы.

Ухорóнье. Крысы. Уборные. Даже для чего-то кой-где посажены березы. И растут в этом жирном смраде.

Сюда приходили и приводили с собой пьяных проститутки. Половые и приказчики брали откуп за помещение натурой. Любая — любому. Все друг друга знали. Проститутки берегли квартиры, берегли хозяев.

— Нельзя! — кричали одна и другая. — Погоди малость! Навáришь! Я запретная для тебя! Остужайся, остужайся, чорт, не лезь зря.

Вася всё видел... Нонна не обучила, а оттолкнула, напугала...

— Эх, Васька, ты на сухих! — поддразнивали половые, идя от „одинцов“ и „двойней“.

Васе было любо молодечество, но ему еще в монастыре старец Нафанаил и Одинцов и послушники наговорили всяких страхов о женщинах.

Только раз, чтобы похвастаться и сравняться с большими, заставить их перестать смеяться над ним, Вася в одиночку постучался в знакомое окно с геранями и плотной занавеской. Маленькая, как девочка, по прозванью Дунька-мотылек, удивленно выпучила глаза на Васю. Никто к ней и никогда не

стучался днем. Мальчишка из „Светлорядской“, бывавший у ней с шестерками, совсем не походил на привычного гостя. Он стоял у окна в диковинном виде: с удочками, с корзиной и подсашником. Парень все-таки настойчиво шевелил губами, улыбался и делал какие-то знаки. Дунька-мотылек поняла, что он охранял ее тайну и не хотел привлекать к себе внимания. Потому он тревожно и оглядывался по сторонам в глухом хотя, но все же не безлюдном переулке.

Дунька-мотылек любопытно приоткрыла окно.

— Пусти, — шепнул Вася.

— Зачем?

— Надо.

— Тебя ко мне кто-нибудь послал?

— Нет, я сам.

Вдруг Вася вспыхнул, застеснялся, и глаза у него сделались злыми от досады.

— Да за тем, — отчаянно сказал он, — за чем другие ходят.

Дуньке-мотыльку такая решительность парнишки показалась настолько смешной и забавной, что она не удержалась от легонького смешка и согласилась пустить необычного посетителя.

Вася воспользовался свободным днем. Отец иногда отпускал сына по грибы, на рыбную ловлю, просто так побегать.

Дунька-мотылек отперла дверь, посмеялась, как Вася вталкивал длинные удочки и бережно ставил их в сенях, тут же сунул свою корзинку с рыболовными принадлежностями и съестными припасами.

— Давай пива! — подражая шестеркам, потребовал Вася.

Пиво появилось.

— Будем пить! — твердо сказал гуляка. — Я на рыбалку не пойду, а останусь у тебя.

На последнюю фразу Дунька-мотылек так и раскатилась. Вася успел выпить стакан. Он будто бы уже раньше „заложил за галстук“, сразу от пива начал хмелеть, ничего не понял, пьяно поддержал смех и обнял Дуньку-мотылька за талию.

Вся Васина смелость пропала, когда хозяйка скрылась под пологом над кроватью.

— Эй, старичок, что ты медлишь? — дико, неистово хохоча, через силу пробормотала девушка.

Кровать и полог сотрясались. Дунька-мотылек с веселой и смешливой мордочкой глянула на Васю.

— Дуня, давай поговорим сначала, — красный, сознавший свое глупое положение, робко попросил гость.

— Никак, ты протрезвел? — забавлялась лежавшая женщина. — Иди сюда, и поговорим.

— Нет, ты ко мне сойди.

— Ха-ха! — совершенно задохнулась Дунька-мотылек. — Ну, ты мне и задал загадку, Васютка!

Как ни был Вася растерян, он заметил в глазах девушки приязнь и расположение к себе. Она действительно вскочила с кровати в одной рубашке, прыгнула на колени к нему, обвила его за шею голыми бледными руками и стала бессчетно целовать его лицо.

— Да откуда ты, дурачок, взялся? С луны упал? — спрашивала она, тиская уже большого костлявого верзилу с румяными пушистыми щеками.

Вася ничего не мог ни сказать, ни объяснить открыто.

— Я тебе на ухо, — прошептал он, не глядя на свою соблазнительницу.

Дунька-мотылек подставила ухо и выслушала внимательно и серьезно.

— Честное слово, здорова, — уверила она и совсем подетски долго смотрела на Васю, словно никак не приходя в себя от удивления, потом опять расхохоталась, прижала его голову к худой грудишке и навила на палец непокорные Васины кудри.

Вася ушел близко к вечеру, вдруг заскучав.

— Ты еще на вечерний клев успеешь, — ласково подшутила Дунька-мотылек, помогая Васе вытаскивать громоздкие удочки. — Приходи еще. Я тебе всегда буду говорить...

Может быть, адрес дашь: я тебе открыточку пришлю. Так и будем переписываться.

Всё переменилось: Вася теперь никому не хотел уже говорить, что произошло у Дуньки-мотылька. У него пропало желание бахвалиться перед половыми: пусть те думают о нем по-своему!

— Обещаешь? — снова переспросил Вася.

— Слово свято.

Веселый смех Дуньки-мотылька еще был слышен из сеней, когда Вася уже скрипел калиткой.

Так это и умерло, никому не раскрытое и дважды не повторимое: Вася не воспользовался приглашением. Наоборот, он никогда больше не заходил сюда и вместе с шестерками. Ему было стыдно.

Муки пришли утром. Вася заподозрил Дуньку-мотылька в обмане. И ужаснулся. Почему-то, откуда-то он слышал — надо ждать два месяца. Ничего. А может быть, надо ждать три?

В стыде, в трепете, с дрожью губ, Вася оказался в приемной у Ивана Никанорыча. Это вологодский старожил-доктор. Сед. Толст. Говорят, курит во сне. Так, не просыпаясь, вынимает окурок изо рта и вставляет свежую папироску. Лечит худую болезнь.

— Когда?

Вася что-то прошептал.

— Не слышу! — загремел доктор. — Два с половиной месяца? Так все и было?

— Так.

— Сколько лет?

Вася запнулся, но три года прибавил. Иван Никанорыч, однако, не поверил.

— Придешь домой, — неожиданно насупясь, сказал доктор и взял Васю за руку, не отпуская, — попроси отца, чтобы он тебя хорошенько выпорол. Хорошее лекарство. Другого тебе не надо. Или выпорол или женил на розге. Это одно и то же.

Бери обратно свой рубль. Дарю тебе на гостинцы. Ни на что, смотри, не трать кроме орехов да рожков. Это тебе как раз еще лакомство. Помни, ко мне ходят страшные люди. Не попади в их число. Тогда беда!..

„Светлорядский“ трактир делился на чистую и черную половины: в чистой — публика в калошах, в шляпках, словом — брюки навыпуск, купцы во всяком виде и худощавые чиновники с кокардами; в черной — мужики вразнобой, от деревенских до городских ломовиков, шатия, мастеровщина, проститутки... У стойки — всякая проходная, летучая: опрокинул рюмку или стакан и уже бежит, на бегу жует рыжик, сдачу сует куда попало — в кошелек, в карман, под картуз... Такой торопыга обязательно стучит дверями.

Табачный дым густ и сер и кудряв, как овчина. Оглушителен звон тонкой водочной посуды, бурчат фарфоровые чайники, верещат железным хрипом подносы. Толчея и гам голосов, бранчливая неразбериха, тычки, драки, ёрзанье по полу тяжелых и грубых сапог... Толчок в каменном сыром, как гнилая яма, ящике.

Вася скоро утратил всю деревенскую розовость щек. Однажды он пошатнулся и упал. Федор Степанович сократил рабочее время: от двенадцати до шести.

Вот тогда-то Вася и попался. Напротив „Светлорядской“, через широкую дорогу и два бульвара по каждой ее стороне, был трактир без крепких напитков „Малый Ярославец“. Там пекли расстегаи наособицу. Повара переманивали все трактиры и рестораны. Там биллиардная с маркером Осинкой. Он любому давал пятнадцать очков в пирамиду и клал партию с кия. С ним играли только еще не обыгранные приезжие. Вася не захотел учиться ма́зиком. Начал с кия. Прорвал сукно. Двадцать пять рублей. Нет. Виновника Осинка повел к Федору Степановичу. Вася вырвался и убежал. Это не помогло.

— Где взял деньги? Я знаю всё. Ты заказывал расстегаи. В биллиардной держал по рублю ма́зу. Заплатил Осинке три

рубля. Он тебя учил играть, — допрашивал папа. — Ты взял из кассы? Занял? Тебе дала мать? Ты накопил?

— Взял, — едва поворотился язык признаться, но тут же Вася уже вывертывался и заглаживал вину: — Меня научили шестерки...

Удивительно: папа на этот раз не бил за воровство, но почему-то схватился за голову, закрылся руками, пригорюнился и долго просидел за столом, ни с кем не говоря. Когда он поднялся, глаза его покраснели.

Перед уходом на рабту он запер в платяной шкаф Васино пальто, пиджак и шапку, положил ключ в карман, не доверяя маме, и сказал раздетому сыну:

— Надо бы тебя отправить в исправительный дом в Самарьинский сад, да попробуем еще немного сами управиться. В квартире можешь, забалуй, на голове ходить, а на улицу — ни ногой.

В Самарьинском саду древесная гущина, пруды, дорожки, высокие светлые дома для малолетних преступников. Там бывали веселые благотворительные гулянья с музыкой, с лотереей, игрой в „коньки", с концертом и с фейерверком. Там, пожалуй, лучше сидеть за высоким забором с зубастой пилой гвоздей поверх, чем на Кобылке в заточении. На улице похолодало: не выскочишь.

Мать уходила на базар. Тогда в ее шали выбегал на двор. Но в шали неловко: все понимают и подсмеиваются. В Самарьинском саду, наверно, не отнимают пальто и шапку.

Федор Степанович отстранил Васю от торговли. Васе запрещено было когда-либо ходить по трактирам. Редко-редко, только по делу, мог появиться он и в „Светлорядской". Федор Степанович снова занялся подготовкой сына „на барина".

Двадцатого каждого месяца около двух часов дня начиналась особо поспешная заготовка закусок в буфете. С кухни от Федотова плыли, как малые и большие льдины, блюда, тарелки, соусники и миски. Стойка загружалась почти внавал.

В листовой тетради с клеточками Вася записывал. Федор Степанович быстро считал яства поштучно.

— Рыжиков сто! Груздей пятьдесят! Селедки сорок! Огурцов двадцать!

Рыжики, грузди, куски селедки поступали копейка за пару: это буфет должен кухне.

Времени оставался час.

— Кроши, — сказал папа, принимаясь за работу. — Пойдем в лес за грибами.

Не крошили только при Шевелюхине: он продавал грибы и селедки за полушку, буфетчик торговал вчетверо. Пьяницы закусывали в большой прибыток.

За Толчком, против „Светлорядской“, на речном берегу длинное, о трех этажах, каменное здание — присутственные места: уделы, казенная управа, казначейство, контроль, государственные имущества...

Высохшие, испитые чиновники — завсегдатаи „Светлорядской“. Федор Степанович обзавелся широким знакомством с настоящими, живыми коллежскими регистраторами, губернскими секретарями и даже титулярными советниками. Сюртуки, мундиры, пиджачки... Пьяницы сплошь. До двадцатого должáют.

— Чины у них стоющая вещь, — говорил папа сыну, — нам только чины и надо. Больше от чиновников перенимать нéчего. Гольтепа!

Двадцатого торговали хорошо: к запору трактира несколько раз менялась снедяная стойка, чиновников выводили под руки на улицу, некоторые из чиновников уже рылись по всем карманам, будто бы отыскивая где-то запропастившиеся деньги.

— На запись? — строго спрашивал Федор Степанович, однако без желания потерять постоянного посетителя.

— На запись...

Один такой, средней руки пропивоха, в пьяном виде горлец и крикун, в трезвом — тишайшая голубица и скромница,

Константин Константинович Спорыньин взялся подготовить Васю к экзамену на первый классный чин.

Спорыньину было под сорок; когда-то он учился в гимназии, не доучился, поступил в казначейство и недавно получил производство в титулярные советники.

В „Светлорядской“ вспрыскивали. Константин Константинович горделиво принимал поздравления. По сему случаю Федор Степанович также захотел принять участие в торжестве и прислал за стол молодого титулярного советника угощение: полуторный графин водки с закусками и бутылку любимой чиновником зубровки. Вкусы каждого знали.

За взаимными поздравлениями и благодарностями пьяневший Константин Константинович, покачиваясь у стойки, убежденно воскликнул:

— Клянусь моей наблюдательностью, чтой-то, чтой-то в лице этого мальчика особенное, чрезвычайное!.. — он нагнулся к Васе и похлопал его по плечу.

Спорыньин сразу попал в два сердца. Вася повертелся минутку за буфетом и побежал смотреть на себя в зеркало на чистой половине. Ничего особенного он не нашел: нос как нос, широковат и увесист, толстые губы вроде сосисок, уши — точно лабуньки стоймя, глаза маленькие, хуже обыкновенных... Лесть победила Федора Степановича.

— Он будет человек высокого чина! — продолжил пророчество Константин Константинович и, словно наперед отказываясь гнаться за будущностью Васи, махнул безнадежно рукой. — Он... он нас за пояс заткнет!..

Тут же и договорились начать с маленького, а потом шагнуть дальше. Спорыньин напился вдрск, все деньги оставил в трактире. Будущего учителя в бесчувствии отправили за счет Федора Степановича на извозчике домой, и он недели на две пропал.

Константин Константинович выпучил глаза, когда ему Федор Степанович напомнил. Но взялся. За это время Вася успел разорвать биллиардное зеленое сукно и поплатиться.

Спорыньин жил по соседству, на Кобылке. Вася быстро разгадал немудреного учителя. Написали диктовку, и Константин Константинович полез смотреть в книжку. Правда, Спорыньин сначала только косил глаз на сомнительное слово, но этого уже было достаточно ученику. А тут еще Константин Константинович осторожно придвинул локтем к себе книгу.

В следующий раз Вася нарочно врал — и учитель пропускал ошибки. Задачу решали вместе, вместе заглядывали в ответ и вместе удивлялись, почему не выходит.

Много пили чаю. Спорыньин играл на гитаре и тихонько ворковал любовные романсы. Константин Константинович был холост, мечтал о женитьбе, а рядом на диване грустно вздыхала о замужестве сестра, старая дева, с заковыристым именем Эвфалия. Она и вела хозяйство. Вася был как свой в крохотной квартирке из двух комнатушек с кухней. Учебники на первый классный чин никому не были нужны.

Вася располагал временем, как хотел. Но деньги, но деньги... Папа понемногу смягчился. Маму пришлось напугать. Вася стянул из шкатулки отцовскую серебряную цепочку от часов и заложил ее в ломбард. Мама надрала уши сына до красноты, но скрыла от отца кражу и цепочку выкупила. Соблазнительная вещь была спрятана надёжнее. Теперь давала деньги безропотно, чтобы наследник не повторил воровства. Мама торговалась, плакала — и укрывала...

Вася все-таки играть кием выучился, сукна больше не рвал, шлялся из биллиардной в биллиардную, был знаком со всеми маркерами, выигрывал у новичков, давал и брал „вперед". Заправский игрок! Сначала расстегаи, по примеру старших, поедал с выпивкой. Но водка не шла в горло, как отцу табак. Остались одни расстегаи. Хаживали со Спорыньиным: тот пил, Вася закусывал.

В конце Зосима-Савватьевской улицы стоял широконосый, с террасой и двухскатной огромной крышей, двухэтажный амбар. Цвет — кирпич, перетертый с землей. Во лбу здания

деревянный налепной лев с саблей. Герб помещика Меркурьева. Амбар-театр.

Надо было попасть туда, под потолок на галлерею, — и всё пропало. Шел „Шерлок Холмс". Вася вместе с Шерлоком прятался в часах, лазил на деревья, обрывался с гор. Когда Шерлок, скрываясь от погони, разбежался, прыгнул на стул возле окна, просунул голову в раму и застрял, — не соразмерили довольно толстенького Шерлока с оконным узким отверстием, — Вася в забывчивости крикнул:

— Скорее, скорее!..

Кругом засмеялись и зашикали.

Городовой положил крикуну тяжелую руку на плечо.

— Пьян? Не знаешь, што в тиятере?

Городовой вгляделся в Васю.

— Шшш... перестаньте, — забормотала галерка.

— Я не нарочно, дяденька, — почувствовал себя совсем маленьким Вася.

Между тем Шерлок изловчился... Преследователь было выглянул из дверей, выставил одну ногу и убрал ее.

— Рано, чорт! — ясно донеслось из-за сцены.

Шерлок вывалился в окно боком.

На другой день Вася долго просил у мамы двадцать семь копеек: это стоимость галерочного билета на любое место стояком.

На „Материнском благословении" Вáся загородился растопыренными руками от напряженно замерших соседей внавалку, и слезы брызнули, как вода из лейки. Жалко было всех, а больше всего — обманутую девушку. Старуху̀ играл Пузинский.

— Пузинский, Пузинский! — сотрясался от невиданного гвалта амбар Меркурьева.

Константин Константинович в театре бывал в возрасте Васи. Он давно забыл туда дорогу. Будущий коллежский регистратор подсунул Федору Степановичу титулярного советника, и тот подтвердил, что ученику следует бывать там.

— Я без театра... как... без рук, — сказал заикаясь Спорыньин, — еженедельно...

Федор Степанович предовольно умилился, гордясь честью, выпадавшей на долю его сына.

Вася являлся задолго до отпора дверей на высоченную лестницу, приводившую внутрь. Это когда были деньги и можно было проскочить первым, чтобы занять лучшее место в самой середине. С пустым карманом Вася лез в гуще толпы, стараясь проскользнуть незамеченным мимо двоих билетеров, дежуривших у верхних дверей. Хватали и выталкивали. Прорывался...

Неспокойно в антрактах. Ходил контроль: искали безбилетников. Ловили. Пинали под некоторое место. Возиться самим некогда: сдавали городовому. Тот выпроваживал с высокой лестницы, лупя „селедкой“ в ножнах.

Надо было крепко держаться за лестничьи перила, чтобы не сосчитать все ступени. Билетеры пускали без билетов задешево: к началу — за пятиалтынный, ко второму действию — за гривенник. Хотя бы попасть к концу, но только попасть! Перестал покупать билеты, по знакомству должáл.

Театр овладел. Днем на Кобылке, сидя дома или у Спорыньина, Вася переживал вчерашнее, рассказывал, представлял...

Не мог же Константин Константинович ходить в театр каждый день! Федор Степанович рано или поздно должен был догадаться об обмане. Вася решал до десяти посмотреть и послушать, а потом уйти, чтобы к приходу отца оказаться дома. Так завел папа: гонять шелопаю собак не до поздней ночи.

А как раз к десяти кончалось второе действие и начиналось третье, нарастали события, приближалась развязка, словно ловкие пожарные лезли по лестнице на чердак, на чердаке дымило, но огонь был спрятан под крышей. Решал оставаться на отчаянность.

В страхе перед отцовскими побоями, осторожно стучал в

кухонное окно за полночь. Мать, дожидаясь, не спала. Тотчас отпирала. Тыкала в бок и шептала угрозы. Выдумывал всякие поводы. Спал папа — наутро мама убавляла время возвращения: Вася прибывал точь-в-точь, когда Федор Степанович лег и заснул.

Иногда отец вставал. Огромный, в белом ночном белье, с кудлатой головой, с ремнем в длинных руках, он, выходя из себя, яростно, до синяков и кровоподтеков порол театрала.

— Федя, Федя! — отнимала, полуплача, мать. — Будет! Довольно! Изувечишь! Свой ведь, а не чужой!

— Пусти! — бесновался отец. — Лучше убить негодяя, чем срам от него иметь. Каждая сволочь в глаза тычет: ваш-де сынок там-то и то-то сделал!..

В запальчивости и тесноте Федор Степанович попадал по Марьюшке или с силой отталкивал ее. Тряслась жиденькая перегородка между двумя комнатушками, звенела посуда в горке, просыпались спавшие на полу Васины сестры, выглядывали, ворочались испуганно, закрывались одеялами с головой.

Федор Степанович кончал, тяжело дыша. Все знакомо повторялось. Журчит вода из крана на кухне, щелкает вынутая из бутылки с уксусом пробка: это мама охлаждала папу, приготовляя ему компресс.

И скоро тишь. Слезы, как скупая капель из завернутого крана: кап, кап... Скоро Вася услышит осторожные шлепки по полу голых ног матери: это она ему принесет остатки ужина. Значит проверено, — Федор Степанович заснул...

— Жри, побродяжка, — ловил Вася взволнованный шопот и — молчание... и мать тихонько подымет одеяло над сыновьей головой, а сын притворялся обиженным и несчастным и почти забитым на-смерть. — Больно? Так тебя и надо!.. Мало тебе! Милостиво дерет тебя!

— Ну, и иди к нему спать, — грубо отталкивал Вася маму, — раз тебе не жалко меня.

— Пес! — сердилась Марьюшка. — Его кормят, а он кусается.

Скрипит двуспальная кровать: мама легла.

— Я ему говорил... я ему говорил, — бормотал Федор Степанович, должно быть, продолжая наказывать сына и во сне.

Васе не спалось часами: волнение от театра и побоев. Все бранные слова отцу сказаны и передуманы. Но больше бить не будут. Отец отходчив. Завтра, Вася знал, папа будет хмур и бледен, но в то же время стеснителен, ни разу не взглянет, промолчит день и вечер, а может быть, позовет в трактир обедать или с мамой пришлет оттуда что-нибудь вкусное. Так всегда. А то сразу развеселится и даст двугривенный и даже пошлет в театр. Вдруг вынет из жилетного кармана билет и скажет:

— На́ вот тебе. Я давеча нашел на полу. Кто-то обронил...

Это он, заглаживая обиду, нарочно посылал шестерку в театральную кассу еще с утра.

Ночь. Федор Степанович теплил перед иконой Василия великого большую, как полоскательная чашка, синюю с белыми вдавлинками лампаду. Мир. На ночь оправлял ее сам. Она никогда не коптила. Папа аккуратен.

Не спалось. У Васи были недочитанные книги. Давно внесен рубль залога в библиотеку на Кирилловской улице. Брал там. Брал у Константина Константиновича: „Нива“ с приложениями, „Родина“. Эвфалия и Вася читали вслух попеременно Спорыньину. Он слушал, полулежа на диване, спускал с него одну ногу, чтобы, упершись в пол, удобнее налить из бутылки крошечную, почти с пистóн, рюмку водки.

Ночью запрещено зря жечь керосин. Но на Кобылке нельзя без огня: водились воры.

На кухне жестяной ночник. Привернут. Прокрался туда. Ночник уже у подушки, загорожен стулом с повешенными на спинку брюками и пиджаком.

Приходила тушить огонь мать и уносила ночник. Тушил его белый рассвет, будивший окна...

И опять за старое... за новое. Васе захотелось самому написать пьесу, чтобы ее играли в амбаре Меркурьева, и непременно играл Пузинский старуху, а старуха уже готова: это Александра Павловна с длинным чубуком. Ни в одной пьесе не было такой старухи.

Спорыньин прочитал четыре действия Васиной пьесы и захохотал:

— Да ты, Василий Мещерин, — сказал он покровительственно, — совсем еще молокосос. По твоей тетрадке, только актеры выйдут на сцену, им и делать нечего.

Пьеса занимала шесть страниц тетради. На большее не хватило. Константин Константинович не мог объяснить, как это можно найти столько слов, чтобы достало их на четыре часа говорить в театре.

— Это секрет писателя, — таинственно важничал Спорыньин, — никто не знает. Я переписать могу толстую, как книга, ведомость в казначействе, а самому мне ничего не написать.

Но тогда же было прочитано „Воскресение“ Толстого. С чужими словами дело пошло проще. Вася принялся переделывать в пьесу „Воскресение“. Школьная тетрадь за три копейки наполнилась каракулями. Теперь и одно действие не влезло в нее. Вскоре Вася неприязненно вздрогнул на улице: с круглой вертушки для объявлений чернела театральная афиша. Кто-то успел переделать „Воскресение“ до него. Вася ревниво критиковал соперника, но был и горд, что услышал со сцены те же слова Нехлюдова и Катюши, какие переписал в свою тетрадку.

Месяцев так через пять от начала подготовки на классный чин Константин Константинович однажды упился в „Светлорядской“ до состояния, в котором делался нестерпимо заносчив. Спорыньин весь вытянулся точно солдат на смотру и в недосягаемой гордыне на какую-то добродушную шутку Федора Степановича резко крикнул:

— Вы только буфетчик и... кошелек, а я бедняк, но я дворянин! Я на государственной службе! Без меня не обойдутся. А вы, — Константин Константинович презрительно сморщился, — вы... спаиваете нас... грабите! Вы... злоумышленники!..

Федор Степанович сначала отделался смешком, но Спорыньин привязался и наступал:

— Злоумышленники! Обиралы! Копеечники!

Терпение оставило буфетчика.

— Это ты обирала! — гаркнул он, багров и решителен. — Ты бесплатно у меня бочку водки выпил, а толку нет. Перевод времени. Водку задаром хлещешь, а парнишку ничему выучить не сумел, кроме нового баловства по театрам шляться!.. Михаил, — приказал он здоровенному половому, обслуживавшему буфетную комнату, — вынеси... этого мазурика на волю. Заткни ему глупое горло! Дай ему за похвальбу дворянством в шею, чтобы до бульвара бежал рылом вперед!

Михаил швырнул салфетку с руки на свободный столик, крякнул, подхватил Спорыньина и вынес на улицу; у того только ноги болтались на весу, он напрасно хватался за звеневшие стеклянные двери.

Федор Степанович потешался у окна, разглядывая Константина Константиновича, действительно оказавшегося невдалеке от бульвара карабкающимся на земле. Михаил беспрекословно выполнил привычный заказ.

Спорыньин с жалким видом показывал на оторванный рукав своего пальтишки, затыкал в прорешку вылезшую подкладочную вату и стыдил полового. Михаил насмешливо передразнивал, делая притворно испуганное лицо.

На другой день Константин Константинович смирненько, не здороваясь, проскочил на чистую половину, но не выдержал и пришел извиняться. Помирились. На мировую даже чокнулись: Федор Степанович — горячим стаканом чая, а Спорыньин — рюмкой водки.

Занятия прервались: и не вспоминали. Вася так же частил к Спорыньину. Никаковский учитель, но квартира уютна, вкусен гостевой радушный чай Эвфалии, весела и звонка рокотунья-гитара, а главное — Максим Горький.

Вася принес Константину Константиновичу в серовато-зеленоватой обложке библиотечную книгу; открыли — и не закрыли. Про́няло Спорыньина, Вася захлебывался, точно тонул в бочаге. Одна Эвфалия часто краснела и пряталась за самовар: слова попадались кре́пки, как говор на Толчке.

Вот когда понадобилась черная половина в „Светлорядской“, с „золотой“ ротой, с пропойцами, с проститутками, с ломовиками и с ворьем. Все завсегдатаи черной половины — отвратительные, презираемые — преобразились.

— Эй, Максим Горький! — покрикивали шестерки. — Ты чего со своей водкой пришел? Ты чего, ворина, в карман лезешь!

Вася теперь старался чаще проникать к отцу в трактир, охотно мчался с поручением от матери, выбирал время посидеть среди золоторотцев, пожать им руку, послушать их пьяный бред... Появились сочинения, в которых описывалась „Светлорядская“.

Константин Константинович судил строго.

— Не походит! Совсем не походит! — говорил он, отрицательно качая головой. — Федот, да не тот.

Эвфалия, зардевшись, как спелое китайское яблочко — желтизна с красниной, резко пригрозила:

— Я тебя к нам пускать не буду! Ты пишешь слова — бумаге стыдно! И все брань, брань, как у деревенского мужика!

Выгнали Васю, однако, не за это.

Окна квартирки Константина Константиновича выходили на двор, в закоулок у забора. Там репей и крапива, кошки, воробьи... Внизу. Вася часто пробирался сюда, садился на подоконник, Спорыньин лежал напротив у стенки на кровати, — так и разговаривали.

Вася пришел под вечер. Окно было закрыто и завешено: нет дома. Вася решил проверить: он потянул створки.

— Ай! — отчаянно крикнула Эвфалия, прикрывая голую грудь, когда довольный и улыбающийся гость приподнял занавеску.

Васю словно ударили по глазам и оглушили: он жалко растерялся и не опустил занавески. Улыбка появилась, как вспышка спички, и пропала.

Брат и сестра лежали на кровати обнявшись. Вася увидал вскочившую Эвфалию во весь рост. Так она и бросилась к окну, в ярости ударила Васю по щеке, столкнула его рывком в грудь с подоконника и захлопнула створки. Лежа в репьях и крапиве, Вася огорошенно следил, как Эвфалия оправляла занавеску. Для чего-то он дождался, чтоб еще раз увидать Эвфалию, а не одни ее сновавшие по занавеске пальцы. Она выглянула в узкую щелку — замерла... и пришпилила края занавески с обеих сторон к косякам.

Константин Константинович исчез из „Светлорядской". Вася во что бы то ни стало желал встретиться с ним. Он подстерег его у самого казначейства.

Спорыньин, отвернувшись, прошел, замедлил и подождал Васю.

— Ну, видел! — вдруг закричал он на него со злобой. — А кто тебе, шаталка, поверит. Чего тебе от меня нужно?

Вася не знал, что ему было нужно и для чего он подстерегал чиновника.

Эвфалия — та просто не узнала Васю при встрече. И почему-то это было обиднее.

Ушел Константин Константинович. Пришли другие. Другой титулярный советник, Ферапонтов, повел Васю в государственный контроль и посадил за огромный, в чернильных засохших лужах, столище. Васе сшили новую пару и картуз, похожий на чиновничий. Вскорости Ферапонтов передернул с недоумением маленькими плечами в сюртуке и как будто оправдывался в чем-то перед Федором Степановичем:

— Не могу-с... Он так наваракал в бумагах, я получил выговор. Столоначальник приказал гнать и найти писца грамотного. У нас у всех почерка — писать царские грамоты. У него-с — как у первогодка в школе...

С Васи сняли новую пару и разрешили надевать ее по двунадесятым праздникам и в именины. Новый чиновник государственного контроля прослужил неделю.

Федор Степанович неотступно выводил „в люди" недоросля: ему искали подходящее место. Пробовали в нескольких учреждениях. Зацеплялся. Ненадолго. Опаздывал, манкировал: изгоняли.

В городском театре — вход с задней лестницы — часа за полтора до начала представления впускали статистов.

— Сегодня десять! — кричал распорядитель. — Сегодня пять!

Отбивали друг у друга дверную дыру, чтобы проскочить в десятке или в пятке.

Статисты изображали толпу. Пятнадцать копеек разовых за выход. И контрамарка на следующий спектакль: галлерея. Вася нашел безденежный способ бывать в театре. Теперь подобрели и билетеры, считая Васю своим: пропускали так. Редко-редко отказывали: при переполнении театра.

Федор Степанович искал советников о судьбе сына. Вася поступал в фельдшерскую школу, в торговую, в учительский институт... Везде нужны были экзамены, а на экзаменах задачи по арифметике. Не выходило.

— Болван! — кричал Федор Степанович, стискивая кулаки. — Ты скоро будешь переросток, и тебя никуда не примут! Опомнись и возьмись за дело!

Вася стал переростком. Но брали и переростков.

Лес. Лесничество. Лесничие. Объездчики. Лесные кондуктора. Предстояла поездка. Открывалась лесная школа. На Сухоне. За триста верст.

Федор Степанович узнал и обрадел. Он крепко взялся за сына. Месяца два перед отъездом каждый день на Кобылку

ходил отставной прапорщик — инвалид Завьялов. Он преподавал, как командовал:

— Задача... Стройсь! А ну, вытянем во фронт это цепное правило...

Вася вертел в руках карандаш и незаметно усмехался.

— Марш!.. Первое действие... Ну, ну, шагай!..

В конце августа Федор Степанович собственнолично доставил Васю на пароходную пристань.

— Пойми, — шептал отец, — школа новая. Первый раз берут. Поди, народ еще не знает. Легко попасть. Будешь самостоятельным человеком. Лесной кондуктор. Сорок рублей жалования, бесплатная квартира... Потом дальше учиться, если захочешь... Постарайся.

Проводить вышел и бездельничавший Завьялов.

— Смелость... прежде... всего, — раздельно покрикивал прапорщик, — смелость... и ловкость. На-а пле-е-чо! — и Завьялов изобразил пустыми руками, как умелый солдат орудовал ружьем. — Выпад вперед на экзаминаторов!..

Федор Степанович удержал Завьялова от показа выпада вперед, взяв прапорщика под-руку.

— Стой, стой, Иван Иванович, — усмехнулся он, — тут кашу маслом можешь испортить. Молодец у меня страсть переимчивый. Он вместо экзаменов такие „ряды сдвой“ выкинет... все пропало!

Вася стыдливо оглядывался по сторонам, испытывая неловкость от своих провожатых. На них глядела публика. Кой-где перешептывались.

Пароход наконец отвалил. Докучный час прошел: Федор Степанович всегда прибывал на пристани и на вокзалы с с запасом времени.

— На пристанях, полоротый, от корзины не уходи! — крикнул Федор Степанович последнее напутствие. — Живо выгрузят!

Вася вылез на палубу. Он выждал, покуда пароход „Братья Варакины“ достаточно отплыл и родитель исчез в пыльной

дали. За толстой пароходной трубой, незаметно от пассажиров, Вася слазил в чулок, поспешно отстегнул английскую булавку и достал теплую коробку папирос.

Вася освобожденно уселся на беленькую сквозную скамейку, закинул ногу на ногу и закурил. Деревянный город с синими, голубыми, золотыми и серебряными копнами церковных высоких глав плыл мимо. Вася тотчас вообразил себя загадочным путешественником, отправляющимся в неведомое и опасное плавание. Он покидал город, где оставил в слезах грустную красавицу. Впереди его ожидали препятствия, но он ничего не боялся. Он смел и умен, и находчив, и ловок, как все герои из прочитанных книг.

Еще почти не отъехав от города, Вася несколько раз мысленно утопил пароход, спасал тонущих пассажиров (ему нравилось спасать одних женщин). Все растерялись, мечутся, а он вышвырнул из рубки увальня-капитана, сдернул с него капитанскую фуражку, надел на себя и толково распоряжался:

— Матросы, в воду! Спустить лодки! За борт столы и скамейки!

Потом у него для чего-то оказался в руках револьвер... на минуту задумался, не зная, как употребить оружие... Ах, да, — револьвер нужен, чтобы свести счеты с помощником капитана, который уснул на вахте вместе с лоцманами и погубил судно.

Потом Вася взрывал котлы в машинном отделении...

...Пароход „Братья Варакины" — в щепки. Все погибли. Только он и одна девушка уцелели. Он подошел к ней. Она бросилась к своему спасителю на шею, а он ее, бесчувственную, понес на руках в лодку, сел за весла и с могучей силой зачерпнул волну, и лодка пошла точно на парусе. Правда, он не знал, куда везти свою возлюбленную (она между тем спокойно спала и улыбалась во сне): на Кобылку нельзя — папа не пустит и, пожалуй, выйдет с ремнем... Тогда и нашлись родители девушки. У них за́мок. Он стоит

в верховьях реки Вологды. День и два и три гребет Вася, а девушка спит и спит. Река стала узка, она в камышах. Но все же приехали. Он несет на груди спящую дочь владельца замка. Черное вероломство и неблагодарность! Отец приказывает схватить спасителя. Его сажают в башню. Просыпается девушка. Опять измена! Дочь походит на отца. Богатый и знатный сосед отбивает ее у Васи и берет в жены. Вася сидит в башне тридцать лет. У коварной рождается сын, почему-то похожий на Васю. Он узнает о заключенном и освобождает его, а свою мать в наказание сажает в ту же башню. Но Вася благороден. Он и за тридцать лет заточения не перестал любить вероломную женщину. Вася дожидается ночи. Крадется к башне. Закидывает в окно возлюбленной веревку. Она привязывает ее к решотке и спускается по веревке в объятия освободителя. Тогда почему-то сын приходит в негодование. Беглецов хватают и сажают вместе в подземелье. День и ночь заключенные голыми руками делают подкоп и наконец вылезают на волю. У Васи седая саженная тридцатилетняя борода, но волосы любимой шелковисты и белокуры, как в восемнадцать лет. Влюбленные приезжают в Вологду. Федор Степанович плачет от радости: не ждали погибшего сына. В „Светлорядской“ грязно и вонюче. Свадебный стол устраивает Федор Степанович в перворазрядном ресторане купца Межакова...

Мечты оборвались как раз в то сладкое мгновение, когда пирующие за свадебным столом крикнули: „Горько, горько!..“

— Ваш билет? — строго сказал помощник капитана в белом кителе и подождал, покуда Вася в растерянности никак не мог отыскать билет в карманах. — Пассажирам третьего класса запрещается пользоваться палубой! Плати штраф!

Вася неловко поднялся. Помощник крепко взял его за рукав.

— Я не знал, — оправдывался мечтатель.

— Пошел вниз! — крикнуло пароходное начальство. — Там у вас возле селедочных бочек да на канатах своя палуба!

Среди чистой публики ладят! Тоже пиджак надел будто для второго класса, а билет третьего!

Помощник проводил до лесенки и приказал дежурившему там матросу:

— Игнат, выпусти этого зайца! Заметь! Увидишь снова на палубе, доставь ко мне.

Корма третьего класса тесна, внабивку. Гармошка, черный хлеб, картошка, огурцы и водка... Мечтам — неудобно. Они тут росли скупо: мешали перебранки за краешек палубы, пьяные песни, гвалт и писк детей...

Гнались чайки за пароходом. Швырял хлеб. Смотрел на разрезанные, как плугом, пласты вспененной воды, убегавшие за корму. Рвет ветер. Осыпает мельчайшей водяной пылью, точно пудрит...

На другой день к вечеру показались низкие желтые здания лесной школы. Вася сначала их принял за сторожки в лесничестве.

Дождь и лес. Широкий плес реки. Река шла, шла, ее закруглило тупоносо здесь, и устье стало маленьким озерком. Но Вася уже из дорожных расспросов знал: плес загромождали три смежных островка — Дéдов, Бáбий и Внуков.

Древние монастырские шлемы, башня колокольни бело мелькали в густой чаще деревьев. Это средний, Дедов остров. Школа стояла на левом берегу. Мели. Глубина около правого. Тут фарватер.

— Митрей Иванович! Митрей Иванович! Эй, Чумикин! — бегал по мокрому берегу какой-то мужик с мешком подмышкой, а свободной рукой махал картузом. — Эй, привороти! Возьми на пароход! Што я зря тебя караулю, небось, полдня с гаком?

Мужик вызывал знакомого капитана. Из рубки высунули медную трубу-рупор.

— Межегоркин, что ли?

— Межегоркин! Али, дьяволы, не признали?

В рубке посмеивались и баловались:

— Ныне пристань здесь отменена...

— Ах, ты, мать честная! — восклицал, суетясь, Межегоркин. — Да николи тута не было привала, а сажали, черти! Кто-о этто так-то глупо распорядился? Што я, на ночь глядя, до Тотьмы семь верст лесом пойду? У меня лён на десяти возах пошел в Тотьму из волости. Я тута выскочил из деревни Задней. Дай, думаю, наперед от островков шарну. Мне надо до мужиков угадать в городок!..

Пароход уже замедлил ход. В беспокойстве, что не возьмут, Межегоркин кричал все о том же, когда причалили к самой крутизне, сбросили трап, и мужик начал ползком карабкаться вверх почти по отвесу.

Вася воспользовался случаем и решил не доехать лишних семь верст. Его высадили.

— Ты покричи, парень, — сказал счастливый мужик, сочувствуя Васе, занимавшему его место на берегу, — вон монастырская лодка! Монастырские услышат и выедут. Пятачок за перевоз. Больше не давай: избалуешь!

Дождь моросил, не переставая, с ночи. В пасмури стояли леса. Берег чавкал и скользил. С ветвей деревьев капало крупно, как осыпало дробью. Вася следил за отплывающим пароходом. „Братья Варакины“ наверстывали убылое время, потраченное на задержку. Пошли полным... И Вася остался один.

Острова были безлюдны, точно там никогда и не жили люди... Но лодка у ближнего островка стояла, полувыдернутая на песочную отмель.

— Перевозчик! — позвал Вася.

Передразнило эхо — и ничего. Вася повторил десять раз. Эхо нагоняло друг друга.

Быстро смеркалось. Вот тогда Вася и струхнул. Под дождем, промокая, он сипнувшим голосом орал не меньше часа.

Протащился мимо буксир с двумя баржами. Какие-то развеселившиеся люди скалили зубы, а один, при общем смехе, пошутил:

— Спокойной ночи, парнишка! Кричи, не кричи — зря! Монахи пузырь наспали. Из пушки их не разбудить. Ты под елочку, под елочку головой, ежли медведь не нагрянет да не отведает человечинки! Тута ягодников пропасть: медведь матерой!

Вася пустил ругательство.

— Ото! — донеслось одобрение. — Парнюга неунынная кокушка! Молодчага! Этого и медведь испугается! Может, и нас не откинешь? Садись на буксир, мы тя в Вологде на берег спустим.

Вася надрывался от крика.

На буксире его пожалели. Вдруг там загудела густющая труба и начала разделывать на все лады — и коротко, и длинно, и с завываниями...

Тогда на горке островка показалась какая-то женщина в белой кофточке и пестром платке.

— Сюда, сюда! — так и взвыл Вася, увидев, как смотревшая на пароход женщина могла, не заметив его, уйти.

— Святые лежебоки! — загремел рупор с буксира прямо в лицо любопытной бабенки. — Перевезите себе на островок отрока, вон с правого берега, может, одна у вас будет душа негрешная в монастыре!

Крики рупора и Васи точно пронзили оба уха бабенки. Она спустилась к лодке, спихнула ее и взялась за весла.

— Кто такой? — совсем по-мужичьи спросила она.

Вася даже подумал: не переодетый ли это мужик?

— В лесную? Я не в лесную, а к нам на остров перевезу. Друга лодка дальше. Там отец Тихон командует. Да он, поди, спит... И тебе придется заночевать.

Вася испуганно бросился к лодке: а вдруг перевозчица не захочет перевозить?

Баба сильно гребла, одолевая кипяток течения. Она была широкостна и крутоплеча, но мала ростом. Вася даже стеснительно старался не смотреть на ее груди, — они, как два пышных хлебца, парусом натягивали кофточку. Икристые

ноги точеными столбиками, будто медные рупора с парохода, босые, почти до колен обнаженные, крепко упирались в поперечный лук лодки.

Баба разогнала ее, то-и-дело оглядываясь на берег.

— Мель? — догадался и проверил Вася.

— Она самая.

Лодка шаркнула по песку и остановилась.

— Минула, — сказала баба довольно. — Лонись в половодье каменья нам сюды со дна наворочало. Зубцы. Ровно на острогу сядешь. Вылезай!

Баба перекинула ноги через борт, поболтала ими в холодной воде и встала на дно.

Вася смерил взглядом расстояние до суши: сажен пять.

— Ну, молодец хороший, пятачок пятачком за перевоз, — протрубила баба, — а давай на-пару лодчонку вытянем до рубчика. Там я ее загружу камнем да к камню привяжу.

Вася растерялся. Он был в штиблетах с калошами. Перемерз, промок... А вода холодная: вот на средине икр бабы красная полоса — сюда доходила вода.

— Скидывай и бреди! — приказала баба.

Вася начал развязывать шнурки. Озябшие руки не слушались...

— Я сейчас, — сконфузился Вася, — вот только узел распутаю...

Вдруг баба лукаво усмехнулась и почти крикнула:

— Эдак я рожу ране!

Она скоренько подошла к борту лодки, подворотила Васе спину и скомандовала:

— Садись на кукорки! Я тя покатаю. Поди, так-то никогда не езжал?

Вася даже отшатнулся.

— Ну, не варо́вой, — сердилась она, — в городе на верблюде, случись, не стыдно, а тута в заминку... Полезай!

Красный, тотчас согретый волнением, стыдом, Вася осторожно обнял ее за плечи.

— Зажимай руки в кольцо, — уже настаивала баба. — К лешему вас с барскими ухватками: сапожки, калошки, брючки, водичка глубокая... Нéкогда. У меня коровы не обихожены. А ночь одной ногой в хлеву... Я не кошка, ночью ничевошеньки не вижу.

Баба подхватила Васю за ляжки, легко подкинула его выше и, тяжело ступая, двинулась. Вася отягчал ношу, хотя он хотел быть легче съехавшего на затылок бабьего платка. На спине малой ростом бабы разместился длинноногий верзила: он поневоле подбирал ступни, чтобы не замочить.

Саженях в двух от берега баба передохнула и неожиданно повернула голову, — белые зубы и алый рот в улыбке очутились возле самого лица Васи.

— Целуй, что ли, наездник! — засмеялась она. — А то не спущу с закукорок. Так на берег выбегу да по всему островку вприскочку. Вó будет монахам смехота!.. Валяй!

Вася забыл все предосторожности и бесповоротно завозился на спине, чтобы влезть в воду.

Но не тут-то было! Баба, дурачась, побрела в глубину. Она же первая испугалась: Вася вырывался, его не испугала даже глубина.

— Чур! — крикнула баба. — Не буду! Я же с тобой в шутку. Сиди смирно!

Но у самого берега, надсаживаясь от хохота, баба вдруг изобразила конское ржание, попрыгала, покидала Васю из стороны в сторону и спустила его на песок.

— Прости меня, милый паренек, шальную полудурку, — ласково прогудела она. — На меня находит. Не знаю и с чего. То плáчу, то на голове охота ходить. Корзиночку твою я доставлю мигом. И лодку одна вытяну. И тута дурость: напугать хотела.

Вася дал бабе двугривенный. Она долго отказывалась.

— Куды, куды столько?! Ты, поди, из бахвальства соришь серебром, а у самого раз-два — и обчелся!

Баба отогрела Васю в сторожке около хлева, не стала

будить отца Тихона, а на его лодке доставила почти затемно к лесной школе. Там вздували первый огонь.

У подъезда, под навесом, Вася встретился с тремя ребятами его возраста или чуть постарше.

— Поступать?

— Да.

— Как ты оттуда приехал?

— Меня с парохода высадили. А вы?

— А мы из Тотьмы пехтурой. Думали, ночлег дадут. Сидим вот. Ты тут к знакомым?

— Нет.

— Значит, вместе заночуем. Экзамены через три дня. Завтра пойдем в деревню Заднюю. Две версты отсюда. За лесом. Нам сказали, там мужики пустят на жительство.

Вася посмотрел на свою тяжелую корзину с книгами, с бельем и с провизией.

— Сторожу отдай. Он у нас в чулан спрятал. Поди, не обворует.

Бажуков, Нижегородцев и Сметанин, оказалось, встретились на тотемской пристани. Не зная, кто куда едет, сошли с одного устюжского парохода. Теперь присоединился четвертый.

— Так-таки и не пускают? — полюбопытствовал Вася. Вы хорошо просили?

— Мы просить мастаки! — ответил Бажуков, худенький, щупленький человек с чернью пробивающихся усов и в очках. — И кланяться и просить. Спо́лзай и ты. Может, разжалобишь обормотов. Школу основали, хоромы себе построили, а для приезжающих — целое лесничество под дождем и на холоду.

Вася пожалел, что он торопился с острова: там теплая сторожка.

Ночь надвинулась вплотную, словно в огромном нетопленном доме закрыли ставни и всякий свет пропал. В сторонке от школы, за небольшой недовырубленной редкой рощей со-

сен и берез на мокрых лугах стояли стога. Бажуков догадался.

— Кров, ребята! Четыре норы — и тепло и сухо. Заночуем.

Тепло нагнали сначала костром. Его разложили, несмотря на моросьбу дождя. Недогадливым оказался Вася. У остальных в карманах сыскались хлеб, холодная говядина и яйца. Разделили.

— Может, по-двое в норы? — предложил Нижегородцев. — Теплее...

Подрыли стог, по-двое и улеглись. Сенинки забирались в рот, в уши, в глаза. Но в чреве стога точно спряталось летнее, хотя и померкшее солнце. Даже жарко.

Вася лежал и слушал дождь. Он бил по стогу, скатывался с него, как с клеенки, и где-то у ног всасывался в землю.

Скоро налетел ветер. Холодная струя прокралась точно по ссохшимся дудочкам каждой травки. Вася забрался глубже.

Не спалось. От скуки хотелось курить. Закрывая горло, выбирался на холод и слякоть. Потом долго согревался в остуженном логове. Курил и Бажуков.

А потом Васю кто-то дернул за ноги и поволок. Прежде чем перепуганный со сна Мещерин что-либо понял, на лицо упали мелкие огненные искры. Тогда и он помог Бажукову вытащить из норы своего соседа Сметанина. Тот ошалело забирался дальше от лаза, глухо кричал и выбрасывал охапки сена.

Стог до половины обуглился. Точно великанья голова с растрепанными, поднявшимися дыбом волосами, он светло и жадно пылал. Огонь сочился по всему лугу. Огонь пел заодно с ветром.

Была пасмурная заря. Она словно робела показаться в такую слякоть; бледнорозовые пятна ее проступали низко у окоема, как краснеет ранняя трясунья-осина.

— Бежим! — тревожно сказал Бажуков. — Обойдем школу лесом. Придем за вещами днем. Будто ночевали в деревне. Мы курили и зажгли. Я или Мещерин — не разберешь. Надо

скрыться. Узнают — к экзаменам не допустят. А мужики просто убьют.

Днем пришедших за своими корзинами ребят, голодных, усталых, долго допрашивали.

— Какие стога? — удивился Бажуков. — Мы даже не знали, что тут покосы! Думали — сплошной лес.

Компания поселилась в деревне Задней в одной избе. Бажуков верховодил. Он шутя держал экзамен за экзаменом. Их было немного, но все же экзаменовали неделю. Бажуков притащил откуда-то из деревни водки. Он оказался и картежником. В избе поднялось веселье.

Вася провалился на третьем экзамене. Он это знал. Тянул скучную лямку от отчаяния, ходил на следующие экзамены, провалился еще, только бы не отставать от веселых, удачливых и забубенных товарищей.

Пили, плясали, пели, играли в карты, спорили... От Бажукова Мещерин узнал такие песни, о которых никогда не слыхал.

Вдруг где-то около захолустной Тотьмы, в деревне Задней, в лесу, перед Васей открыли до сих пор плотный и непроницаемый занавес. Он поднялся, как в театре перед представлением. И за ним — целая неведомая страна.

Ох, горюшко-горе, становой едет пристав, —

стонал и горячо пел Бажуков. Хор подхватывал. Ребята мигом выучили „Марсельезу“, „Варшавянку“, „Смело, товарищи, в ногу“.

Укажи мне такую обитель,
Я такого угла не встречал,
Где бы сеятель наш и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал, —

бил кулаком по столу Бажуков, и лицо его делалось просветленным, из-под очков текли струи света.

— Эх, жалко, не все мы попадем в школу! — восклицал Бажуков в горести. — Мещерин просыпался, просыпался Ни-

жегородцев. Мы со Сметаниным выскочим из провала. Какой мы кружочек бы смастерили! Ребята, вижу, отборные. Меня в Великом Устюге ссыльный Егор Седой всему обучил. А я — вас...

Вася почувствовал себя заговорщиком. Он сразу вообразил, что под землей у революционеров были катакомбы, как у древних христиан, они там прятались от царя, совещались, свозили и сносили туда оружие, чтобы внезапно выскочить и победить всех полицейских, губернаторов, становых, богачей и все сокровища и все богатства отдать бедным.

Так как Мещерин считал себя бедным (он приехал в третьем классе), он жил в деревне Пряхине, родные у него все мужики, то Вася сейчас же согласился наказать богачей и разделить их имущество.

— На пытке — молчание! — строго внушал Бажуков. — Никто не должен знать обо мне и о вас. Царь, как волков в капканы, ловит нашего брата.

Да, да, вместо поездки домой, на Кобылку, где будут бить заговорщика и смеяться над ним, хоть один лишний вольный день среди готовых на все товарищей, которые только и ждут сигнала из-под земли, чтобы сразиться с царем и со всеми его приближенными!

Нижегородцев уехал раньше. Бажуков на прощанье сказал Мещерину:

— Рассказывай дальше в Вологде, что услышал от меня. Кому можно верить. Предателя сразу видать. Я взгляну — и он меня ни за что не обманет. Переписываться не станем. Опасно. Забудь мою фамилию. А я — твою. Подрывай самостоятельно. И я тоже. В Вологде сойдись со ссыльными.

— Там тоже есть Егор Седой?..

Бажуков таинственно улыбнулся.

— Эх ты, простота! Ты и поверил, что Егор Седой — настоящий человек? Нет, братец, это кличка. Я сам ее выдумал. Просто — один человек. Так всегда следы надо заметать. Прощай, товарищ, — прошептал на ухо Бажуков.

Вася, польщенный доверием, вспыхнул до багрянца и одними губами ответил:

— Прощай, товарищ...

Первым скрытым революционером показался Мещерину сторож на тотемской пристани. Он как-то многозначительно взглянул исподлобья на Васю и, конечно, только ради притворства не оставил метлу, размахивая ею около самой корзинки пассажира. Конечно, с той же целью укрывательства он грубо закричал:

— Не видишь, разиня, пылю? Откудова под тобой окурки? Курил на пристани? Перетаскивай багаж на чистое место!

Мещерин подмигнул ему: знаем-де вас, сами из таких.

Вася купил билет. Пребывание в Задней затянулось. Денег хватило только на четвертый класс; это значит — ехать в третьем и грузить дрова вместе с матросами в затонах.

Пароход ждали в пятницу и выдавали билеты, а пришел он в воскресенье. В ночь на субботу подозрительный сторож согнал Мещерина на берег. Корзина связывала Васю, за сдачу в хранилку — плата, а карман пуст, как будто брюки надеты у портного на примерке. В кармане приплюснутый кошелек и носовой платок.

На берегу открытые базарные стойки, столы, каждый с четырьмя реечками — для прикрытия сверху от дождя. Брезенты торгаши уносили на ночь домой.

Вася поволок корзину. Сел на нее. Дрог под стойкой, на вонючей от базарной снеди земле. Ночью трясло от холода.

Но заговорщики хитры и предприимчивы: Мещерин отрезал концы веревки от корзинной увязки и перетянул натуго кисти рук и ступни ног браслетами. Для тепла же подпоясался поверх пальтишка ремнем с рубахи.

— Эге! — восклицал притвора-сторож, впуская обратно на пристань пассажира, забывшего на одной ноге веревочную браслету, — голь на выдумки хитра! Грамотной! У нищих перенял!

Целый день на пристани толокся беспокойный народ с узлами, мешками, чемоданами. Одни из будущих пассажиров, поджидая пароходы, нетерпеливо глядели вверх по течению, другие — вниз.

Вася недолго вглядывался в лица недовольных людей, стараясь угадать в них заговорщиков. Скоро он просто перестал видеть соседей, кроме тех, у кого был кусок во рту. Даже хлебная сухая корка казалась сытной. Прошли сутки, как Мещерин не ел.

А на высоком берегу оглушительно галдел съестной базар:

— Пеценцы на спицках! Пеценцы на спицках! — зазывно и звонко вопили бабы-лотошницы.

Невообразимо вкусно пахла коровья и телячья печонка, поджаренная на вертелах. В Тотьме говорили цокая и не слыхали слова „вертел“, заменив его „спичкой“.

— Пеценцы на спицках!..

Васю тянуло подняться на базар, ближе к этой одуряюще благоуханной, с парком, печонке. Но он не мог отойти от своей корзины: украдут.

Мещерин боролся с ядовитыми соблазнами, пренебрежительно отворачивался к реке, чтобы не видеть базара и не вдыхать его дразнящего запаха.

Внезапно Вася почувствовал, что от всех окружающих людей пахло хлебом, огурцами, печонкой, молоком. В завитке струи, скользившей о пристань, совершенно отчетливо можно было разглядеть продолговатую печонку на вертеле.

Перед самым закрытием базара, когда начали кой-где над стойками снимать брезенты и остро в вечернем свете поднялась подпорочная городьба, Мещерина точно толкнуло с корзинки. Он тотчас, в улыбке, в спешке, вскрыл багаж. Вася буквально сидел на неисчислимом богатстве и не умел им пользоваться.

Таинственный заговорщик-сторож внимательно осмотрел вышитое мамой полотенце, проверил его крепость, подергав за концы, и, торгуясь, сказал:

— Ношено-ношено, стирано-стирано... Гляди, у петуха головка слиняла! Вещь... без качества...

Заговорщики поладили на четвертаке.

— У тебя не краденое? — вдруг боязно прошептал сторож, поворотился спиной к публике и торопливо сунул покупку, скомкав, за пазуху. — Больно дешево... — Он опомнился. — У нас на базаре этого добра сколько хошь... задаром наваливают...

Сторож в придачу к дешевой покупке постерег корзину Мещерина, пока тот бегал за печонкой и хлебом. Вася уже разжаловал сторожа из заговорщиков: хватая заскребыши яств со стойки, покупатель вытягивал шею через толпу и дозирал за оставленным багажом. Сторож сидел на корзине и ковырялся в замке.

Мещерин еще ночь провел под базарной стойкой. Не он один. Ночевало человек двадцать. Вот среди них обязательно были заговорщики! Вася видел, как некоторые из ночевальщиков ползали у ларьков, подбирали выброшенную торговцами карликовую морковку, головки порченого лука или даже крошки печонки и, встряхнув от пыли, пихали в рот. Вася с сочувствием подумал, что, не догадайся он продать полотенце, ему пришлось бы делать то же.

Как ни велик четвертак, а к середине следующего дня он, разменянный на медяки, лежал в карманах у нескольких базарных торговцев. Пароход отвалил близко к полночи. Печонка окаменела в животе, как утоптанная земля. Но был опять голод...

— Туман лезет... — услыхал Вася из рубки голос лоцмана, — в лесу его боле... Клубит...

— Ничего. Пойдем, — ответил капитан с мостика. — Верст на шестьдесят успеем... Там переждем... Якорь спустим. Прошлый рейс стояли в лесничестве Тишкине.

Ушли, однако, до Дедова, Бабьего и Внукова островов. Мещерин хотел увидеть огонь в общежитии лесной школы. Туман загородил от него и Бажукова и Сметанина.

Туман непослушлив, как осенний ветер, как осенний дождь. Он простоял, все сгущаясь и сгущаясь точно прокисшее молоко, чуть не до полдён.

С места сдвинулись, но путь был опасен, как в незнакомой воде. Береговые рейки и водяные бакены видел лишь тот, кто держался за них рукой. В белом трепетавшем, как облака поденки, тумане шумела и журчала скрытая река, точно она изменила русло и отошла в сторону.

Привалили к первому же дровяному погрузу.

— Эй, четвертая смена! — закричали матросы, приладив трап. — Слезай с коек. Машина пишши требует. Не везет. Кто в куст, того на берег.

Страшно высадки... И Мещерин, как заговорщик, обязан трудиться и быть честным.

— Ты ж глиста! — глупо захохотал матрос, широкий, точно трап поперек. — На выгрузку. Ха-ха! В калошках? В брючках?

— Нам таких и надо! — подхватили несколько коренастых и заспанных матросов.

— Я с ним на-пару! — заорал один, самый молодой.

Матросы дружно залились смехом.

— Ленивая биржа!

— Нашел щелку!

— По три чурбана станет нагружать поклажу!

На зло молодому товарищу-лодырю, отрядили таскать с Мещериным самого старого и больного по виду матроса.

Через час Вася еле-еле волочил ноги, обливался пóтом и боялся выронить ручки носилок. Голод прибавил усталости.

— Запарился? — спросил матрос. — Это с непривыку. Ничего. Сила молодая. Не сломаешься сразу! Я в двадцать пятую навигацию пуп сорвал. А до того — как кормленый конь вóз везет...

Вася едва выдержал. Горделивое чувство, что он выполнил обязанность, продержалось самую малость. В следующую заготовку дров Мещерин укрылся в темном закоулке около

машинного отделения среди канатов и высокой навали груза. Матросы, потешаясь, искали Васю.

— Брюки на панель, где ты? — вызывал Мещерина балагур-матрос, осторожно ступая между сидевших грудой на палубе пассажиров. — Открывайся! Дождь выпал. Слизина́ на берегу. Охота поглядеть, как калошки поедут с горки!

— Сошел, видно, ране, — сказал кто-то из пассажиров, — а может, хребет нагнуло, раскошелился и на третий класс.

Мещерин отсиделся. Но он ограничил себя в свободном движении по пароходу. Матросы могли встретить Васю. И даже непременно встретят! Можно продать одно полотенце, — почему нельзя второе? Все равно придется сказать дома: потерял, украли...

Продажа не удалась.

— Ты что тут торговлю завел на пароходе? — крикнул на Мещерина помощник капитана. — Я тебе дам базарить! Убирай товары, а то сдам тебя куда следует! Емельянов, поглядывай за ним! — приказал он дежурному вахтенному.

Тогда Мещерин и перетащил свои вещи в темный закуток недалеко от кухни.

Повар, как в „Светлорядской“, крушил и рубил мясо, валял его в муке, кидал на шипящую сковородку, вспарывал животы рыбе и чистил ее, разбивал яйца и делал румяные глазуньи. Отсюда, из этой тесной каморки пахло еще слаще, чем от тотемской печонки.

Вася слонялся мимо кухни, поворачивая туда нос и шевеля ноздрями, весь день. Повар заметил. Он даже несколько раз стоял в дверях и разглядывал настойчивого гуляку.

— Ты что тут ходишь? — наконец не выдержал он.

Мещерин не выдал себя.

— А почему мне не ходить? Я тебе мешаю?

Вася тужился изобразить независимого ни от кого пассажира. Повар, однако, поймал его робкий и покорный взгляд, брошенный на тарелку с готовыми котлетами.

— Так, так, — безразлично промямлил повар, — конешно,

ходи себе на здоровье... Уходишься, поспишь покрепче. И укачает, и ходьба...

— Я свою корзинку стерегу! — сердился Вася. — Чего привязываешься?

Теперь как будто бы Мещерин шлялся в отплату повару за его непрошеное вмешательство.

Вася с тоской встретил вечер. Поздно. Повар закрывал кухню. Он снял колпак. Сейчас всё кончится. Незачем будет ходить. Скоро будет пахнуть одной пароходной краской...

Вдруг повар выглянул, оставаясь наполовину в кухне, скосил осторожный глаз на соседний за стенкой хозяйский буфет, подождал Мещерина и стремительно сунул ему прямо в руки здоровенный кусок розовой семги и белую булку.

Повар поспешно отвернулся, точно ничего не произошло. Мещерин жадно прижал жирную рыбу вместе с булкой к груди, прикрыл другой рукой и кинулся, счастливый, в свое ухоронье.

Еще ночь. Вася пробудился, когда кухня уже действовала. Он задержал шаг у дверей и, восхищенный, позвал:

— Дяденька... повар...

Тот недовольно оторвался от работы.

— Спасибо...

— Проходи! Чего заглядываешь! — грубо крикнул человек.

Он кричал, а глаза его усмехались.

Вася без всякой обиды отошел, еще более очарованный поваром. Вот кто был первым настоящим заговорщиком, встреченным Мещериным на пути: повар. Он боялся попасться хозяину-буфетчику, выручив товарища из беды! И Вася стал с удовольствием думать, что, должно быть, у него в лице есть что-то такое, почему его узнают скрытые в подпольи товарищи...

Федор Степанович дулся. Вскоре по приезде перебрались на Спасоболотскую улицу. На одном дворе была крендельная. Вася пришел за горяченькими, из печки, — и соседи подружились.

В крендельной ругали хозяина Лаврухина. У него огромный магазин в доме на улицу. В первом этаже торговля, во втором — квартира.

Лаврухин застал в крендельной Васю.

— Молодо-зелено, погулять велено, убирайся-ка навынос! Тебе тут разглузка, а мастерам прореха. Кренделей мне мешок нажгут зря. Да и тебе лопатой в глаз. Боле порога не переступай! Отец твой на меня не рассердится, а благодарность получу!

Хозяина кляли. Вася стал пробираться в крендельную тайком. Нисколько не стыдно, если такой и выгнал!

Мещерин долго собирался открыться пекарям и обиняками рассказать им о Бажукове без фамилии и о Егоре Седом, а главное — о катакомбах под землей с заговорщиками. Он воображал, как будут поражены эти хорошие и добрые пекаря, всегда встречавшие его ласково и добродушно. Они даже в пьяном виде обнимали его шутливо за спину и никогда не ругались.

Наоборот, за папиросы угощали самыми дорогими миндальными кренделями, угощали и без папирос. Говорили пекаря между собой совсем странно, всегда точно намеками, открыто и резко высмеивали купцов, городового Метелкина на углу Спасоболотской, издевались над хозяйскими дочками, выглядывавшими, в прическах и пестрых халатиках, на двор.

Вася понял, что они были против всех горожан, кто чист и наряден, кто богат и знатен, кто идет по улице и ждет, когда с панели перед ним своротит мастеровой. Пекаря были малограмотны. С трудом мороковали в чтении, разбирая по складам вологодскую газету. Вася сделался чтецом.

— Ну-ко, Вась, пораздумчивей читанём, — говорил кто-нибудь, — чего это там пишут братья Судейкины.

Газету издавали два брата — адвокаты.

— Не то выбрал, — останавливал старик Петрухин. — Как архиерей служит, мы и сами знаем. Ты про другие города найди. Вон тут сбочку из столицы сообщения!

— Про пекарей ничего не видишь? — внезапно спрашивал Самохвалов.

Крендельная пересмеивалась.

— Убил бобра!

— Жди-пожди!

— Я одну барыню знавал. Она на старости лет задумалась — откуда на свете молоко берется. Ей-ей, не поверила, что из вымени. Нарочно ездила глядеть, как корову молочница доила. Поди, думают и про пекарей не сильнее. Крендели сами на мочало в связку нижутся!

— Всё, дьяволы, о чистеньких разговор! Архиреи, купцы, дворяне, министры, государи императоры...

— Закрывай грамоту! — безнадежно махнул рукой хромой Варгунин. — Давай-ка ее, матушку, судейкинскую газету на раскурку!

Месяца через полтора после знакомства Мещерин поразился. Как-то в праздник, когда крендельная не работала, Вася проходил по двору с гулянки. Из крендельной его поманил пальцем Варгунин.

— Заходь, Вась, дело до тебя ребята имеют. Поди, дома покажись — и к нам.

Сердце Мещерина запрыгало, когда Варгунин впустил его в крендельную и запер двери за ним.

— На запор, — улыбнулся он, прихрамывая, — народ ломится за кренделями, хотя и праздничаем. Давай и давай!

Крендельная была почти вся в сборе.

На обметенном от муки длинном столе, как раз против широкой пасти печки, стояли бутылка водки, стаканчик, лежали на дощечке рубец и огурцы.

— Мы тя не пить звали, Вась, — приветливо сказал Петрухин. — Тебе водка ни к чему. Ты учишься! Ты нас, друг, по-иному уважь!

Пекаря недолго помялись.

— Да свой парнишка, — буркнул Самохвалов. — Пригляделись.

Старик Петрухин покряхтел, выпрямился, на две стороны с притворной важностью разгладил жиденькую бороденку и сделал в воздухе пальцами два кольца возле усов. Пекаря прыснули.

— Почтенные господа, — совсем изменившимся голосом сказал Петрухин, — и хочу я Васятке показать фокус один. Али загадку загадать. Што у меня, Вась, подо мной?

Мещерин в недоумении оглядел затаившихся пекарей.

— Стул.

— Стул, да с прибылым. Гляди, не мигай, Вась!

Петрухин встал. На донышке лежала какая-то маленькая книжка. Пекаря были очень довольны шуткой.

— О, старик чортов, без дурака шагу не шагнет!

— Помирать будет, и то штуку выкинет!

— К лешакам тебя! Время тянем за уши!

Петрухин серьезно передал книжку Мещерину и, не сводя с него глаз, предупредил:

— Умные люди сказывают, книжка этта запрещенная. Нам ктой-то ее подсунул третьего дни под двери. Не ты ли, Василий, сознавайсь? В случае чего, на тебя и покажем: больше некому.

Вася понял по лицам, что пекаря с ним хитрили, притворяясь простачками. Мещерин залпом выложил перед ними все, что давно хотел сказать.

— Одного поля ягода! — воскликнул Петрухин, хлопая легонько Васю по затылку, но почему-то в голосе его слышалась насмешка.

Остальные пекаря тоже ничуть не удивились: словно это так и должно было случиться. Вася даже молчаливо обиделся и увял в своих чувствах.

Но книжку и сам прочел с удовольствием и пекарям удружил.

Читали затрепанную, почти трухлявую тетрадку о Мудрице Наумовне и о Копейке.

Пошло́. Вася переживал горделивые дни.

— Товарищ Петрухин, — шептал он с азартом, — еще не подкинули?..

— Есть, есть малая книжица, — бормотал старик.

Федор Степанович морщился на недоросля.

— О, дурак, сперва с шестерками, теперь с пекарями! Да с этими лучше. Может, крендельному ремеслу обучат.

Отец не хотел еще расстаться с давнишним желанием сделать сына таким, чтобы не было стыдно за него. Он заметил, что после поездки в Тотьму что-то произошло с Васей: реже и реже появлялся он в „Светлорядской", перестали доносить доброжелатели об игре на биллиардах, реже возвращался сын ночами. Федор Степанович одобрил...

— Степенеет, — сказала Марьюшка, — и не такой грубиян!

Отцу понравилось. Он, не признаваясь в уступке, строго-настрого, впрок, приказал Васе:

— Повторяй, лоботряс, задачи, пиши, там, книги читай... Может, опять что придумаем. А то подойдет случай, а ты и последнее, что знал, растерял...

Случай подошел. Прокладывали новую железную дорогу от Вологды до Петербурга. Набирали учеников на телеграф. От кого-то Вася узнал, не сказал дома и поступил.

Служба каждый день с девяти до четырех. Сын — как все.

Федор Степанович сам ходил с Васей в лучший мануфактурный магазин, разборчиво швырял тюки с дешевым сукном и купил наилучшего. Желтый кант на картузе и тужурке. Почти чин.

КОЗЛЁНА. и ЖЕЛВУНЦЫ

. — — . — . . . . . . — . . . . . — — —
— — . — — — . . . — . . . . — .

Это — **Василий Мещерин** на языке телеграфной азбуки. Он везде так расписывался. Первым был изумлен Федор Степанович. Отец попросил написать полный свой титул. Вася исполнил.

— Которое... тут слово наша фамилия? — спросил папа, недоверчиво прибрав к рукам оба листка с китайской грамотой.

Сравнение подтвердило одинаковость написания в обоих случаях. Отец и сын молчаливо усмехнулись. Однако Федор Степанович бережно положил в карман пробу. И опять оба поняли друг друга.

— Трифонов то же напишет, — сказал Вася, — проверь!

Трифонов — бывший телеграфист. Он спился и шатается из трактира в трактир.

Желтый кант на картузе выгорал. Меняли. Вместе с Васей заходили в „Светлорядскую“ товарищи-телеграфисты. Они же в ближайшую пасху, когда Федор Степанович весь первый день праздника проводил дома, пришли в гости.

Праздновали окончание ученичества и назначение Васи старшим по смене. Отец был очень доволен гостями: все много ели, но наотрез отказались от водки, выпили по рюмке малороссийской запеканки и не захотели по второй.

Федор Степанович, оставив гостей за столом, ушел полежать и плотно прикрыл за собою двери.

Солнце всходит и заходит,
А в тюрьме моей темно,
Дни и ночи часовые
Стерегут мое окно...
Да э-э-эх... —

запевал Коровин, и знакомую песню продолжали и Вася, и Соломкин, и Черевков.

Федор Степанович радовался.

— Валите во все тяжкие! — кричал он из-за перегородки, поощряя. — Я в трактире давно оглох, песня мне не помешает... Шумите на всю Кобылку: усну.

И он действительно уснул под „Осенний мелкий дождичек“, под „Лучинушку“, под „Стеньку Разина“, под „Пой, ласточка, пой...“

Телеграфисты скромно веселились. Вперемежку с пением они читали свои и чужие стихи, рассказы...

На телеграфе собралось с десяток похожих друг на друга недорослей. Одного выгнали из семинарии, другого — из реального, третьего — из гимназии, четвертый собирался учиться и узнавал только адреса недоступных школ...

В первые же дни знакомства оказалось, что все они коечто читали, пробовали сочинять, игрывали в любительских спектаклях, пробирались в театры и ярмарочные балаганы, как и Мещерин... Всех их роднили полное безденежье и причудливая мечта о будущем, в котором они хотели найти какое-то свое, особое место. Фантазеры и мечтатели! На телеграфе появился литературный кружок.

Коровин — маленький, ловкий, красивый, сирота, живущий с матерью на пенсию после отца-чиновника, где-то нашел рецепт, как варить студень для гектографа.

Соломкин Петя — сын кружевницы. У него свой двухэтажный дом. Внизу жильцы, вверху хозяева. На дворе сарай для

коровы с сенником. Туда — высокая лесенка, у дверей площадка. В доме вотчим — старик с приплюснутым носом. Метет улицу, чинит мостовую вокруг владений, ходит за коровой и сам ее доит. Мать необъятно широка и черна, ей шестьдесят. Она по мелочам скупает кружева. Добывают копейки. Жильцы, корова и „кружевные“ копейки.

Петр Соломкин огромен, неуклюж и длинноне. У Пети своя комната. Рядом комната сестры Лизы. Она никак не может выйти замуж. Она высматривает женихов, почти не отходя от окна. А они проходят и проезжают мимо. С горя, она ничего не делает, как и ее брат. Старики их кормили.

В третьей комнате — они. Коридорчик. И кухня. Петр Соломкин — баловень: его считают умным, на все руки, любят, ожидают в будущем всякого добра от него, а пока ни в чем не перечат ему. Товарищи так его и поддразнивают, вызывая на улицу в окно:

— Эй, Петя-Сказал, вылезай! Пойдем! Пора!

Но дом Пети удобен для хранения гектографа. Это теперь типография. Тут печатался журнал „Северные осоки“.

Черевков — сын бедного часовщика. У Саши светлые, в кудрях до плеч, волосы. Он поэт. Он всегда говорил, некстати вставляя в речь иностранные слова. Поймали: Саша зубрил слова подряд по словарю. У него было недельное расписание. Каждый день два часа — на зубрежку. Сначала он хотел осилить весь словарь, начав с буквы А. Но понял, что так его скоро изловят, и очень уже заметно при вставке — все слова акающие. Тогда он начал заучивать каждый день с новой буквы. Саша переписывал для „Северных осок“ все рукописи химическими чернилами. Переписывал, как гравировал.

В старой глиняной плошке вровень с невысокими краями лежал печатный студень. На него переводили гравирование Саши. Петя Соломкин — главный техник. Рукава засучены. Ворот всегда расстегнут. Широкий подполок рубахи отброшен к плечу, он открывается и закрывается, точно форточка в ветер. Громоздкие пальцы Пети до второго

сустава лиловы и черны. В лиловых крапинках лицо. Он бережно снимал страничку с гектографа, непременно высовывая кончик языка и закусывая его зубами, как делают кошки после вкусного.

— А вот первая посадка и готова! — провозглашал он, отпечатав пять-шесть экземпляров странички.

„Северные осоки“ выдавались каждому из участников кружка. Один номер был общий. Он — самый богатый. В нем на многих пустых местах телеграфист Петелькин рисовал карикатуры на телеграфное начальство, на построечных инженеров, подрядчиков и поставщиков. Журнал показывали нужным людям.

— А теперь пустим в ход водопровод! — священнодействовал Петя.

Соломкин трудился неделями, бастовал, грозил выбросить гектограф в помойку. Но стоило у него попросить гектограф, чтобы облегчить труд печатника, как тотчас же Петя принимался за дело. Принимался с бранью и с остервенением.

Никто лучше и чище не умел печатать.

Соломкин исполнял заказы: печатал для желающих небольшие тетради стихов. И даже брал плату: десяток папирос за стихотворение, будь оно из одного четверостишия или на пяти страницах. Старались печатать только длинные.

Соломкин презирал прозаиков. Поэтому те платили в два раза дороже. Собственные стихи Петя печатал только на разноцветной бумаге, а фамилию свою подписывал задом наперед: Н и к м о л о с.

Печатание производилось при запертых дверях. Соломкин иногда не пускал товарищей. Он высовывался в окно на вызов с улицы, мрачнел и, словно не узнавая Мещерина, Коровина, Черевкова и Петелькина, резко отрубал:

— Не принимаю. Приходите завтра.

— Да мы посмотреть.

— Завтра посмотрите.

— Ты, чорт, лодыря гоняешь! — подзуживал вертун Коровин.

— Поговори! — грозил Петя. — А то выкину твои стихи!

И не пускал, захлопывал раму.

На последней страничке журнала Петелькин циркулем делал большой круг, заполнял его диковинным растительным орнаментом, а в самой средине круга красными чернилами выводил Саша: „Издание литературного кружка „Мировая сказка“.

В день выхода журнала устраивалось торжество в самой большой комнате, у Лизы. От нечего делать невеста принаряжалась. В темном коридоре она частенько обнимала телеграфистов и тянулась с пухлыми накрашенными губами. Раз так она нарвалась на вотчима.

— Лизавета, — закричал хриплым голосом старик, — сотвори крестное знамение! Аль ты в юбке заблудилась?

Лиза была так дурна, что ребята отбивались и зажимали рты рукой, чтобы не поцеловала. Но Лиза упорно добивалась внимания.

Вотчим ставил самовар. Вскладчину покупали колбасу, зельц и булки. Участники обязаны были громогласно на средине комнаты читать не свои сочинения, а товарищей. Это для того, чтобы виднее были недостатки. Каждый норовил утопить другого.

Вася возвращался глубочайшей ночью, раскаленный от споров и ссор.

— Где зашатался? — сердилась мать. — Ровно бы надо уж понимать: не больно-то нужно стеречь тебя, не спать, слезать с постели!..

— Я не виноват, — как будто изумлялся сын такой недогадливости, — вечерняя смена запоздала. Я не могу бросить аппарат и ленту. Мне за это попадет...

— Проверишь тебя! — бурчала недовольная мама.

Федор Степанович не одобрял прогулы, но крепился и старался поверить в оправдание.

Кружок „Мировой сказки“ находился в постоянном действии. Мещерин теперь был всегда озабочен и при деле. Вдруг стало не хватать времени. То печатали, то читали, то обсуждали.

Не удовольствовались собраниями по квартирам. Петя Соломкин заявил, что стихи надо читать только среди природы: тогда они делаются лучше и становятся более значительными. Он даже перестал презрительно улыбаться, когда у костра на Бесовом ручье читали прозаики. Раза два в неделю нанимали у соборного перевозчика Феофарова лодку и отправлялись за город.

Телеграф мешал. Надо дописывать и отделывать стихи к следующему заседанию, а тут дежурь. Вскоре работы прибавилось.

В один из летних дней Коровин явился на телеграф в чужую смену и, сторонясь надсмотрщика Кабанова — толстенного человека, голова у которого почти лежала на плечах, словно он родился совсем без шеи и так всем корпусом поворачивался при разговоре, — таинственно шепнул Мещерину, Соломкину и Черевкову:

— Надо срочно собраться...

Товарищи посмотрели с недоумением...

— У кого? — настаивал Коровин. — Квартира должна быть безопасна. Ни одного постороннего.

Коровин разжег любопытство, но на все расспросы отказался отвечать.

— До вечера, — твердил он. — Здесь не место. Я не имею права...

Решили сойтись на сеннике у Соломкина.

Ребята раскрыли рты и сначала захохотали, едва увидели Коровина, запоздавшего с приходом. Коровин преобразился. На нем была черная рубаха с белыми пуговицами. Вместо картуза с желтым кантом поношенная широкополая черная шляпа. Маленький, тоненький, он походил на раскрытый зонтик.

— Форма — это ерунда, — важно сказал он таким голосом, словно Коровин понял решительно все на свете, чего товарищи не понимали. — Это ливрея раба. Она унижает человеческое достоинство.

Все перестали смеяться. Коровин говорил странные и новые вещи. Он как будто сразу поднялся выше, надев сапоги с высокими каблуками.

— Я форму буду носить только поневоле, по обязанности, — продолжал Коровин, сдвинув выше на лоб шляпу. — Это — казенщина. Вот моя настоящая... — Коровин с гордостью провел рукой по своей черной рубашке и, ловко сняв шляпу, помахал ею в воздухе. — Мама мне сшила рубашку, а шляпу я сегодня купил на базаре.

Наконец Коровин открылся.

— Ближе ко мне, — зашептал он, тревожно оглядываясь по сторонам и требуя, чтобы товарищи сели прямо на сено. — Надеюсь, здесь нет соглядатаев. Товарищи... — дрогнул голос Коровина. — Я познакомился с политическими ссыльными. Они знают о нашем кружке. Я показал им наш журнал „Северные осоки“. Я поручился за весь кружок и сказал, что мы все революционеры. А Васька Мещерин даже старый революционер. Он давно ведет пропаганду среди булочников. Ссыльная Анна Яковлевна Воскресенская пожала мне руку и звала нас завтра к себе. Она живет на Желвунцах. А другой ссыльный — он у нее сидел в гостях — Николай Павлович Житницын на Козлёне. Я его провожал до самого дома. Помни теперь, ребята, — Желвунцы и Козлёна!

„Старый революционер“ Мещерин почувствовал большое удовлетворение и гордость, что о нем уже знали самые настоящие заговорщики. В то же время вкралась зависть в сердце, что ему как „старому революционеру“ следовало первому свести ребят с политическими, а не этому проныре Коровину. Он успел первым и в шляпу перерядиться.

Мещерин мгновенно вспомнил, что у мамы в комоде лежал черный ластик папе на рубаху: за буфетом быстро

пачкаются белые рубахи, и папа велел сшить черных. Со шляпой было еще проще: ему купят новую. Он на службу будет ходить в форменном, а после службы — в штатском.

Не обошлось без вранья. Коровин долго рассказывал, как он уже несколько месяцев в дружбе со ссыльными, с ними запросто, свой у них человек, но даже „старого революционера“ Мещерина он все же должен был сначала проверить, прежде чем вполне положиться на него.

— Соломкин, — сказал Коровин, — Анна Яковлевна тебя очень хвалила. Какой, говорит, у вас прекрасный гектограф, а техник еще лучше! И тебя, Черевков, тоже — за почерк. Так, говорит, хорошо написано — любой малограмотный прочитает. Виднее, чем по-печатному.

И все наперебой стали спрашивать:

— Ну, а что она сказала обо мне? А журнал ей понравился? А стихи? А рассказы? Чьи самые хорошие?

Коровин отвечал невнятно, улыбался, ронял отдельные слова, по которым можно было догадаться, что первым шел, конечно, Коровин.

— Моя баллада... да и мещеринская новелла... Да и вообще... фурор! Петелькину, говорит, в рисовальную школу надо, а не на телеграфе служить! Вообще Анна Яковлевна все знает. Она — доктор. А Николай Павлович — земский статистик. Волосач такой. Грива. Говорит и гриву рукой назад отбрасывает. В уголке рта у него всегда папироска.

С окончанием собрания, забыв всякую осторожность, закричали, схватили Коровина и начали качать. Он отбивался. А потом заплакал. Мещерин наступил на шляпу. К подошве где-то пристала известка. На скомканной шляпе остались следы, как ни старались их счистить.

— Медведь, дьявол! — хныкал Коровин.

...В маленькой беленькой комнатушке в Желвунцах, где-то далеко от улицы, на задворках, в саду, пожилая полная женщина — она и есть Анна Яковлевна — встретила ребят неожиданной фразой:

— Все сразу? Целой организацией? Здорово! Только ноги, товарищи, хорошенько почистьте о половичок. Вон он у дверей. А то на улице недавно прошел дождь, и вы мне грязи натащите в комнату.

Кружок „Мировой сказки“ немного опешил. В неудобной сутолоке телеграфисты скопились на маленьком половичке и все сразу принялись тереть подошвами.

— Да вы по одному, — засмеялась Анна Яковлевна, — вам же неудобно кучей.

В комнатушке не хватило двух стульев.

— А окна для чего? — приветливо спрашивала хозяйка. — Целых два окна!

Телеграфисты испытывали неловкость. Они церемонно и застенчиво сидели на краешках стульев, не управлялись с руками, не могли оторвать глаз от таинственной женщины, сосланной в Вологду. Было бы проще, встреть их Анна Яковлевна в каком-нибудь особенном костюме, даже, например, в мужском, в высоких сапогах, в шапке, или она бы исподлобья взглядывала на них и говорила грубым, мужским голосом.

А то на Анне Яковлевне была легкая белая кофточка. Анна Яковлевна была в белых парусиновых туфлях. И нога у ней маленькая и красивая. А голос звонкий, как у девочки, и какой-то радостный, ласковый...

— Товарищи, товарищи, — укорила Анна Яковлевна, — да вы ко мне точно на экзамен пришли. Расселись и ждут очереди. А я экзаменовать-то и не буду... Коровин, — вдруг сказала она совсем приятельски, как будто знала Коровина очень давно, — пойди на кухню и скажи Маше, пускай она нам самоварчик поставит.

Коровин, ловя на себе восхищенные взгляды товарищей, кинулся заказывать чай.

Скоро пришел Николай Павлович. Без предупреждения тщательно топтался у дверей на половичке, принес кулек с плюшками, сунул его на стол и провозгласил:

— У тебя, Аннушка, прямо целый телеграф... Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! Очень рад познакомиться. Читал ваш журнал „Северные осоки“ и думаю — вот молодцы ребята, где-то добыли гектограф, образцово печатают, времени затрачивают уйму. Шутка сказать — три номера откатали. Страничка к страничке. Видать сразу — с увлеченьем работают!

Николай Павлович поздоровался со всеми за руку, растормошил телеграфистов, сдвинул их вместе со стульями к столу.

Сели тесно и тепло. За чаем разговорились, спорили и даже кричали друг на друга. А перед самым уходом Анна Яковлевна, положив руку на плечо сидевшего рядом с ней Мещерина, сказала:

— Ничего-то вы, товарищи телеграфисты, не знаете и не понимаете! Издавайте журнал себе на здоровье. Я — первый ваш читатель. А давайте-ка займемся и другим делом. Приходите ко мне раз в неделю... — Анна Яковлевна подумала, — да, раз в неделю, по средам. Среда у меня свободна от других кружков... Коровин, ты организуй кружок телеграфистов.

— А когда Анна Яковлевна, — добавил Николай Павлович, — занята и ей некогда, я ее заменю. Только условие — раз среда, то она не пропадает даром. Все приходят на кружок. Дисциплину введем. Кто три раза пропустил без уважительных причин, того по шапке. Работать будем много и хорошо. Вам самим еще книги писать рано, а книги других читать следует взасос.

Но когда же, когда же Мещерин увидит заговорщиков? Анна Яковлевна и Николай Павлович были очень простыми, добрыми, веселыми людьми — и только! Никакой таинственности. Они никого не ругали. Ни разу не упомянули ни губернатора, ни царя. Никому не грозили. Николай Павлович вынул из кармана точно такой же перочинный ножик, какой был у Мещерина, и очинил в пепельницу карандаш, не уронив на пол ни одной соринки.

Чудно́, но Николай Павлович и Анна Яковлевна, схватив друг друга за руки, дружно до надсады хохотали, когда Коровин мрачно и твердо сказал:

— Не выходите все сразу. Я должен выйти сначала на разведку. Может быть, дом окружен полицией.

Коровин растерялся и покраснел, услыхав непонятный хохот.

— Ах ты, милый наш конспиратор, — сказал Николай Павлович, — да ведь на улице совсем светло. Полиция не любит работать днем, она в темноте любит. Днем ей неудобно и неприятно привлекать к себе внимание. И почему она будет нас окружать? Вы наши гости, пили с нами чай середь бела дня. В полицию мы не ходим за разрешением, с кем и когда нам встречаться.

Но Мещерину понравилось больше, когда Анна Яковлевна, вытирая мокрые от смеха глаза, как-то извинительно сказала Коровину:

— Я не над твоей осторожностью хохотала, а над твоим голосом... Ой, не могу!.. Ты — как Монтигомо Ястребиный Коготь... Насупился... и голос у тебя точно бас... Это хорошо, что вы сразу же стали предусмотрительными. Лучше им не попадаться на глаза, — на кого-то там за дверями, на улице, махнула рукой Анна Яковлевна. — Приходите сюда и уходите отсюда, осмотревшись. Вот и сейчас. Половина — через сад. У нас там калитка. Другая половина — как пришла. Где-нибудь подальше от дома соединитесь. Еще лучше поодиночке выходить и приходить. Сегодня не надо, а там... впоследствии...

Это уже походило на некоторую загадочность!

— А мы выйдем после всех, — неожиданно проговорил Николай Павлович, обняв Мещерина за плечи и тем самым резко выделив его. — Нам с ним по пути.

Вася знал, что каждый хотел бы быть на его месте, поэтому он скромно отвел глаза, чтобы не дразнить товарищей.

Когда товарищи вышли, Николай Павлович вынул из внутреннего кармана пиджака какой-то пакетик, перевязанный шнурком, и подал его Васе.

— Занеси пожалуйста в крендельную, передай старику Петрухину... Скажи, я сам не мог. Все равно, ты передашь.

Мещерин вытаращил восхищенные и ошарашенные глаза, держал на весу пакетик и не знал, что с ним делать.

— Что, брат, — засмеялся Николай Павлович, — ты думал, меня не видал, так я тебя и не знаю? Зачем книжки подбрасываешь Петрухину? — Николай Павлович шутливо погрозил пальцем.

Теперь Вася остался вполне доволен первой встречей.

— Ох, да, — вдруг спохватился Николай Павлович, — вы ведь съехали от Лаврухина из флигеля. Может быть, ты не можешь зайти?

Но Мещерин уже готов был исполнить любое поручение, если бы пришлось даже сделать двадцать-тридцать верст, а тут всего-навсего от новой квартиры Мещерина на Золотухе три бульвара и одна коротенькая улица до крендельной.

Петрухин принял пакет и опустил его за пазуху.

— Гонцу первый крендель, — пробормотал старик вполслуха. — Я тебя, Вась, не видал и слыхом не слыхал, а ты меня и видел и слышал, потому крендели горячие любишь. Хе-хе! С тобой товарки али товарищи в союзе?

Петрухин выжидательно посмеивался. Мещерин было начал и остановился...

— Ты больно любопытен, папаша! — в совершенном восторге от своей догадливости ответил Вася.

— А понял — учу? — шепнул старик.

— Конечно, понял.

— В чем же дело, ежели понял? Ране подкидывал, а нынче прямо в копытца!

Старый и молодой, довольные забавой, весело прыснули.

Скоро весь кружок „Мировая сказка“ переоблачился: все завели черные рубахи и шляпы. Настала очередь расстаться

с пышным названием кружка. Николай Павлович и Анна Яковлевна попеременно спросили:

— Почему „Мировая сказка“? Что это значит? Объясните пожалуйста.

Никто путно не мог объяснить.

Мещерин простодушно ляпнул:

— Это для красного словца.

Мещерин с удивлением замечал, что почти вдруг все окружающее начало изменяться и преображаться. Точно росло молодое дерево. Оно нежно и в пуху. Но вот уже кожица огрубела. А потом дерево раздели, очистив его от коры. Все предметы, люди, поступки людей как будто родились заново: они стали яснее, отчетливее и правдивее.

Мещерин впал в крайность: теперь он придирчиво искал недостатки повсюду, где их и не было. Вася нетерпимо охаивал все направо и налево. Конечно, раньше и прежде всего — порядки на телеграфе, начальство, охранявшее их, даже походку, голос и шевелюру начальства. Враги!

Мещерин и его товарищи считали своим долгом дерзить врагу и раздражать его. Они хотели, чтобы он побаивался их, ожидая всяческих неприятностей. Борьба!

На одной станции, куда послали Мещерина в месячную командировку, он повел себя так важно и независимо, что пережил неприятность.

— Ты что это каким петухом ходишь? — ядовито спросил начальник станции Панкратов. — Будто ревизор али купец богатый!

Мещерин вспылил:

— Во-первых — „вы“, а не „ты“. Во-вторых — я хожу, как умею, и никому нет до этого дела.

Панкратов с помощником громогласно захохотал, передразнивая, как телеграфист „чеканил“ слова.

— О, чорт, потешил! — восклицал Панкратов. — Фу-ты, ну-ты! Ах ты, шероховатый молокосос! Скажи на милость, как разыгрывает! Ну, прямо особа — не перескочишь!

Мещерин перестал разговаривать и кланяться с начальством. Так в конторе и сидели: за медным аппаратом Морзе, точно у игрушечного пароходика, надувшись, молчаливо дежурил Вася, а у задней стенки за столом, улыбаясь в усы, копался в бумагах Панкратов. Он задирал:

— Мещерин, ты не думаешь жениться?

Вася краснел и хотел презрительно промолчать, но не выдерживал.

— Глупый вопрос! — бросал он.

— Вот те на! — привязывался Панкратов. — Парень ты, кажется, не дурак, а женитьбу называешь глупостью. Муха на мухе и то женится. Хочешь, я тебе устрою невесту? Ха-арошая у нас есть девка на примете. Непорченая... Я тебе, скажи только, сей миг выпишу ее из города. Будешь с ней гоголем прохаживаться по платформе. Картуз настороны, нос кверху, палочка в руке. А она возле тебя в платьице, жмется в платок от холода. Ты ее за пакгаузом обоймешь и прижмешь... На станции скука, а тут, глядишь, любовь...

Мещерин не мог уйти: с минуты на минуту должна была начать вызов соседняя станция, отправляющая поезд.

— Я вам удивляюсь, — сердился и старался быть занозистым телеграфист, — если женитьба ваша мечта, то не подсовывайте ее другим. И вообще какое вы имеете право на службе вести частные разговоры?

Панкратов привскакивал от удовольствия на стуле, фыркал и забавлялся дальше.

— О, парнишка крепость! — подпускал он. — Его никак не объедешь. На одно слово сумеет дать ответ десятью. Где ты это так выучился? Начальника станции — ни во что! Другой бы любую бабу не откинул, а этому, можно сказать, предлагаю королек, — нос воротит! Поговорить охота с ним: ни тпру, ни ну! Костя, — орал он проходившему мимо помощнику, — загляни! Помощь нужна. Не могу Мещерина обломать: неласков, как свекровь!

Костя старался.

— Ну как, ну как, привыкаешь? — тараторил он, вертясь около Васи, и вдруг обращал внимание на телеграфную ленту. — Эге, брат, да ты что-то ленту часто обрываешь и клеишь. Смотри, сколько на ней узлов! Может, гордецы не знают у вас в Вологде, как надо аппарат обихаживать, чтобы лента не рвалась.

— Непорядки замечены? — притворно сердито возглашал Панкратов и являлся к аппарату для осмотра. — Пыль? Грязь? Лента скатана не по правилам? Откомандировать! Костя, придется написать старшему телеграфисту — пускай дают на линию настоящих работников, а не через пень колоду!

— Так что же, — соглашался помощник, — и напишем.

— Я сам на вас подам докладную записку, — угрожал Вася, уже чувствуя непрочность и унизительность своего положения в командировке. — У меня всё исправно.

Панкратов и Костя наседали.

— А стыд-то какой! Старший по смене, и накося — не годится в дело! Будь у тебя сто раз хорошо, а мы черкнем — и поехал Мещерин со своей корзиной обратно. На нас ты что же можешь написать: мол, не признают меня за взрослого, считают мальчишкой, разговаривают со мной, а я кобенюсь!..

Чтобы показать самую высокую степень невнимания к начальству, Вася заткнул уши пальцами.

Но тут же ему пришлось пустить руки в ход. Панкратов потянулся через его голову и взялся за книгу, лежавшую возле аппаратного ключа.

— Во время дежурства, — сказал он с издевкой, — как тебе должно быть известно по инструкции, книжки запрещают читать. Ты мне зачитаешься про Машу да Ваню, да про какое-нибудь сражение на суше и на воде — и пустишь мне поезд на поезд. Али переврешь путевку. Вот и попался, законник! С поличным. Телеграфист Мещерин, вместо того чтобы... и пошла писать... Нам разговаривать нельзя — запрещено-де, а сам что делает? Посмотрим!..

Панкратов решительно отобрал книгу. Вася негодовал, но он чувствовал себя школьником, которого поймали.

Панкратов держал книгу у себя до тех пор, пока ему не надоело возиться с Васей. Тот, окаменев, упорно не поддавался и не просил, как ему ни хотелось дочитать и скоротать скуку. Борьба — так борьба!..

Вечером с лесной дороги пришла низенькая, с котомкой за плечами, широколицая девка в лаптях и присела на платформе рядом с конторой.

Панкратов выглянул, крякнул и щелкнул пальцами. Это знакомо.

— Мещерин, видишь, пришла оравушка? — облизываясь, спросил начальник. — К поезду. А поезд ночью. Понял?

„Оравушкой“ звали зырянских девушек, приходивших с Вычегды. Они нанимались в прислуги и чернорабочие. На Вычегде, в глуши лесных и приречных деревень, та девушка славнуха, которая родит до замужества. Это радость отцу и матери и жениху: значит, не бесплодна и народит работников. „Оравушкой“ пользовались ловкачи. Девушки отдавались легко и беспрекословно, желая понести...

Действительно, навечеру Панкратов подобрел. Наклонился к уху Мещерина и шепнул ему:

— Ходи, что ли, за мной... Я ее в пустой вагон поведу в тупике... Действуй смело... она пятерых не испугается...

Мещерин непримиримо отшатнулся. Он с бессильным отвращением невольно следил в широкое окно, как Панкратов шел вдоль платформы, а за ним саженях в пяти покорно и медленно двигалась девушка. Она заранее сняла с плеч свою грязную котомку.

Внезапно краска стыда за Панкратова и нежная жалость к девушке ударили Васе в голову. Мещерин, не помня себя, выскочил из конторы.

— Эй! — закричал сильно Вася, запинаясь на восклицании и не зная, как назвать девушку. — Эй!.. Оравушка! Воротись! Не ходи с ним! Не слушайся его!

Тут произошло то, чего не мог ожидать Мещерин. Девушка испуганно оглянулась, бросилась бегом вперед, догнала Панкратова, тот яростно погрозил телеграфисту кулаком, и они оба залезли в вагон.

— Ты знаешь, сукин сын, шути, да оглядывайся! — по-настоящему в гневе завопил Панкратов на Васю, возвратившись в контору. — А то я тебе и оплеуху съезжу. Где бы молчок, как все делают, а ты на начальника станции срам кличешь! Поезда дожидается не одна „оравушка“.

Размолвка затянулась. Панкратов теперь придирался к каждому служебному промаху Мещерина и записывал в журнал. Готовилась кляуза.

В промежутки между поездными путевками и телеграммами оставалось время, когда можно было вызвать товарищей с вологодского телеграфа и поговорить.

Мещерин аккуратно выпускал клочок ленты, принимая передачу, а сам работал, стараясь не расходовать ленты. И тот и этот товарищи после разговора вырывали каждый на своей катушке ленту — и следов не оставалось.

В Вологде слушал Соломкин. Мещерин не пощадил Панкратова. Он осыпал его всеми бранными словами, какие знал. Вася несколько раз, не отпуская ключ, из предосторожности оглядывался на начальника станции, чтобы тот не вздумал вмешаться и не пожелал захватить ленту.

Мещерин испытывал злорадство. Должно быть, у Панкратова не сходились какие-то денежные записи, он хмуро шевелился на стуле, раздраженно листал страницы широкой товарной ведомости и шепотом чертыхался.

— Какой ты, однако, мерзавец! — вдруг заревел Панкратов на Мещерина, стукнул кулаком по столу и неуклюже полез из своего угла. — Я и такой и сякой! По всем станциям выпускают ленту, и про меня идет слава! Ты так своим товарищам жизнь портишь! Так я тебя выучу!

Мещерин мгновенно оторвал кусок ленты, смял его и в страхе и недоумении поднялся с табуретки. Панкратов с вы-

пученными глазами наступал на телеграфиста. Добрался. Ударил. Повалил. Защищаясь, Вася ободрал ему лицо. Как-то он вывернулся и кинулся вон.

Мещерин решил с первым же пассажирским поездом бежать в Вологду. Спал Вася рядом с конторой на единственном клеенчатом диване, стоявшем в женском отделении пассажирской ожидальни. В захолустьи пассажир — раз в неделю. Тут жили все командированные.

Мещерин наскоро собрал вещи и упаковал свою корзинку. А едва он толкнулся в двери, заслышав свисток поезда, двери оказались на запоре.

Тут Вася и понял, почему к нему заглянул помощник Костя и скрылся. Он же появился на крик и стук Мещерина. Дверей не отпер, а сказал ему в замочную скважину:

— Не скандаль, говорят! Панкратов велел тебя запереть. Хуже будет. Панкратов послал за жандармом. Тот тебе и откроет.

Поезд ушел; следующий — через полсутки.

До жандарма не дошло. В наступившей глухой тишине помощник Костя влез в комнату и запер за собой дверь.

— Ты это, Мещерин, брось, — сказал он, — ничего хорошего ни тебе, ни ему. Ты его обложил последними словами, он тебе за это в ухо. Обоим попадет. Тебя выгонят, а Панкратову выговор али переведут в помощники. Панкратов больше не будет. И все шито-крыто. Он меня послал тебя уломать.

Долго спорили и препирались. Вася говорил со слезами в голосе и негодовал против насилия над ним.

— Да ты пойми, Мещерин, — уговаривал и урезонивал Костя, — всякий на месте Панкратова из себя бы вышел. Он слухач. Он на слух, бывало, работал всю смену. Ленту закатывать кому же охота! Ему смена сдает аппарат, а катушка полная. Только торчит в аппарате хвостик. Панкратов усмехнется да так двенадцать часов на слух и жарит. Кто над ним посмеялся, тот теперь сам и плачь. Ты никак не отопрешься. Он все слышал. Тебе никто не поверит, что

так на тебя ни с того, ни с чего и бросился Панкратов. Твой разговор в Вологде товарищ вырвал, а на удочку Панкратова ты все же попался. Ты как убежал, Панкратов ленту открыл, а тебя из Вологды спрашивают — чего ты молчишь? Панкратову ничего не стоит под любую руку подделаться. Он себя самого ругнул: на ленте у него и сидит брань. Чья? Да твоя!

Мещерину захотелось размахнуться и ударить панкратовского посыльного.

— Сердись на меня сколько хочешь, — добавил Костя, — а мне служить с Панкратовым, а не с тобой. Я так и покажу: ты ругался. И не только ругался, а и в драку. У Панкратова поперек носу, как гвоздем, царапина.

Мещерин кое-как дотянул командировку. Но Панкратов потешился над ним в последнюю ночь перед отъездом.

— Сопляк! — загремел дико начальник над самым ухом прикорнувшего головой к аппарату и проспавшего поезд Васи. — Ты у родной матери в люльке али на железной дороге? Марш к микрофону! Вызывай Шексну. Я по аппарату. Ах ты, сволочь, на восемнадцать минут задержали поезд!

Панкратов, как бухгалтер, у которого не видно летающей над счетами и щелкающей косточками руки, принялся долбить ключом вызов Шексны.

— Мы-ста, вы-ста! — издевался Панкратов. — Подавай ему вежливое обращение! И то и се! А сам рот раскрыл, слюнка вытекла и... храп, храп! Эх, работнички! Я тебя хочу — помилую, хочу — под суд отдам!

Провожать Мещерина вышли оба начальника. Они подозрительно усмехались. С Панкратовым примирения никак не получалось. Вася протянул руку одному Косте.

— Поди ты со своей рукой! — выругался и отшвырнул ее помощник. — Очень мне нужна она, свистун длинноногий!

Панкратов, злобно хохоча, выкрикнул:

— Ты к нам больше носу не кажи! Посылать будут, так

старшему телеграфисту в ноги! Не хочу-де туда, дяденька, там Панкратов мне морду набил! Там мне спать не давали!

Мещерин возвращался оплеванным и побежденным. Он никому не сказал о своей неудачной поездке. Наоборот, он хорохорился и хвастал сплошными успехами, привирал к каждому слову, выдумывал целые истории о встречах и разговорах с мужиками. Выходило так, что Вася наделал делов во всей округе.

Мещерин как бы из скромности просил не говорить Анне Яковлевне и Николаю Павловичу.

Коровин не вытерпел и передал.

Вскоре было соединенное собрание телеграфистов, гимназистов и реалистов в Козлёне, у Николая Павловича. Все участники заранее прочитали „Историю культуры“ Липперта. Николай Павлович устроил обсуждение книги, похожее на экзамен, очень ловко вызывая каждого высказываться.

Мещерин страдал весь вечер. Он завидовал гимназистам и реалистам. Как он хотел походить на них! И Перышкин, и Дмитриев, и Верхнераменский, и даже каплюсенькая толстенькая Стеша Грибкова не чувствовали решительно никакого смущения перед хозяином, ходили и сидели в комнате, как у себя дома, горячо спорили с Николаем Павловичем и перебивали его. Васе представилось, что Перышкин и Верхнераменский говорили куда лучше Житницына. Вот бы сделаться таким оратором! А как они поняли и как разобрались в Липперте!

Мещерин не осилил эту книгу. Он запомнил из нее какие-то не связанные между собой куски. Николай Павлович пробовал несколько раз втравить Васю в спор. Но лицо у телеграфиста покрывалось столь густой краснотой, словно оно было обтянуто не кожей, а мокрым кумачом.

— Сейчас с Мещериным случится удар! — ядовито подставил ножку Верхнераменский.

Недалеко от Васи сидела бойкая говорунья гимназистка Клавдя Орлова. Она засмеялась обиднее всех. Раскатисто и откро-

венно, точно доставляла Мещерину удовольствие своим радостным смехом.

Верхнераменский упорно добивался ее внимания. Как будто он только для нее и говорил всегда на собраниях, часто кося свои серые глаза на девушку. Они вместе уходили с собрания. Клавдя крепко и неотступно запомнилась Васе.

Он с ревнивой украдкой проводил ее глазами вчера вечером в театре, когда она, в коричневом платье и белой пелеринке, вся сверкая, как разноцветный фонарик, беспрерывно повертывая голову во все стороны с улыбкой, с ямочками на щеках, прошла с компанией незнакомых гимназистов и гимназисток по коридору.

В толпе Васю затерли. Клавдя его не заметила. Зато он заметил Верхнераменского, обогнавшего его. Должно быть, этот опоздал к началу спектакля. Он промчался, запыхавшись, вытирая потный лоб носовым платком.

Васе хотелось, чтобы Клавдя увидала тщательно расчесанные мещеринские кудри и белый шелковый бант вместо галстука на черной рубашке с отложным воротником. Сегодня он обновлял бант. Сегодня впервые купил билет в партере, в самом последнем ряду. Так и решил: реже ходить, но непременно в партер.

Клавдя с товарищами остановилась у самого прохода в зал. Васе понравилось, что она довольно холодно и равнодушно поздоровалась с Верхнераменским, но от смущения Вася не дошел до нее и выждал, чтобы Клавдя ушла на свое место.

В полумраке Мещерин проскочил в зал. Васе было не до актеров, не до интересного последнего действия. Он разыскал Клавдю в самой середине партера, рядом с Верхнераменским. И ему опять понравилось, что, хотя Верхнераменский то-и-дело наклонялся к ее локону, выбившемуся около уха, и что-то нашептывал, Клавдя немного отстранялась, запрещала говорить и внимательно смотрела на сцену.

Сердце Мещерина замерло от удовлетворения: Верхнераменский терпел явную неудачу. А все-таки он сидел рядом

с Клавдей! Вот даже свободно и просто, как бы сделала она сама, поправил пелеринку, от ее неловкого движения закинувшуюся на плечо.

Клавдя повернулась в профиль к Мещерину, и он увидел ее прищуренные глаза и усмехающиеся губы, благодарившие Верхнераменского за услугу.

Этот поворот Клавди к соседу заставил Васю тяжело вздохнуть, сделать притворно безразличное лицо, а глаза направить в высь, на галерку.

Мещерин подумал:

„Я должен закалять свою волю. Что мне Клавдя? Ничего. Она чужая. Она — Верхнераменского. Этого неприятного выскочки Верхнераменского! Я больше не взгляну на них на обоих!“

И Вася начал отвлекать себя рассматриванием галерки. Темно. Но глаза привыкли. Вот у самого занавеса перегнулся через перила и заглядывает на сцену Степка Разживин. Он старый билетер. Его выгнали за даровой пропуск в театр всех ребят с улицы из Заречья, где он жил. Вон в первом ряду балкона седенькие старик и старуха: кто они — Вася не знает, но они всегда сидят на одних и тех же местах. Да много там знакомых на галерке!..

Мещерин свободно пошевелился. Невольно сравнил галерку с партером и остался доволен, что он сидел на своем собственном стуле: не жарко, не тесно, и от всех пахнет духами, а не пòтом и овчиной, как там, у потолка, в поднебесной. Да, только отсюда можно понять потолок, — это небо, а по нему летят в легчайших ночных сорочках ангелы с золотыми трубами. Так расписал, может быть, Подыминогин, славный вывесочный мастер в Вологде!

Какие милые и простые люди на галерке! Если там любят, то прямо обнимают. Сидят в обнимку на первой и на второй скамейках балкона. Жарко и сладко. А здесь Вася просто поглядывал со сторонки.

Милых и приятных людей с галерки, однако, Вася взял

для сравнения только в отместку Клавде. Из-за нее же одной он скоро и забыл их всех.

В последний антракт Вася не вышел в коридор, из боязни столкнуться с Клавдей и выдать свою тревогу.

Он беспокойно сидел на стуле, отвернувшись к ложам, чтобы не попасться девушке на глаза, когда она вернется с прогулки.

Вася чувствовал какой-то неизъяснимый страх перед Клавдей. Он сидел, как невольник в темнице.

Мелькнула мысль: а не убежать ли через вторые двери в партере совсем из театра? Вот как Клавдя покажется в конце коридора, — видать через раскрытые ложи белую вперемежку с черной радостную толпу людей, — можно успеть выскочить в коридор и юркнуть к вешалке.

Так случилось, что действительно столкнулись здесь после окончания спектакля. Вася в торопливой растерянности надевал калоши, никак не попадая в них ногой, и неуклюже толкался.

Кто-то внезапно взял его под-руку и потянул к себе.

— Мещерка, ты тоже был? — звонко, словно заиграли трензеля в оркестре, закричала Клавдя. — Здравствуй! А я тебя не видала. Ты меня видел?

— Нет, не видал, — соврал и страшно покраснел Вася и для чего-то добавил: — Жарко...

— Ужасно! — воскликнула чем-то недовольная Клавдя, внимательно посмотрела на него и сунула руку. — Ну, до свидания! Надо одеваться!

Верхнераменский кивнул Васе издали, пробираясь сквозь толпу к девушке с охапкой вещей и торчавшими сверху двумя парами калош.

Мещерин поймал себя в стенном зеркале, точно заполнил всю раму, голова даже уперлась в верхний завиток. Вася с неприязнью заметил на себе нескладное пальто, слишком глазастую, с желтым кантом фуражку, особенно перепуганное багровое лицо — и стремительно бросился на улицу.

...Мещерин наспех, часа за два до собрания, с головой, занятой другим, кое-как докончил Липперта. Теперь пришла расплата. Смех Клавди прозвучал сскорбительно и больно.

Николай Павлович бегло взглянул на Васю. Его жалкий вид, краснота указывали на какое-то внутреннее беспокойство. Житницын постарался сгладить неловкость и выручить растерявшегося Мещерина. Он тотчас же отвлек общее внимание от Васи, задав Верхнераменскому ряд трудных вопросов, ответить на которые тот не сумел с обычной самоуверенностью.

Но Васе не везло. Еле-еле пришло успокоение от насмешки над ним Верхнераменского, Анна Яковлевна отозвала Мещерина к окну и сразу же резко сказала ему:

— Вася, ты рассказываешь небылицы товарищам о своей поездке на линию. Ведь это неправда? Этого не было? А если и было, то не так?

Мещерин смешался.

— Я тебе это потому говорю, — немного смягчилась Воскресенская, — что хочу каждого из вас предостеречь от игры в революцию. Не болтай больше никогда о том, чего ты еще не в состоянии делать. Тебе надо сначала самому понять глубоко и со всех сторон много-много разных вещей, а потом уж и действовать.

Анна Яковлевна наклонилась близко к Мещерину и шопотом спросила:

— Ты почему давеча так смутился? Ты не прочитал, должно быть, Липперта? Ну, милый, это уж совсем по-школьному. Что мы — учителя вам? Срезать на экзамене будем? Для вас же это нужно. Знать, знать больше! Мы вам товарищи, а не учителя! Тебе следует бросить кружок, если ты думаешь так поступать и дальше!

Бросить кружок? Ни за что! Вася пережил вдруг подлинное смятение перед тем, что он может утратить право входа на эти собрания, на встречи с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной!

Но как причудлива жизнь! Воскресенская словно и не сердилась только что на Васю, отошла от него и ввязалась в спор, подхватив его в самом жару.

Что же произошло с Клавдей? Она мельком взглянула на робко и побито оставшегося у окна в полном одиночестве Мещерина. Он делал вид, что слушал. На самом деле у него путано неслись в голове обрывки ни с чем не связанных мыслей. На лице девушки вдруг появилось выражение озабоченности. Мещерин старался не смотреть на Клавдю, но невольно следил за нею, научившись видеть ее в совершенно неуловимой ни для кого косинé глаз. Клавдя все настойчивее оборачивалась в сторону Васи. Наконец она осторожно встала, и Мещерин понял: она шла к нему.

Клавдя близко и тепло встала рядом — Вася не успел отодвинуться, прищурила глаза и вполголоса буркнула:

— Я очень скверная... Я глупо засмеялась над тобой... Я совсем не хотела... Нет, вру... хотела. Вообще я... дрянь...

Она взяла руку Васи и пожала ее.

— Я больше не буду...

И сразу точно брызнуло у нее из глаз озорство, она подавила смех, почти коснулась уха Мещерина маленькими пухлыми губами и прошептала:

— Ты руки держишь как будто по швам. Я едва нашла...

Она нарочно задержала губы возле Васиного уха, чтобы заметил Верхнераменский.

— Я обопрусь на твое плечо и влезу на подоконник, — внезапно сказала Клавдя, — мне неудобно стоять. Подсади меня.

Вася понемногу справился с охватившим его волнением. Клавдя так села на подоконник, что, чуть облокотившись на него, Мещерин почти притрагивался к ее коленям. Девушка ловко и умело заставила Васю разговориться. Она засыпала его вопросами.

— Тише, — сказал Верхнераменский, бросая удрученный взгляд на уединившуюся пару.

Клавдя покорно прикладывала пальчик к губам и опять продолжала разговор.

— Клавдя! Вася! — возглашал Верхнераменский, будто бы он боялся потерять нить спора. — Вы нам мешаете. Кто не хочет слушать, тот... — и Верхнераменский многозначительно смолк.

— Это тебе кажется, что мы не слушаем! — серьезно и возмущенно воскликнула Клавдя.

Так они весь вечер и просидели, не расставаясь.

— Не правда ли, мы с тобой теперь подружились? — прямо уставилась в глаза Васи девушка.

Мещерин счастливо улыбнулся.

— Знаешь, что, — сказала Клавдя, — ты меня сегодня проводи домой. Я не хочу итти с Верхнераменским. Я хочу с тобой. Давай уйдем незаметно. Я сейчас выскользну из комнаты, оденусь и подожду тебя на улице.

Клавдя спрыгнула с подоконника, ушла в переднюю, и настороженный Вася услыхал скрип дверей в крылечке. Мещерин, хотя и не так расторопно, но вышел за ней вслед.

— Замечательно! — ликуя, прошептала она. — Бери меня под-руку. Сначала пойдем быстро, чтобы не догнали... Потом пойдем чуть-чуть...

Вася бережно прикоснулся к согнутой калачиком руке.

Она сама поправила неуклюжего кавалера, взяла его руку и прижала к себе.

— Ты в ногу иди, — весело расхохоталась Клавдя, — ты применись! Давай с левой... как солдаты. Неужели тебе не приходилось хаживать с девочками под-руку?..

Клавдя жила далеко за рекой. Она упорно не торопилась. В сознание Васи прокрадывалась неприятная мысль — чем объяснить дома такое позднее возвращение?

— Мы с тобой, как влюбленные, — болтала и потешалась Клавдя, — вот, на нас смотрит луна! Лица у нас белые от луны, как у стариков! Ты наверное заметил, что в меня влюблен Верхнераменский? Он мне объяснился... Я ему

ничего не ответила... Я его не люблю. Он первый ученик. Гордится и важничает. Его никто не любит. Он очень способный: в классе учитель прочитает сто новых слов по-французски, Верхнераменский без ошибки запомнит... Все на него удивляются... Я, Вася, откровенная. Мне из всего вашего кружка нравишься только ты один...

Шли. Стояли, облокотясь на перильца набережной. Лунная струя трепетала...

— Кли, кли! — передразнивала Клавдя. — Я страшно люблю гулять по ночам! „Таинственно шла пара... Фонари мерцали, как, как...“ Ну же, подсказывай!.. Мне хотелось бы встретиться с настоящим писателем и посмотреть, какой он, походит ли на остальных людей или не походит?.. Ты не видал настоящего писателя?

Мещерин почувствовал боль: значит, Клавдя его не считала настоящим.

— Ваш журнал „Осенние осоки“ хуже, чем у гимназистов. У них и название лучше: „Ручьи“.

— Теперь у нас журнал будет называться „Залп“, — вставил Вася.

Клавдя начала хохотать, тяжело повисая на руке Мещерина.

— Залп! Ха-ха! Залп! Почему? Это значит — раз выстрелили, и будет? Никуда не годится! Впрочем, все равно. Хоть раз, хоть десять. У меня брат студент-математик. Во-от он потешается над вами! Читал ваш журнал за чаем. И мама и он хохотали со слезами на глазах, и оба прямо визжали от удовольствия. А я защищала. Особенно... одну вещь...

Клавдя жила в маленьком флигеле. Вася подвел ее к калитке.

— Ага! — сказала радостно Клавдя. — Мама сама недавно вернулась из гостей. Она у меня картёжница. По ночам дуется в преферанс то у одних знакомых, то у других. Вон она прошла со свечой по моей комнате. Это хорошо. Не придется будить.

Мещерин увидал шатающуюся тень свечи на занавеске.

— Vale! — приветливо тряхнула руку Васи девушка и скрылась.

Мещерин шагнул с вытаращенными глазами, покраснев от беспокойства: он не понимал, что значит это „Vale“. Но, должно быть, оно обозначало много.

Снова стукнуло кольцо калитки, и опять показалась Клавдя. Она поманила рукой Мещерина. Недоумевая и торопясь, он вернулся.

— Я защищала... твою вещь, — лукаво сверкнув глазками, задумчиво сказала она. — Я тебя вчера и в театре видела. Ты сидел весь антракт в зале и следил за мной, как я ходила по коридору. Попался? — Клавдя шутливо хлопнула по руке Васю. — Теперь уже прощай насовсем! Я опоздала. Мама затасила свечу...

Мещерин на другой день узнал от Николая Павловича смысл и значение „Vale“.

При следующем свидании, немного стесняясь, без особой уверенности в своем языке, Вася полушопотом пробормотал:

— Vale...

Почему-то Клавдя, смеясь, сверкнула глазками.

Заботы прибавились не у одного Мещерина. Почти каждый из кружковцев не справился со своим сердцем. Так парами приходили и парами уходили. Вместе читали одни и те же книги. Вместе защищали и опровергали прочитанное. Неожиданно сталкивались на прогулках в самых глухих и отдаленных улицах. Прятались друг от друга. Торчали под освещенными окнами у флигелей и квартир любимых.

Как будто по неотложному делу, с книжкой или с тетрадью стихов в руке, попадали в большую перемену к женской гимназии, шли быстро мимо, успевая, однако, с сияющими лицами переглянуться. Встречались на катках, на ледяных горах, в театрах, на танцовальных вечеринках, уезжали за город на лодках, жгли костры, бродили в подгородных рощах и кустарниках... На кружках было шумно и весело.

Соломкин перестал принимать заказы на печатание стихов. „Осенние осоки“ высмеяли как глупое название и переименовали в „Залп“. Техник не торопился. Он занимался журналом с такой ленью, что „Залп“, отощавший наполовину, вылез года через полтора.

Соломкин полюбил тонкую папиросную бумагу. Он возился у своего гектографа, точно ходил каждый день на службу. Воскресенская и Житницын доставляли бумагу. Соломкин почти не слезал с сенника, где он теперь устроил лабораторию.

— — — — — — — — — — — — — — —

Кобылка... Знакомые и родные места. Там прожито долго. Там знают многие по имени. Там недавно кричали под горячую руку матери обиженных ребятишек:

— Пастух несчастный! Верзила длинношеий! Мой парнишка тебя не задевал, а ты на него верхом садишься! Что он тебе — лошадь? Посмей когда тронуть, дух тебе выпустим, трактирщики подлые! Отцов спаиваете, а из ребят забаву делаете! У вас много, у нас мало. Пиджак ты у него новенький запатрал. Парнишка на него не нарадовался, на гвоздик его около своей постельки вешал, чистил и обихоживал, а ты грязной хворостиной по нему!

В Кобылке дрались — артель на артель. Били в одиночку: на одного десятеро. Потом от грозы до грозы — городки, бабки, карты, борьба по-цыгански, чехарда...

Ребята вопили:

— Эй, Мещерин, иди в кон! На верблюде ровно бы мы не катались!

Теперь в тесных и низких сенцах шопот... Шорох передаваемых листков... Вечернее ожидание в глубине двора, за дровяными сараями... Удобно в полдень.

Высокая красная труба с закопченной верхушкой видна отовсюду с Кобылки. Вот рядом с ней, как белый пар из вскипевшего самовара, вырвалась густая кудрявая струя-штопор. Гудок на обед.

Принес из Козлёны и Желвунцов прямо под рубашкой, на теле, шелестящую бумагу. Она попадет на вечернюю смену. Не надо прятать ее грудой на ночь в одном месте. Она тогда мертвая. Не говорит. Не дышит. Ее могут взять.

Ночью на Кобылке ходят дозорным шагом люди в серых и черных шинелях, будят. Ищут. Находят. Но тогда шелестят по темным флигелям рассеянные листки. Не жалко: один-два. Вороха подхватило ветром и разнесло. Серым и черным шинелям пожива на столбах, на афишных вертушках, на заборах. Берите ножи и скоблите!

До полночи, когда бродят на Кобылке последние пьяные, прошли засыпающими проулками Мещерин, Корогин, Чевревков, Петелькин и запятнали броские на глаз места.

В укромьи, в репейниках и крапиве, перерастающих заборы, выгорают все лето не найденные наклейки. Челядь на Кобылке учится по ним читать и понимать.

Труба мастерских спокойно курит. Черная полоса дыма пряма, как разостланная на ровном полу дорожка. Труба и дым напоминают мужицкую косу, поставленную на корешок. Работа в полный завод.

По Кобылке крупным шагом идут разномастные жеребцы. Патрули городовых. Окна на Кобылке затворены. На улицах пусто. Одна неуёмная челядь снует сзади и спереди патрулей: то подозрительно обгоняет, то отстает.

Есть лихая и веселая забава. Ребята смирненько идут по деревянным лавам, переброшенным через грязи и канавы. Патруль подъехал. И тут... взмах над головой маленькой жестяной коробкой. Она нарочно начищена. Какой-то сизый свет мелькает в воздухе. Патруль точно отбрасывает. Городовые, подымая лошадей на дыбы, напряженно смотрят... Ребята уже понеслись на свои задворки.

Так пугали городовых бомбой...

Затворены окна, замкнуты ворота и калитки на улице; зато всё настежь в садики, на огороды, на помойки; дворы полны рабочих. Жалко — не дают спеть, а то бы спели...

Железнодорожники бастовали день-два. Тогда по той и по другой стороне улиц бездельно, не признаваясь друг другу, шли и переглядывались Мещерин, Петелькин, Коровин... Надо посмотреть. Надо рассказать ссыльным, как ездят патрули. Хотелось прямо, открыто войти в знакомые флигелишки... Удерживались: конспирация...

Мещерин встретил переодетых в штатское Верхнераменского и Перышкина. Ему показалось, что они были бледны и напуганы.

Вася точно участвовал в забастовке. Это он, нахлобучив картуз, вышел из проходной заводской будки и не вернулся на работу. Пускай сирена для потехи гудит в пять утра, в полдень, в одиннадцать ночи, — все равно он не сдвинется с места, покуда начальник мастерских не сделает так, как сказано на папиросных листках.

— Слаба кишка! — слышал Вася в те же дни на телеграфе, в библиотеке, на улицах, даже у Анны Яковлевны и у Николая Павловича.

Кобылка опять побежала по гудку. Как будто ничего не было. Только кой-где во флигелях буйно.

— Забастовщик сыскался! — надрывно голосил бабий печальный голос. — Почему тебя с завода выгнали, а не Петруху, а не Ваньку, а не Гришку? Те попроворнее. Больше всех подбивали, а сами усидели, а вас, простофиль, вон! Бери ребенка! На! Пускай он у тебя сосет! У меня груди с голодухи высохли!

Бабы обивали пороги у конторы и голосили. Некоторые молча, словно по обету, шли на базар с узлами, продавали последнюю ветошь...

На Кобылке больше пьяных.

— Пропил! Последний мой сак пропил! — плакала другая, бросаясь от бабы к бабе и жалобно припадая к ним.

— И мой!

— И наш!

— Говорят, опять набирать будут!

— Какое!

— Надобно корзину на руку да из проклятой этой Вологды бежать, куда глаза глядят! Здесь хлеб пропал! На заметке! Подохни — не достанешь!

— Голубушка, мыкаемся, как цыгане! За три последних года третий раз скачем из одного городка в другой. Нигде ужиться не можем! Гонют! Ребят плодим, а все труднее и труднее жить! Мой-то ожесточился на весь свет! Ровно бы перекувырнул его, будь на то его воля и сила!

— Да-а, перекувырнешь его! Кувыркал и много, да что в них толку! Много и мало. Сила, подумаешь, какая: мастера на тачке вывезли да свисток оборвали. А мастеров сколько хочешь других! Всех не вывезешь! Свисток починят.

— Ежели на свете голодных больше, чем сытых, так бастуй не бастуй, заместо наших наберут других голодранцев!

Как у нас на троне
Чучело в короне!.. —

кричал озлобленно и отчаянно подвыпивший рабочий, шагая грязной уличной дорогой в сдвинутом на затылок картузе, в распахнутом пиджаке и размахивая сжатыми кулаками.

Над ним боязливо усмехались. От него сторонились.

— Ешь меня с кашей! — не унимался разошедшийся с горя человек. — Все равно! Н-не уступлю! Н-не сдамся! Н-не поклонюсь! Сволочи! Кровопивцы! В тюрьму желаю! Выведу бабу и ребят моих на главную улицу, и мы им запоем песню про царей и про всех всемирных палачей! Эх!

Он долго бродил с одного конца Кобылки на другой, покуда его насильно не затаскивали товарищи домой или не попадал он в часть.

У студента под конторкой
Пузырек нашли с касторкой!
Эх! Динамит не динамит,
А без пороху палит! —

слышался вопль из какого-нибудь угла вросшего в гнилую, болотистую землю флигелюшки.

Таинственные заглавные буквы Р. С. Д. Р. П. Знамя. Малое, как головной платок. Шестик. За городом, в бывших солдатских лагерях, в тени кем-то насаженных и заброшенных берез, на лугу — опять Кобылка. Тут Петрухин с пекарями. Тут Верхнераменский и Клавдя. Тут некрасивые, с шероховатыми руками, мойки с водочного завода. Худые девушки в бедных платьях. Анна Яковлевна и Николай Павлович попеременно говорят. Просто, понятно... Их сменяют другие ссыльные — товарищи Петр, Сидор, Егор...

Мещерин слушает издали. Вася горделиво думает, что он вместе с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной делает огромное и нужное дело, которое принесет всему трудящемуся человечеству счастливую, солнечную жизнь. Вася в восторге от этих мыслей. Они сжимают ему горло, почти как слезы. Сегодня его очередь стоять под крайними березами на карауле и не сводить глаз с желтой дороги, бегущей к городу. Оттуда и туда плетутся редкие деревенские бабы, проезжают одиночки и целые обозы, просверкало светлыми спицами в колесах купеческое ландо...

Самодержавие... Царь... Помещики... Фабриканты... Беднота. Рабочие. Крестьяне. Р. С. Д. Р. П. Стачки. Революция. Вооруженное восстание...

Это знакомо и нужно, и каждый раз по-новому, точно накапливается это новое от массовки до массовки.

Вон по всей опушке стерегут дороги и тропы в город другие. Мещерин бдителен и зорок. Он до красноты в глазах навстречу ветру и пыли следит за опасными путями. Он горделиво и радостно чувствует себя участником общего дела. Это ничего, что на лугу народу мало. Мещерин не хочет забыть о себе как о „старом революционере". Он считает... В прошлом году здесь было меньше. Люди приходят. И большой город будет таять. Если бы город не боялся, не надо было бы стеречь Кирилловский большак: по нему могут прискакать городовые, по нему могут, пыля тяжелыми сапогами, притти солдаты моршанцы.

Вон и Соломкин верит, что должно притти время, когда понадобится Пете суковатая палка. Он изобретатель. Он сделал складную палку: одна вкладывается в другую, на кончике вкладыша маленький красный флажок, как осенний ржавый лист. Петя предусмотрителен: он заготовил, он хочет в нужный час открыть свою палку и поднять ее над толпой.

Анна Яковлевна и Николай Павлович с тремя товарищами спустились к реке и переехали на тот берег. Лодку погнал вниз Петелькин. Понемногу в разные стороны разбрелись все. Клавдя сделала из обеих рук по калачику. Мещерин и Верхнераменский подхватили ее и повели.

Клавдя ухитрилась шепнуть Васе:

— Я уйду домой... и выйду... Ты меня подожди в переулке...

Из калитки флигеля Орловых вышла нарядная улыбающаяся женщина. Верхнераменский стремительно подбежал к ней, низко склонился и поцеловал руку.

— Мама, это Мещерин, — сказала, почему-то сконфузясь, Клавдя.

Вася не хотел бы отставать от Верхнераменского. Женщина уже, подав руку, держала ее, изогнув, на такой высоте, с какой следовало приложиться. Но Мещерин вдруг весь вспыхнул от непривычного, бессмысленно посмотрел в глаза женщины, в точности повторявшей глаза Клавди, замедлил и только крепко пожал руку.

— Надо вот так, — шутливо вымолвила мама Клавди и закрыла Васе рот ладошкой.

Мещерин еще никогда не видал Клавдю такой красной. Он с болью объяснил себе ее красноту: девушка стеснялась неловкости Васи.

— Ты, Клавденька, домой? — нежно спросила мама. — Это хорошо и кстати. Я вернусь поздно. Я к Сухоруковым. Саша ушел давно, и неизвестно, когда придет. Дом пустой...

Мама хотела проститься с молодыми людьми. Верхнера-

менский, приготовившись, ждал. Но мать с дочерью переглянулись. Клавдя переступила ножками и умело полузаслонила Васю...

— Ну, я... вперед! — весело воскликнула мама, взмахнула серебряной сумкой и пошла. — До свиданья!

Высокая прямая тонкая женщина в белом легком костюме опиралась на хрупкий, малинового цвета, зонтик. Она двигалась быстро и молодо, точно была не матерью, а старшей сестрой Клавди.

— Значит, Клавденька, сегодня мы больше не увидимся? — довольно усмехаясь над посрамленным неуклюжим соперником, спросил Верхнераменский.

— Значит, — серьезно и недовольно ответила она. — Куда уж! С утра вместе! Я совсем без задних ног. Гу-ду-ут! — засмеялась она и бросила хитрый взгляд на Мещерина.

Расстались.

Верхнераменский и Вася никак не могли начать разговора. Но молчать обоим было стеснительно и неудобно.

— Прекрасная девушка! — наконец воскликнул Верхнераменский. — Совсем не походит на свою вертушку-мать. Та — орел баба! Любовников меняет, как попы в церкви ежемесячные святцы. Ты этого не знал? — покровительственно спросил Верхнераменский.

— Нет.

— Клавдя всё видит... Удаленькая мама, — язвительно подпустил Верхнераменский. — С каждого любовника получает фотографические карточки и ставит их в альбом. Муж был путейский инженер. Пьяница. Три года назад попал в крушение. Задавило. Железная дорога выплатила семье несколько тысяч рублей. Да были кой-какие запасы. Вот и живут... Мама картежит... Кажется, удачно..

Мещерин жадно слушал.

Верхнераменский как будто осуждал мать Клавди, но в то же время в словах его чувствовалось непроизвольное восхищение ею.

— Она очень недурна... — помолчав, неопределенно сказал Верхнераменский.

— Кто она: дочь или мать? — поддел Мещерин, разглядывая сбоку лицо Верхнераменского в задумчивости.

— Обе... — буркнул тот.

— Ты говорил, Клавдя не походит...

— Походит, не походит — дело не в этом, — с крайним пренебрежением протянул Верхнераменский, — как бы тебе это объяснить... Нет, невозможно... Ты не поймешь... Тут тонкость нужна...

Вася почувствовал больной укол: Верхнераменский считал себя выше товарища.

— Мне сюда, — вдруг догадался Мещерин.

Он вошел во двор какого-то дома и выждал, покуда Верхнераменский не повернул в соседнюю улицу.

Васю уже поджидали.

— Отделался? — резко спросила Клавдя.

— Да.

— Он, наверное, говорил пакости про маму?

Мещерин мялся и старался отвести свои глаза от глаз Клавди. Она крепко взяла его под-руку, словно Вася намеревался убежать.

— Говорил... всякую... Неправда это? — сказал Мещерин.

Клавдя внезапно засмеялась на всю улицу.

— Вот так революционеры! — бормотала смеясь девушка. — А если бы и правда, кому какое дело, как один человек живет, как другой, не похоже на остальных?! Я почему догадалась? Про маму много болтают... Она смелая и решительная... Верхнераменскому надо отогнать от меня всех... У него был роман со Стешей сначала... Он ей рассказал о маме всякие были-небылицы... Конечно, намеками... А та — мне... Он тебя ревнует ко мне...

Вася не нашел ничего другого сказать:

— Почему?

— Как почему? — удивилась Клавдя. — Разве...

И она не докончила.

— Пойдем дальше отсюда, — потащила она его, — к реке. Там сядем на берегу... У Георгия-победоносца... Можно было бы у нас в садике... да я не хочу, чтобы с тобой встретился мой брат. Он терпеть не может всех железнодорожников... Из-за отца...

Белые громады Георгия-победоносца с синими куполами в серебряных звездах опрокинулись с высокого берега в спокойную реку. Вокруг куполов, мелькая, носились стрижи. Клавдя следила за ними по отражению в воде. Она набрала горсть мелких камешков и швыряла их по одному, метясь в тень стрижа.

— Попала, попала! — кричала Клавдя.

Казалось, стрижи шли на дно. Увлекся и Вася метанием камней. Так они, бормоча несвязные слова, вспомнить которые не могли бы снова, сидели тут до вечера.

— Я не нагулялась, — сказала Клавдя, когда, уже при огнях, Мещерин подвел ее опять к дому.

Уединились во Фрязинове. Долго брели молча, разглядывая свои пыльные туфли.

— Ты думаешь, я веселая? — перескакивала с одного на другое девушка. — Это только так кажется. Мне часто бывает страшно грустно. И хочется плакать. Отчего? Неизвестно отчего. Я и в кружки хожу зря. Я и в революцию совсем не верю. Ты думаешь, что-нибудь выйдет из кружков да из забастовки рабочих? Ничего не выйдет. А мне совсем не стыдно плакать. Я тут зашла к Анне Яковлевне днем и застала ее в слезах. Она так мне и не сказала, из-за чего плакала, а только мы с ней долго обнимались. „Я, — говорит, — Клавденька, дура, ты на меня не смотри!“ Она бы должна была меня, как маленькую, по голове гладить, а тут я ее гладила. Анна Яковлевна в конце концов развеселилась, наспех вытерла слезы — кто-то прошел под окнами — и сказала с большим чувством: „Ты, девочка, просто прелесть! Ничего, ничего, всё пройдет!“

Мещерин переставал дичиться: Клавдя умела быть такой доброй и простой, что вдруг он ловил себя на самой непринужденной болтливости.

Клавдя понемногу выведала у него решительно все заповедные секреты.

Вася невольно прибавлял к рассказам, желая изобразить свою жизнь как можно безрадостнее. Само собой, ему хотелось казаться более интересным, чем он был в действительности. Он где-то прочитал, что любовь часто начинается с жалости женщины. Мещерин даже говорил подавленным и мрачным голосом, чтобы вызвать эту жалость.

— Я к тебе буду ходить домой, как я бываю у Верхнераменского, у Перышкина и у других товарищей, — огорошила Клавдя Васю, — мне интересно посмотреть, как ты живешь. Можно? — она кокетливо наклонила головку, не сомневаясь в согласии.

Мещерин собрался с силами и в полном испуге заявил:

— Ни за что!

Клавдя даже вынула руку из-под его руки.

— Ни за что! Тебе у нас... мама... папа... Они не понимают. Я боюсь...

— Что они меня выгонят? — захохотала Клавдя. — Меня еще ниоткуда не выгоняли!

Мещерин в сильнейшем волнении искал слова, какими можно было объяснить, почему к нему нельзя.

— Ах, какая ты тряпка! — с досадой сказала Клавдя. — Я бы на твоем месте заявила: прошу не вмешиваться в мою жизнь. Тебе восемнадцать лет... Ты мужчина...

Клавдя передохнула, опять прилипла с теплым вниманием и дружбой к Васе и язвительно продолжала:

— Ты даже жениться можешь! Кажется, нам с шестнадцати лет можно выходить замуж, а вам — жениться с семнадцати. Знаешь, что, — оживилась она, уже охваченная блеснувшей мыслью, — давай разыграем твоего отца и мать. Придем вместе и скажем: мы жених и невеста. Ха-ха!

Вася хотя поддержал смех, ему было приятно назваться женихом Клавди, но он с ужасом представил лицо отца.

— Впрочем, я несогласна, — разочарованно и пренебрежительно сморщила мордочку Клавдя, — раз твой папа такой грубый и бьет тебя, он, пожалуй, заодно выпорет и меня! А вон у Верхнераменского отец ниже травы. Он все за сыном ходит и твердит: „Володечка, Володечка!..“ Тот хоть отца и любит, а когда мы собираемся у них, выпроваживает его, чтобы не мешал...

Улицы за две до флигеля Клавди внезапно наткнулись на Верхнераменского. Володечка побелел и растерянно заморгал глазами.

— Какими судьбами! — с притворным добродушием воскликнул он.

Мещерин очень смутился, но Клавдя была совершенно спокойна.

— Можно с вами? Вы гуляете? — несмело попросил Верхнераменский.

— Я думаю, — важно ответил Мещерин, торжествуя над самоуверенным товарищем, мявшимся теперь около Клавди в крайней робости.

Девушка с лукавством улыбнулась, взяла Васю за руку, пожала ее и твердо вымолвила:

— Тебе как раз тут ближе к дому. Прямо пройдешь на набережную к Золотухе. Не надо провожать. Ты, наверное, и так устал: целый день бродим. Меня проводит Верхнераменский. Это ему наказанье: не попадайся на глаза!

Мещерин оторопел. Обида разлилась по его лицу, словно его осветили красным фонарем. Верхнераменский в рассеянности не простился с Васей, будто взвизгнул от удовольствия, храбро поддел знакомый калачик Клавдиной руки и застучал высокими каблуками по мостовой.

Мещерин почти побежал прочь. Ярость проснулась и забушевала в сердце. Так же бегом он повернул вдогонку. Он приготовился. Он решил бесповоротно порвать всякие отно-

шения со своей оскорбительницей. Вася должен был нагнать ее и сказать:

— Я вас не знал и не хочу больше знать!

Всякое „ты“ долой! Только „вы“. Никаких оправданий! Никаких объяснений! Верхнераменский сильнее. Он мог броситься на него. Но все равно: Вася не уступит...

Мещерин, однако, опоздал. Ему ревниво пришлось наблюдать в освещенном и не задернутом шторой окне Клавдиной квартиры веселого, что-то рассказывающего Верхнераменского. Около него стояли Клавдя, брат ее и два незнакомых студента. Клавдя смотрела на Верхнераменского такими пожирающими глазами, как будто очень давно не видала его и была счастлива стоять с ним рядом.

Мещерин не спал до утра: в путаном воображении его проходили самые несообразные картины. То он женился на Клавде, то он хоронил ее и произносил у могилы речь, то Клавдя умоляла простить ее, и он отталкивал ее дрожащие руки, то он делался великим писателем, революционером, главнокомандующим революционными армиями, брал приступом Зимний дворец, казнил Николая Второго, ехал по улицам впереди войск, над ним колыхались сотни красных знамен, отовсюду крики: „Мещерин, Мещерин!“ — а она стояла в толпе рядом с замухрышкой Верхнераменским... И оба они были замухрышками. Клавдя плакала от своей ошибки... Но было уже поздно. Другая женщина поджидала его... И равной ей не было во всей России...

Вася проспал дежурство. Петелькин с бранью встретил его:

— Сволочь ты! Знаешь, что в ночную смену не сладко работать, а заставил меня продежурить лишних два часа! Я в следующий раз брошу аппарат! Как хочешь!

Мещерин решил ничего не говорить Клавде при встрече первым, а когда она начнет оправдываться, тогда-то и потешиться над ней.

Встретились в очередную среду. Клавдя поздоровалась

с ним, как со всеми, села рядом с Анной Яковлевной и ни разу во весь вечер не взглянула на него.

Такое поведение Клавди было полнейшей неожиданностью. Все заготовленные для объяснения слова мгновенно исчезли. Смущенным и взволнованным оказался Вася, а девушка, находясь возле обиженного ею человека, решительно не чувствовала никакого неудобства. Как будто она даже и не помнила об этом.

Вася плохо владел собою. Клавдя неотразимо влекла. Он не сводил с нее восхищенных глаз.

В следующую встречу девушка независимо подошла к нему и сказала:

— Товарищ Мещерин, собирайтесь меня провожать! Будет дуться! Долой!

— Долой! — счастливо засмеялся от нежности к девушке Вася.

На Подзорной улице у какого-то развалившегося амбара стояла скамейка. Похолодало. Нависали, как тяжелые черные балдахины, дождевые тучи. Осенний ветер подметал небо. Заодно он смахнул и луну.

— Вот я кладу тебе на плечо мою голову, — шопотом сказала Клавдя. — Я к тебе пододвинулась совсем близко, потому что мне холодно... Ты что должен делать?

Мещерин ответил также шопотом:

— Я взял твои руки, подышал на них. Они начали согреваться.

— И это все?

— Нет, не все!

— Этого мало.

— Я знаю.

— А что дальше?

— А дальше вот что...

Мещерин осторожно склонился к Клавде, приблизил губы к губам и чуть коснулся.

— Ты не ошибся! — засмеялась Клавдя и сразу же строго

встала, оправила волосы и не захотела, чтобы Вася довел ее до дома.

— Нет, нет, я одна... Прощай. Пойдем каждый сам по себе и будем думать...

Мещерин послушно отстал, следя на месте, как Клавдя, опустив голову, не торопясь удалялась от него в плотную и черную ночь улицы. Скоро он слышал неуверенные, скользящие шаги девушки.

Вася выкурил несколько папирос; они сгорали стремительно и никак не насыщали. Он просидел на скамейке долго и радостно, покуда сверху Подзорной улицы не услыхал пьяную песню какой-то идущей ночной компании.

Кружки... книги... собрания... встречи... На телеграф — сколько останется... Выгнали сначала Соломкина и Коровина. Они пропускали дежурства. Тяжелее всех пришлось Мещерину: он не посмел сказать отцу, не посмел снять картуз с желтым кантом.

И так — десять месяцев. Вася в форме уходил как будто на службу. Возвращался и переодевался. Но в служебное время нельзя ходить по городу, когда работа приходилась на день. Федор Степанович на улицах рéдок. Но бывал. Вася нашел пристанище: городская библиотека. За десять месяцев подневольного чтения Мещерин перерыл все библиотечные шкафы и полки. В ночные дежурства давали приют товарищи.

Зима. Шапка. Мороз. Поднятый воротник. Как будто кто-то закричал, догоняя по Козлёне. Да, это так.

Николай Павлович почти бежал по обледенелым мосткам. Он, конечно, не испытывал холода. Непривычно небрежен костюм. Шуба расстегнута. Выбился и повис длинным ухом шарф. Уханку перекосило набок. Так надевают люди вещи наспех.

— Вася, да знаешь ли ты, что в Петербурге настоящая революция! — воскликнул он перехватывающимся от волнения голосом.

Он кричал, забыв о проходящей мимо и прислушивавшейся подозрительно публике. Мещерин заметил в глазах Николая Павловича слезы. Житницын всегда сторонился ребят на улице. Теперь он обнял Васю, и так, обнявшись, они пошли.

Это были гапоновские январские дни тысяча девятьсот пятого года.

Вася вглядывался в Николая Павловича и не узнавал его. Не узнавал Анну Яковлевну, Петра, Сидора, Егора...

Как-то внезапно прекратились собрания по средам. Вася испытывал настоящую ревность. Ссыльные точно изменили кружковцам. Вася никогда не заставал дома Николая Павловича и Анну Яковлевну.

— Некогда, Вася, некогда, — серьезно говорил Житницын. — Теперь надо работать так, как будто бы мы до сей поры никогда не работали и за нами накопился большой долг.

Вскоре Вася понял, что кружки телеграфистов и учащейся молодежи были только маленьким, незначительным делом для ссыльных.

Главное — на Кобылке, в железнодорожных мастерских, на кожевенных и мыловаренных заводах, на подгородных писчебумажных фабриках, на стеклянном Устьинском заводе, в солдатских казармах. Везде, где рабочие, где темны и подслеповаты окна рабочих бараков, где окраинное захолустье притаилось в маленьких жалких флигелишках, где грязь и бедность и несдерживаемый гнев против чистой городской половины, против хозяев, против лощеной и бездельной и разряженной орды заводчиков, фабрикантов, их наймитов и угнетателей трудящихся.

Железнодорожники, пекаря, приказчики, кожевенники, бумажники, наборщики, солдаты — оттеснили говорливые и мечтательные кружки гимназистов, реалистов, кружки между прочим, в безвременье...

Дело нашлось и Васе.

Месяц за месяцем Вася носился по городу с собрания на

собрание, распространял листки на Кобылке, на водочном заводе, среди солдат, в городе, собирал кружки рабочих по затаенным зареченским и фрязиновским углам, проводил туда ссыльных агитаторов и пропагандистов. Вася не умел и не мог вести кружки сам: он мало знал. Он был способен, однако, помогать. Его называли „организатором“. Он с гордостью носил это звание.

Жизнь изменялась и преображалась. Вася не заметил, что отец выбрался из бедных городских трущоб. Он перешел на службу буфетчиком к первогильдейному купцу Межакову. На Козлёне, недалеко от Николая Павловича, Федор Степанович снял большую квартиру. Из нее вела лестница в мезонин. И там были две просторных комнаты, направо и налево. Тогда же приехал брат Шурка. Он устроился помощником машиниста на Ярославско-Архангельскую линию. Шурка водил поезда... У братьев было по комнате.

Как удобно жить!

В ресторане первого разряда купцы, инженеры, помещики пили до трех часов ночи. Папа приходил в четвертом, на рассвете.

Прямо из крыльца еще одна лестница: в мезонин. Отцу некогда проверять: он уходит и приходит, когда Вася спит. Теперь к нему могли приходить рабочие, ссыльные, Клавдя...

В мезонине, в выдолбленном бревнышке стены Вася хранил белые пироксилиновые шашки. В печном трубаке вложен ящик — там замурованы нужные книги. В мезонине глухо. За городом, за Турундаевскими мельницами, товарищ Егор обучал стрельбе из маузеров и браунингов. Обучение продолжал в одиночку. Прямо в стену из браунинга.

Жизнь причудливо заполнялась. Васе порою казалось, что только одно почетно и завидно положение в жизни — это отдать всего себя революции, походить на Николая Павловича, на Егора, стать профессионалом-революционером, потерять свое настоящее имя, уйти из дома, скрыться в подполье и служить там великому делу освобождения...

Клавдя сидела на коленях — это после кружков и собраний. Не зажигали огня. Целовались безмолвно. Бормотали стихи. И ни разу не сказали „люблю“. Без объяснений. Было стыдно, когда случайно загибался краешек юбки Клавди. Оправлял его незаметно, как будто снимал соринку с любимой. Чистые, прекрасные чувства!

Жизнь смелела. Клавдя перешла в шестой класс. Она завидовала уезжавшим в Петербург на курсы восьмиклассницам.

— Учиться! Учиться! Учиться!

Вот когда захотелось все понять, все узнать. А главное, захотелось избежать всякой отцовской опеки.

Вологда стала тесна, как флигель на Кобылке.

Вася отчетливо не представлял, что он будет делать, оказавшись на свободе. Но ему во что бы то ни стало нужна свобода, нужен огромный город, нужна столица...

Федор Степанович был потрясен: синий студенческий околыш, синяя шинель с золотыми орлами — это же лучше тоненького желтого кантика на картузе и тужурке телеграфиста.

Не удержали любовь к Клавде и печаль расставания: почта уничтожала дали. И почта и портреты. Кабинетные, на открытках и один увеличенный, в рамке из ракушек.

Федор Степанович отпустил. Накануне отъезда Соломкина и Мещерина на Бесовом ручье жгли костер, пели громогласно и с яростью революционные песни, грозили кулаками в тьму ночи, подозревая под всякой тьмой врагов.

Мещерин и Клавдя уходили во мглу, подальше от костра, и стоя целовались. Верхнераменский нарочно заболел в этот день и не пришел к пристани, откуда на лодке отправлялись к Бесовому ручью справлять мещеринскую отвальную.

ПЕТЕРБУРГ

Рыжеватый пиджак в клетку. Лохматая грива. Лицо в рябинах. Он смотрел глубоко исподлобья, точно из подворотни.

— Чем русский народ силён?

Огромная аудитория на Съезжинской улице замерла.

— Духом! — крикнул профессор-зырянин Каллистрат Жаков.

Философ и математик с общеобразовательных курсов А. С. Черняева, подготовлявших несколько сот недоучек и недорослей за полный курс гимназий и реальных, ожидал совсем другого ответа от слушателей, задавая такой глубокомысленный вопрос.

Лекции профессоров и преподавателей часто прерывались рукоплесканиями при малейшем, даже весьма отдаленном намеке на революцию.

А тут аудитория очень весело и подвижно́ шевельнулась, кой-где зашелестел осторожный смешок, только на первых скамейках поклонники чудаковатого лектора начали тяжело и настойчиво отбивать ладони.

— Духом! — воскликнул Каллистрат Фаллалеевич и пошел и пошел чеса́ть о народе-богоносце, о русских безднах, о русском нутре...

Жаков был в поту и краске. Грива его, точно у женщины,

моющей голову, почти закрывала лицо, он ее небрежно отбрасывал за уши, она опять налезала, над головой то-и-дело, как два ветвистых рога, вставали высоко воздымаемые профессорские пятерни.

Аудитория загремела, когда Каллистрат внезапно на полуслове прервал речь, взмахнул руками, словно собираясь лететь под потолок, и в совершенном неистовстве завопил:

— А теперь исполним „Марсельезу“!..

Это было интереснее и нужнее, чем путаная „пророческая“ речь, отнявшая полтора часа.

Того же Каллистрата Фаллалеевича Мещерин увидал через три года в Вологде на палубе парохода, готового отплыть с минуты на минуту. Профессор каждое лето навещал родные места области Ко́ми. Черненький гривач был в высоком цилиндре, в крылатке николаевского времени, на коленях он держал огромную гармонью-трехрядку.

Мещерин выпучил глаза вместе со многими улыбавшимися на гармониста людьми, прикованными к чудаческой его фигуре.

После третьего свистка пароходик дрогнул, зашурова́л... Тогда Каллистрат Фаллалеевич встрепенулся, поспешно закинул ногу за ногу и рванул трехрядку. Профессор вдохновенно заиграл вальс „Дунайские волны“...

Пристань весело и неутомимо хохотала. Ухмыляясь, держась боком к потешному пассажиру, капитан в белом кителе, словно пляшучи, повел судно.

И ботаник, и физик, и учитель словесности, и даже законоучитель, отличаясь во многом от Каллистрата Фаллалеевича, оказывались бессильными перед жизнью. Коридоры были полнее аудиторий. Слушатели собирались на курсах больше для встреч друг с другом, чем для занятий.

Рояль в курилке никогда не закрывался. Около инструмента один хор сменялся другим. Сизый табачный воздух никак не могли выкачать два электрических вентилятора.

— Товарищи! — беспомощно взывал суетливый Черняев,

едва пробираясь из набитого слушателями коридора. — Товарищи, перестаньте! Вы мешаете заниматься! Это совершенно же невозможно! Наконец, вы не бережете курсы! Меня же закроют! — плачущим голосом просил Черняев. — Меня через день вызывают в градоначальство! Мне грозят! Кто, кто посмел открыть форточку! — выходил из себя он. — Какой безумец?! Что, он не понимает! Революционные песни пока на улицах нельзя петь! Это вам не „Ой, полным-полна коробушка“! Товарищи, достаточно! Митинги по воскресеньям, только по воскресеньям, вне занятий! Я прошу вас! Я не хочу вас стеснять, но я вынужден!..

Черняев гнал слушателей по аудиториям.

— Что у меня тут — клуб или театральная курилка? — раздавался его надтреснутый, усталый голос. — Идите заниматься! Сейчас же идите! Дяди! Бородачи! Вам и совсем стыдно вести себя, как школьникам! — это он напускался на великовозрастных слушателей. — Я терплю, терплю — и отменю лекционную систему! Я вам университет устроил! У меня лучшие лекторы, лучшие профессора, зачеты... А вам нужны экзамены, двойки, уроки вам нужны, палка над вами нужна! Я всем проверку устрою! Я всех малоуспешных — за борт...

„Лучшие лекторы и профессора“ занимались под шум и шарканье подошв в коридорах, под звуки рояля и несмолкаемое хоровое пение. Иногда ничего не было слышно.

Мещерин хотел успеть и тут и там.

Величественна и прекрасна громоздившаяся все выше и выше революция. От нее нельзя заткнуть уши ватой! Нельзя опустить шторы и загородиться от испепеляющего света! Нельзя не видеть, не слышать, не осязать, не чувствовать, не любоваться и не гореть вместе с нею!

Шагни на улицу — и ты уже не можешь не почувствовать ее торжественной и грозной поступи.

Газеты — нарасхват. Конные и пешие пикеты казаков, городовых, пехотинцев рассеяны повсюду — от захолустий до

площадей. Где-то неурочно кричит фабричный гудок. Рельсы конок блестят вдали. На остановках ждут.

— Кажется, конка встала... — кто-то сказал и прошел мимо.

Но нет, вон одна показалась на Биржевом мосту. Знакомые клячи, громыхая неуклюжим ящиком, трусят по Кронверкскому. Как на пожарных дрогах, набатно звенит колокол вожатого. Конка бежит, не останавливаясь.

— Посадки не будет! Депутаты едут! В парк! Только после митинга, там будет известно, когда пойдет конка!

Внутри конки с десяток кондукторов, едущих куда-то в парк на митинг.

Мещерин, однако, думал: какая бы ни происходила революция, оставались геометрические и тригонометрические формулы, непоколебима алгебра — и непрерывные дроби, и бином Ньютона, и логарифмы, и действуют физические законы Ньютона и Гей-Люссака, и Бойля-Мариотта, и тысячи всяких крупиц человеческого знания. Без них аттестат зрелости Мещерин мог украсть или написать сам, сняв копию с аттестата счастливого соседа.

Пете Соломкину и Мещерину отцы и матери присылали по двадцать пять рублей в месяц. Товарищи сняли на Церковной улице комнату в одно окно.

Здесь на маленьком столе — общие книги. Они с загнутыми краями, облиты чаем, прокурены и прожжены отскочившим фосфором спичек.

Книги открывали в первые две недели. Потом их швырнули на пыльное окно. Тригонометрия, алгебра, физика — все гимназические науки онемели. Они показались несвоевременными.

Соломкин и Мещерин стали завсегдатаями курилки, коридоров. Там жизнь... Они только пренебрежительно заглядывали в стеклянные двери аудиторий на малые кучки кропотливо и усердно склоненных товарищей. Цифры, корни, чертежи на черных досках, исполосованных мелом, предста-

влялись им просто странными и никому не нужными знаками скучной и устарелой забавы.

И дни, и вечера, и ночи были заняты другим. Мещерин исшагал Петербург. Университет, Технологический, Галерная гавань, Нарвская застава, районные клубы на Васильевском острове, на Петербургской...

Там множество возбужденных, с блистающими глазами людей, духота, давка и... счастье.

Мещерин чувствовал себя день ото дня все богаче и богаче. Он столько понял и узнал в какие-нибудь недели митингов, что порой ему представлялось — больше и знать нечего. Как будто до того он не умел ненавидеть врага, не распознавал его, всем и всему слепо верил. И только теперь насторожился, как часовой на посту, насторожился к каждому шороху и шопоту.

В Мещерине жило не проходящее ликование: революция открывала безмерно счастливые и благополучные дали, всё впереди было сверкающим, солнечным...

Мещерин заменил слово „жизнь“ „будущим“. Во имя этого мечтательного будущего и можно было жить. Все в прошлом предстало гнилым и жалким. Прошлое напоминало прохудалый заброшенный мост, перекинутый когда-то очень давно через иссякнувшую реку.

Как неудержимо хотелось переделать весь мир! Но пока переделывали его, лежа на кроватях в тесной однооконной комнатушке, вскакивали с кроватей, не спали до рассвета и с мечтой засыпали. Читали, разыскивая всюду, социальные утопии, фантазировали сами... Вымыслы одолевали...

Сколько раз на разостланном листке писчей бумаги весь мир делался счастливым, щедро вознагражденным за все прошлые страдания.

Вася хотел быть чистым, бесконечно добрым, честным, героическим, умным...

Клавдя Орлова присылала каждую неделю завистливые письма. Мещерин отвечал на каждое двумя: одно продол-

жало другое, иначе пришлось бы посылать заказными и сдавать на почту, так как исписанные листки не влезали в конверт.

Вася предохранял себя от неожиданностей. Марки покупались в тот же день, как отец присылал деньги. К половине месяца наставало безденежье. Мещерин описывал каждый свой шаг, не считая за грех половину выдумать.

Мещерин мог считать себя уже студентом. Он дневал и ночевал в университете. Огромное длинное здание кишело народом. Вася перебывал во всех малых и больших аудиториях: у большевиков, у меньшевиков, у эсеров, у анархистов. В актовом зале, на общих митингах, где в яростных боях сталкивались представители всех партий, Мещерин своевременно пробирался к самой кафедре, сидел на подножке ее и почти с полу глядел на ораторов.

А этот замечательный стеклянный коридор, примыкающий к аудиториям! Вася промерил его: в нем триста восемьдесят четыре мещеринских шага.

— Абрам, Абрам! — вопил Мещерин, встречая маленького круглоголового студента-оратора с большими круглыми глазами.

Это был любимец тысяч. Его выход встречали неистовые рукоплескания и свистки. Его слушали жадно, притаясь, остерегаясь кашлять и шевелиться. Он говорил зло и резко, но как-то удивительно близко и понятно. Митинги, на которых Абрам не выступал, казались серыми.

Иваны, Семены, Петры, какие-то неведомые и таинственные люди, молодые, старые, пожилые, — все они, только в разной очереди, появлялись на трибунах и в университете, и в Технологическом, и в Горной академии, и в Лесном. Это была вражеская артель, которая никак не могла примириться друг с другом; она беспокойно переезжала с места на место и на народе, на людях старалась разрешить спор. И тысячи слушавших людей становились врагами.

Трещали полы под тяжестью тысяч.

— Товарищи! — бессильно звонили в колокольчики распорядители, поворачиваясь к дверям, ведущим в коридор. — В зале нельзя дохнуть! Оставайтесь на местах! Товарищи, мы все подвергаемся страшной опасности: здание старое, полы могут не выдержать!

Никто не слушал. Люди безоглядно лезли вперед. Колоссальная толпа все время раскачивалась, как чудовищный живой забор.

Мещерин порой переживал страх. Мгновенно угасало электричество.

— Товарищи! — пронзительно раздавался уверенный голос. — Митинг будет продолжаться при свечах. Они у нас наготове.

Зажигались свечи. Пламя дрожало и колыхалось от дыхания ораторов.

— А ну, и посумерничаем! — весело восклицал кто-то под общий смех.

— Товарищи, никакой паники! — предупреждали распорядители. — Среди собравшихся на митинг, конечно, есть сыщики и провокаторы. Не поддавайтесь им, если они выкинут какой-либо фортель. Они могут угрожать казаками, сделать провокационный выстрел. Полный порядок! И организация! Начнется паника, мы передушим и передавим друг друга. Бойтесь Ходынки! Это только на-руку самодержавию!

Мещерин несколько раз был в панике.

Вдруг в коридоре начиналось страшное, грохочущее бегство.

— Казаки! — вопили провокаторы. — Полиция окружила здание! Все входы и выходы заняты! Спасайся!

Смятение проходило не скоро.

Однажды Мещерина вдавили в оконное стекло. Оно осыпалось и мелко поранило отталкивающие толпу руки.

— Провокация! — гремел сильный голос Абрама. — Успокойтесь, товарищи! И пойдем дальше!

Сердце Васи билось тревожно и горделиво. Он делал вид, что ничего не боялся.

В коридорные окна Мещерин видел на университетском дворе спешившихся казаков. Они бездействовали, дожидаясь какого-то сигнала. И сигнала не было. Казаки и пехота занимали дворы Академии наук, Таможни, Петровского гостиного двора, Гинекологической клиники. У ворот стояли пристава и офицеры.

Войска и полиция напряженно глядели на пылающие окна университета. В окна были видны густые скопища людей. Митинги шли точно под охраной.

Мещерин независимо проходил мимо скучающей стражи. Васе казалось, что его она боялась, как и тех митингующих тысяч, которые еще не успели разойтись из университета.

После одного позднего митинга Мещерин и Соломкин на пустом Биржевом мосту встретили дико скакавшего верхового казака. Товарищи дрогнули, взялись под-руки и старались держаться ближе к перилам. Казак несся самой серединой мостового настила.

— Я вас! — гаркнул казак, поровнявшись с товарищами, сразу осадил коня, взвил нагайку, щелкнул и... вдруг захохотал, опять пускаясь в галоп.

Казак, видимо, хотел только напугать.

Соломкин посмотрел на Мещерина и пренебрежительно засмеялся:

— Васька, ты как меловой! А еще называешь себя революционером!

Но у Соломкина дрожала губа, словно он долго простоял на морозе и продрог. Вася изобразил эту дрожащую губу.

— Видишь, какой ты храбрец, — сказал он с торжеством. — Я не скрываюсь. У меня и сейчас жжет спину, точно на самом деле казак ударил.

Мещерин забегал на Черняевские курсы только в те вечера, когда он был свободен от митингов. На щите для объявлений висели какие-то понукающие к занятиям бумажки. Но кто же всерьез читал их? Они казались не стоящей внимания мелочью!

Главное приносили утренние газеты. С них начинался день.

Дули с Финского залива ветра́. С Петропавловской крепости стреляла пушка. Три, четыре, пять выстрелов... Нева выливалась на Кронверкский и отступала. Куранты императрицы Елизаветы Петровны уныло пели над Невой „Коль славен наш господь в Сионе...“ Стояли на постах городовые. Сновали люди... Шли молча, шли смеясь... Торговали магазины, базары. В вышине на флагштоках реяли привычные трехцветки. Посвистывая, носились через Неву финские пароходишки... Дождило, как и во всякую петербургскую осень.

Все как будто двигалось обычно и устойчиво на века вперед. Императорская Россия могуче и величественно покоилась в гранитных берегах Невы, царственно застыла Дворцовая набережная с дворцами трехсотлетних Романовых, непоколебимо колол небо шпиль Адмиралтейства, скакал конь Петра, Исаакий, как огромная коронационная шапка, возвышался над окоемом. Самодержавие представлялось неодолимой горой...

Не потому ли в бездействии занимали университетский окрест казаки и пехотинцы, что самодержавие было уверено в своих защитниках: оно могло позволить, могло и не позволить Мещерину и тысячам других собираться и разговаривать. Оно пока позволяло...

Так и говорил квартирный хозяин, чиновник таможни:

— Вы, молодцы хорошие, прислушайтесь к моему совету. В гущину митинга не залезайте, поближе к дверям! Придет случай и... улизнете первыми. А случай придет! Пока разрешают баловаться. Потом скажут: достаточно, натешились. Также у окошечек не стойте, а то плакать вашим родителям... Стеклышки в окошечках — дзинь-дзинь, а голова — с дыркой.

Мещерин чего-то напряженно ждал, как и все. В самом петербургском воздухе была какая-то тревожная тяжесть... Предгрозовая.

И вдруг сразу все начало валиться и падать. Гроза надвинулась и заворчала. Голос ее крепнул.

Играли куранты на Петропавловке, но перестали ходить конки. Троицкий мост весь в огнях, сияют в закате зеркала дворцовых окон, бегут лакированные кареты с шелковыми женщинами, с сановниками в андреевских лентах, в эполетах, в аксельбантах, но булочники перестали печь булки...

На Невском — мастеровщина. Вон у Казанского собора взлетела невиданная птица: крылатый красный флаг поднялся над толпой. Заскрипели ворота близлежащих домов. Показались конские морды. Всадники — уланы и казаки. Сверкнули, как серебряные хвостатые щуки, шашки. Цок. Скок. Красное знамя присело. Черная кучка людей исчезла. На улице пустота.

Но птица только перелетела дальше. Она опять вынырнула, играючи, паря и дразня. У нее целый выводок. Птенцы вспархивают и сзади и спереди. По Невскому, сминая все на своем пути, понеслась с разных сторон разгоряченная конница...

— Мы отрезаны! — крикнул Соломкин, вбежав запыхавшись в комнату утром.

Сегодня была очередь Соломкина покупать булки к чаю.

— Все дороги встали! Всеобщая железнодорожная забастовка! — сияя, вертясь неуклюже вокруг стола, возглашал Соломкин. — Давай, живо собирайся! Бери свою булку! Да на улицу! Пора! На Невский! К вокзалу! Там, наверное, уже началось!..

Оба товарища не представляли себе, что̀ должно было „начаться“, но это слово в последнее время повторялось каждым митинговым оратором.

Мещерин и Соломкин торопливо кинулись на Черняевские курсы.

Уже издали они заметили возле гремучих стеклянных дверей курсов наряд городовых с околоточными. Несколько знакомых слушателей стояло на дороге, не доходя до полицейских, и словно разглядывали какое-то небывалое чудо, преградившее им путь.

— Идите, товарищи, в большую аудиторию, — шепнул один. — Эти дураки заняли канцелярию, а большая аудитория свободна. Мы стережем здесь и направляем туда.

Мещерин никогда в жизни не видал сразу столько улыбавшихся от счастья лиц. По крайней мере сотни четыре слушателей находились в бесконечном движении, шумели, кричали, размахивали руками, пели и курили. Не пожалели верхней черной доски кафедры, провертели в ней дыру на самой середине и воткнули громадный флаг на палке. По бокам свисали еще два флага. Три ручки обломанных половых щеток послужили древками для первых красных знамен на Черняевских курсах.

— Мы с тобой разини! — сказал недовольно Соломкин. — Последними узнали о таком великом событии, как всеобщая забастовка! Смотри, давно все собрались!

Но товарищи быстро наверстали пропущенное, влив свои голоса в общий счастливый гам.

Полиция пришла в большую аудиторию часа через три, когда здание было уже переполнено, забиты все лестницы и на улице, у входа, значительная толпа не попавших внутрь открыла свой митинг.

— Долой самодержавие! — одним общим воем встретила гостей взволнованная аудитория. — Да здравствует революция! Да здравствует всеобщая забастовка! Вон полицию! Вон! Долой!

Долго шли препирательства. Куда девался воинственный и гордый вид полиции! Пристав и околоточный призывали к спокойствию и порядку! Толпа отвечала смехом.

Вдруг выскочил на трибуну маленький человек в курточке. Спина и грудь его были в мелу. Должно быть, человечка долго терли о стены на лестнице, прежде чем он попал сюда.

— Обезоружить их! — гаркнул малыш. — Как они смеют входить сюда и мешать нам?!

Толпа радостно и весело захохотала. Руки потянулись к

полиции. Правда, больше из желания напугать и попробовать ее выжить, чем из действительного стремления обезоружить.

— Товарищи! Я предлагаю продолжать собрание! — крикнул другой человек с трибуны. — Полиция никак нам не повредит. Видимо, она хочет послушать. Мы не против! Пусть послушает!

Толпа разразилась рукоплесканиями.

Полиция не посмела... Пристав крикнул один раз:

— Объявляю собрание закрытым!

Он попытался с нарядом полицейских двинуться к трибуне. Но стоявшие плечо к плечу слушатели напоминали крепкую и непролазную заросль.

— Ползите по головам! — нашелся Мещерин.

— А то, может, между ног пролезете? — крикнул кто-то.

Полицию выжили. Сначала исчез, угрожая, пристав, словно отправился за подмогой и распоряжениями в часть, потом незаметно увели половину полицейских, остальные сами разбрелись по лестницам и мирно расселись у входа на ступеньках, дымя цыгарками, как мужики на деревенской завалинке.

Мещерин и Соломкин с компанией курсантов исшастали в этот день весь Петербург и от изнеможения и усталости едва добрались до постели.

Манифест семнадцатого октября принес Мещерин. Тут уж было не до утренних булок! Едва Вася вышел за ворота, как он наткнулся на газетчика. Его окружала толпа женщин с корзинками и кошолками в руках. Газетчик брал на копейку дороже и орал на всю улицу:

— Манифест государя императора о свободах! Конец самодержавию! Равноправие! Товарищи, не рвите! Всем, всем хватит! Еще принесу!

Мещерин и Соломкин прильнули к манифесту. Как они ни были горды победой над самодержавием, но первоначальное очарование и восхищение быстро прошли, едва они вчитались в манифест.

— А, сволочи! — вознегодовал Мещерин. — Свобода, да не полная!

— С ужимками и оговорками! — добавил Соломкин.

На повсеместных вечерних митингах — товарищи побывали в трех-четырех местах — каждый почувствовал себя довольным и проницательным. Манифест семнадцатого октября никого не смог обмануть, его зло и беспощадно высмеивали повсюду.

Тем не менее на завтра назначены были манифестации.

— Товарищи! — согласно и едино бушевали ораторы с трибун. — Царь соблаговолил нас осчастливить свободами! Но мы уже и без него имеем их! Мы взяли их! Мы заставили этого палача подписать себе смертный приговор! Не верьте самодержавию! Оно притворяется! Оно вынуждено заигрывать с нами! Оно только ранено, но не побеждено! Оно одной рукой дает свободы, а другой подготовляется к нашему разгрому! Покажем ему нашу спаянность и организованность! На улицы! Пускай, все выйдут с песнями и флагами! Мы зальем улицы Петербурга сотнями тысяч! Мы не благодарить пойдем царя-батюшку, а мы пойдем с нашими революционными требованиями: Долой самодержавие! Долой подлую камарилью! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует вооруженное восстание! Мы должны добить врага! Пусть он завтра содрогнется от нашего единодушия и мощи!

Часов около девяти утра Мещерин и Соломкин торопливо спустились с лестницы. На улицах была какая-то подчеркнутая тишина. Редкие пешеходы. Явно — товарищи. Другие петербуржцы словно нарочно спали сегодня дольше или просто не показывались. Не видать извозчиков. Улицы почти пусты. И эта пустота как-то особенно настораживала. Громады домов стояли в каком-то подозрительном затишьи.

„Неужели кругом враги?“

— Просто трусы! — точно поняв по глазам Мещерина, о чем тот думал, внезапно сказал Соломкин, идя рядом и оглядывая молчаливые строения.

Серое, неясное небо перед дождем. Синь, как закраины на озере в половодье. Ночью крапало. Легко прибитую пыль уже подсушивало.

Перед входом в университет беспокойно двигалась многотысячная толпа. Университет был закрыт. Но с балкона говорили попеременно несколько ораторов. Говорили краткие напутствия, прерываемые нетерпеливыми криками и рукоплесканиями.

Вдруг откуда-то взялись трое разносчиков с детскими шариками. Над головами разносчиков плыли и колыхались довольно обширные продолговатые, как виноградные гроздья, разноцветные кучки. Игрушку раскупили мгновенно. Покупатели их рвали друг у друга.

Тут и там над толпой затрепетали шары, как летучие фонарики. И кто-то дал сигнал. Почти внезапно, под громкие крики непонятной и неожиданной радости, шарики выпустили из рук.

Зеленые, голубые, красные, розовые колбаски, головки, кулачки всплыли над толпой. Они усыпали и точно расцветили октябрьскую серизну неба. Толпа, совсем по-детски, как будто забыв обо всем другом, провожала сначала медленный, а потом все ускоряющийся отлет шаров.

Они поднялись, снесенные ветром на Неву, в необъятную глубину неба. Вот уже едва заметные пятнышки...

А когда толпа, словно высасывая из домов все новых и новых демонстрантов, становясь несметной, тихо и вперевалку вступала на Невский, — и там все небо оказалось в детских шариках.

Видимо, никогда еще так успешно не торговали продавцы дешевыми детскими шарами, как в этот день. Почему-то они полюбились сегодня взрослым — и бородачам, и старухам, и всем, кто, взявшись за руки, перегородил прямые и стройные проспекты императорской столицы. Впереди шествия, посреди многочисленных знамен, плыла целая гроздь связанных детских шаров.

Мещерин оглянулся от Казанского собора вниз — и сердце его замерло.

Во всю длину Невского дома и люди нераздельно слились. Насколько хватал глаз — головы, головы, шляпы, мужские, женские, с киверами, платки, кепки, картузы... Вон тут и там, как снежные хлопья, седые волосы. Вон резко выделяются головные уборы редких военных.

Вдвоем с Соломкиным они тащили тяжеленное знамя Васильеостровского района. Они изнемогали. Но не хотелось отдавать соседям, не хотелось смены, не хотелось признаваться в такие минуты в ничтожных человеческих слабостях. Какая могла быть усталость, когда им доверили огромное районное знамя! Они уже забыли, что знамя никто им не доверял, они почти выхватили его из рук каких-то потных и бледных людей, должно быть, несших его уже очень давно. Выхватили и присвоили, как собственность.

Мещерин и Соломкин почти побежали вперед со знаменем, чтобы снова занять место в головной колонне.

За Аничковым мостом, только спустились с него, произошла заминка. Мгновенно сотни кулаков поднялись в направлении наглухо запертого дома направо.

Тут же они поняли, почему поднялись кулаки. Во втором этаже дома у трех окон стояло несколько расфранченных дам. Некоторые из них разглядывали толпу в золотые лорнеты. Один старик, в сверкающей белизной сорочке, в черном сюртуке, ловко вскидывал на глаз монокль, стаскивал его и во весь рот презрительно усмехался. Группа военных была видна в глубине комнат.

Зеваки из богатого дома не выдержали натиска ярости и негодования, исходившего от раскалявшейся толпы. Тяжелый булыжник грохочуще ударил в средний простенок. Людей за окнами точно сдуло. Толпа пошла...

— К Технологическому! К Технологическому! — внезапно откуда-то сзади, как по солдатской обученной цепи, пришел чей-то приказ.

Толпа послушно свернула.

На Загородном проспекте Мещерин и Соломкин пролезли со своим знаменем в самый перед. Человек пятьсот-шестьсот, самое большее, шло выше.

— Солдаты! Цепь! — крикнул кто-то рядом.

Действительно, дальше открылся глазам как будто пустой тупик. Его преграждали две шеренги солдат в серых шинелях. С боков ходили офицеры.

— Полковник Мин! Командует полковник Мин! — как предостерегающий рокот, прокатилось по рядам.

Сзади, в неохватимой дали еще не кончалась толпа. Она напирала. Передние упорствовали.

— Товарищи! — старались прекратить начинавшееся замешательство наиболее находчивые и выдержанные добровольцы. Шествием никто не управлял и не распоряжался: двигалась стихия... — Товарищи! Стойте, стойте!

Но кто-то уже вдали увидал конных улан и казаков.

— Товарищи! Впереди Мин с солдатами! Сзади конница! Мы окружены!

— Товарищи! — кричал первый, залезая на фонарный столб, чтобы оратора могли видеть все и лучше слышать. Доброволец отчаянно махал одной рукой, призывая к порядку, а другой придерживался за столб, крепко обвив его ногами.

Мещерин и Соломкин, вытесненные нажимом толпы с Загородного, стояли со знаменем прямо против серых солдатских рядов в ста шагах. Налево был пустырь за ветхим высоким забором, направо — широкая безлюдная улица с фонарем на углу и оратором на фонаре.

— Товарищи! Надо итти прямо! — требовал оратор. — Они не посмеют расстрелять нас! Они должны дать дорогу революционному народу! Мужайтесь! Мы сейчас потребуем открыть нам свободный путь! Это издевательство над нами!

Мещерин заметил, как тот, кого называли полковником Мином, неторопливо стянул с правой руки перчатку... и солдаты сразу взяли ружья к плечу.

Полковник Мин отступил от шеренги два шага в сторону.

Мещерину изменило мужество. Вдруг ему показалось совершенно ненужным и бесполезным во что бы то ни стало итти прямо, когда солдаты нарочно были поставлены так, чтобы демонстрация свернула направо, в пустую и свободную улицу.

— Товарищи! — гаркнул он, визгливо срываясь. — Туда, туда! — Вася наклонил знамя вправо. — Сюда можно!

Толпа с Загородного давила. Перекресток сгустился от народа. Головные знамена медленно, но сближались с солдатской цепью.

— Доска! — ударило непонятное слово в уши. — За забором солдаты! Засада!

Мещерин услышал треск и краешком глаза уследил, как из середины забора отвалилось несколько досок, в отверстие просунулись дула со штыками и... сразу рвануло, щелкнуло, запахло дымом... Человек с фонаря, крикнув, грохнулся головой о мостовую...

Соломкин выпустил знамя. Мещерин без памяти оттолкнул его. Красная пола покрыла каких-то людей. Они выскользнули из-под нее. Древко задребезжало на панели точно расщепленное или лопнуло, как струна...

Жжж... Жжи... Один за другим два залпа. Мещерин понесся вдогонку за Соломкиным. Васе показалось, что пули летели, извиваясь змеями.

На Мещерине было легкое осеннее пальто с черным бархатным воротником. Освобожденные от знамени затекшие руки нашли применение. Мещерин желал укрыться от пуль. Он втянул голову в плечи, поднял свой воротничишко, держался за него и бежал.

Мещерин вскочил в груду слегших на панель людей. Запнулся. Слезла одна калоша. Мгновенно Вася освободился от другой и оставил ее на дороге.

Морщась от неприятного чувства, но ничуть не жалея в этот момент, он тяжело ступил на чью-то тоненькую блед-

ную женскую руку, откинувшуюся прямо ему под ноги, и точно раздавил ее, как детскую игрушку.

Мещерин искал спасения. Еще один залп прокатился вдоль улицы. Вася своротил к самым домам.

Он было кинулся в одни широко раскрытые двери... Вот оно, освобождение от страха!.. Кинулся — и его отбросило.

В дверях стоял огромнейший детина в белой куртке и фартуке. Он замахнулся на Мещерина фарфоровым пузаном-чайником и едва-едва не угодил по голове... Чайник вырвался из рук и с хрястом разлетелся в мелкий белый сор. Мещерин попал в чайную „Союза русского народа“.

Спасение пришло через несколько страшных минут. У крайнего дома, стоявшего на канале, Мещерин прижался к стене. Соломкин выглядывал из-за угла и с глупым счастьем в глазах улыбался навстречу товарищу. Вася посмотрел назад: вдоль всей улицы валялись знамена, калоши, трости, шляпы, зонты и люди...

Была радость жизни в душе, когда товарищи, внезапно ощущая ничем не одолимую усталость, шли по каналу, еле-еле переставляя ноги. Даже, как будто вместе с ними сияя, солнце вдруг обогрело землю.

Одновременно и Мещерин и Соломкин переживали омерзение и негодование.

А вскоре они почувствовали себя и стыдно и жалко. Из всех прилегающих уличек и переулков спешили помятые, потрепанные, красные, запыхавшиеся люди... Они испуганно оглядывались. Не узнавали местности.

Тогда кто-то и крикнул сзади Мещерина и Соломкина:

— Казаки! Стреляют!

Оба товарища дрогнули и побежали. Они остановились через квартал, не глядя друг на друга. Напрасная тревога! Над ними смеялись довольные прохожие.

Так, настораживаясь, слыша бьющиеся сердца, отравленные злобой и ненавистью, Мещерин и Соломкин добрались до Казанского собора.

—

Светило яркое вечернее солнце. Прошел весь день. Его не заметили. Словно он был самый короткий из дней. И тут в первый раз после обстрела засмеялись.

Товарищи на лету поймали слух: у Казанского собора должна была вновь собраться демонстрация.

Мещерин и Соломкин отдохнули под колоннадой собора. Здесь скапливались рассеянные остатки манифестантов.

— Черносотенцы, черносотенцы идут! — принес неожиданное известие какой-то молодой парень без шапки, с расстегнутым воротом, в теплой извозчичьей жилетке, прибежавший сломя голову с Невского.

Кое-кто начал стремительно покидать колоннаду. Но никаких черносотенцев не было видно. По Невскому текла обычная людская толпа. Собиравшиеся на новую демонстрацию с любопытством выжидали.

Соломкин решил защищаться. Он полез во внутренний карман своего старого пальтишки и неожиданно вынул огромный черный самодельный нож, привезенный из Вологды. Там щепали этим ножом лучину для растопки самовара и рубили, как косой, лопухи в огороде.

Некий человек, стоявший рядом с Мещериным и Соломкиным, в ужасе отпрянул, а вслед за ним шарахнулись десятки людей. Товарищи по-настоящему растерялись и обомлели: вокруг них образовалась пустота.

— Забрать их! — несмело сказал самый дальний зевака. — В полицию свести! Может, в мутной водичке рыбку ловят!..

Никто не тронулся с места. Но все с осторожной сдержанностью продолжали косить глаза на Соломкина и Мещерина, когда уже и нож был спрятан.

Никакой демонстрации они не дождались. Лениво и устало пошли. Но только спустились по лесенке из-под колоннады, как тот же человек опять высунулся из-за одной колонны и крикнул:

— Хулиганы!

Тогда уж Мещерин не мог удержать Соломкина. Петя реши-

тельно обнажил свое смешное оружие и нарочно заторопился к человеку. Тот, вопя, прыснул под колоннаду. Народ начал разбегаться...

А назавтра генерал Трепов усеял все заборы и углы домов коротеньким объявлением: „Патронов не жалеть!“ Объявление собирало возмущенные толпы обманутых людей.

Вскоре шебуевский журнал „Пулемет“, перепечатавший это объявление и наложивший на него кровавую лапу, заменил открытки писателей, висевшие над кроватью Мещерина.

Митинги начали остывать. Становилось малолюднее...

„Известия Совета рабочих депутатов“ передавались из-под полы. Закрывались и возникали вновь газеты. Черная сотня громила Россию. Университет заперли. Надвигалась унылая осень... Зимой вспыхнула вторая всеобщая забастовка — и не удалась. Московское вооруженное восстание. Петербург отстал.

На Черняевских курсах обезлюдело. Бывали дни, когда рояль отдыхал. Он, как в октябре, ожил в декабрьское восстание. Слухи, слухи, слухи...

И вот пришел страшный день разгрома. Уныние...

Мещерин слонялся на курсах. Людей в аудиториях прибавилось. Но какая скука брать в руки мел и стоять у доски, решать алгебраические задачи, вычерчивать геометрические фигуры! Стоять у доски, почти упираясь в потолок, в низеньких черняевских классах... А главное — все это второстепенно. А главное — революция. Ей надо отдать себя.

Петербург подавлял. Вася чувствовал, что он здесь мал и неприспособлен, он окружен здесь незнакомыми и как будто чужими людьми. В Вологде проще. Там свои. Там снова рядом с Николаем Павловичем и Анной Яковлевной. Мещерин будет там нужен и на месте.

Федору Степановичу легко было объяснить неудачный выезд: Черняевские курсы закрыли.

Новый, тысяча девятьсот шестой год праздновали у Николая Павловича на Козлёне.

В ГРОЗУ

Три года...

Мещерин их не заметил: как будто это было вчера.

Федор Степанович точно отступил за угол. Отцовская власть стала спорной.

Однажды ночью Федора Степановича подняли с кровати. Жандармы и городовые вошли в квартиру.

— Извините, Федор Степанович, — сказал жандармский офицер, завсегдатай межаковского ресторана, — в три часа мы с вами расстались, а в пять снова встреча... Служба...

Офицер нетвердо стоял на ногах.

— Которого же вам нужно? — спросил Федор Степанович. — У меня два сына: Александр и Василий.

— Последнего... Собственно, мы только поищем... Один обыск... Я полагаю, — многозначительно и вполголоса шепнул офицер на ухо Федору Степановичу, — тут недоразумение... Я не допускаю...

Жандармы и полиция поднялись в мезонин. Обыск был довольно благодушный. Скользили по вещам. Листовки и мелкие книжки Мещерин хранил внизу, в мякоти отцовского дивана. Там они благополучно и остались.

Федор Степанович проводил гостей и явился на расправу с сыном.

— Где ты тут, негодяй! — загремел его полный гнева голос.

Вася, дрожа, стоял у дверей с заложенным крючком. Отец дернул за скобу.

— Открой!

Федор Степанович в ярости начал ломиться в дверь.

— Это что еще за новости! Дармоед проклятый! На весь город позóрит да в чужой квартире распоряжается! Отца не пускает! Слышишь?!

Брат и мама толклись около отца и старались его успокоить.

— Федя, — плача, говорила мама, — ну, пойдем спать! Завтра поговоришь!

— Папа, это, может быть, по ошибке к нему пришли! — заступился Шурка. — Вчера у одного машиниста тоже был такой же обыск. Весь город обыскивают.

— Молчите вы, тюлени! — завопил Федор Степанович. — Нашлись заступники! Кошка знает, чье мясо съела! Я ему сейчас покажу, как не своим делом заниматься! Дерьмо такое — ре-во-лю-ци-он-е-ер! Отопрешь, мерзавец?

— Не отопру! — крикнул Вася. — Не смеешь меня бить!

— А-а! Ты уже так научился со мной разговаривать! — зарычал Федор Степанович.

Отец с такой силой сотрясал двери, что они начали поддаваться, крючок уже хлябал, ослабевая...

Вася заметался по комнате. Неустранимо надвигалось унижение, какого, казалось, нельзя было перенести.

Почти в беспамятстве Вася придвинул стол к дверям, швырнул на стол тяжелое мягкое кресло, давя и опрокидывая чернильницу. Чернильная струя закапала на пол...

— Убью! — ревел в неистовстве Федор Степанович. — Я дожил до такого дня, когда последний шелопай, мое несчастье, ни во что своего отца не ставит!

Федор Степанович не хотел слышать никаких уговоров Шурки и жены, заглушал криком всякие объяснения Васи: он рвался, как разъяренный бык, к своей цели.

Вася не помнил, как очутился у него в руках браунинг,

вытащенный из-за плинтуса. Минуту он вертел его в руках. В какое-то мгновение Вася хотел защищаться от отцовского насилия. На миг мелькнула мысль застрелиться. Он внезапно, молниеносно представил себя лежащим и бездыханным — на зло и... на горе и на вечное раскаяние отцу... И сразу же пожалел себя. Даже из страха перед самим собой подумал: „А не открыть ли лучше дверь — и пусть будет, что будет?"

Вместо всего этого Вася непроизвольно схитрил... Ему представилось, что никогда еще так оглушительно, словно залп из нескольких револьверов, не гремел в мезонине один выстрел из браунинга.

— Вася! Вася! — отчаянно заплакала мать. — Пусти, пусти, зверь!

Мещерин обратил на себя нужное ему внимание. Мать с нечеловечески возросшей силой оттолкнула Федора Степановича. Тогда Вася, уже словно не владея голосом, не без хитрости заявил:

— Оставьте меня в покое! Я никому не позволю унижать мою человеческую личность. Я застрелюсь! Я не допущу над собой кулачной расправы! Уйдите... я вам говорю!..

Вася вынул обойму и опять ее вставил. Возню с оружием слышали за дверями.

— Федя! — молила мать. — Брось ты его, подлеца! Он не в своем уме.

— Открой! — как будто не сдавался отец. — Я... тебя... не трону!..

Вася пустился на последнюю хитрость.

— Шурка, — крикнул он, — передай моим товарищам, что отец меня вздумал избивать и я решил умереть, но не позволить над собой издеваться!.. Я стыжусь моего отца!

— Будь ты проклят, бешеный! — плюнул отец за дверями и... отступил.

А когда все улеглось, Шурка осторожно прошептал в замочную скважину:

— Вася, отец ушел... Отопри...

— Может, подстерегает? — так же шопотом ответил тот.

— Нет, я ходил вниз проверять. Сначала плакал и задыхался. А теперь мама ему на сердце положила холодную тряпку. Лег. Спокойно лежит. Не встанет. Скоро уснет. Прошло...

Вася из осторожности все же не пустил Шурку в комнату: разговаривали они через порог.

— Ловкий ты номер выкинул! — одобрил брат.

— Я правда хотел щелкнуть.

— Брось передо мной-то играть в индейского петуха!

— Я не играю!

Шурка засмеялся.

— Мама мне велела взять у тебя револьвер. Она сама к тебе скоро придет. Подготовься.

И братья поладили.

— Нá тебе бульдошку, — весело сказал Вася, — у меня валяется давно эта дрянь. Ты ей передай. А я спасу свой браунинг.

Мама явилась через полчаса, когда уснул папа или притворился спящим. Вася нарочно раскидался на кровати. Будто, измучившись от ночных происшествий, он наконец не одолел усталости и заснул.

Мама чуть приоткрыла полуразломанную дверь, оставленную на крючке, прильнула к щели, в которую видна была Васина кровать, послушала дыхание умиротворившегося сына и облегченно вздохнула. Вася услышал в Шуркиной комнате шопот, потом стук.

— Ой, выстрелит! — воскликнула мама.

Это она неловко уронила бульдошку на пол. Шурка засмеялся.

— Оставь у меня, — сказал он. — Я ему не отдам.

— Нет, я лучше его заверну, — сказала мама, — дай вон газету... заверну и спущу его в сортир. Вы еще, дураки, кого-нибудь застрелите или сами изуродуете себя...

Бульдог утонул... Федор Степанович не раз и не два гре-

мел в квартире, выходил из себя, беснуясь, стискивал кулаки и... совал их в карманы. Острастка подействовала.

Три года....Федор Степанович словно перестал беспокоиться о дальнейшей судьбе сына. Словно отец решил окончательно дать выгуляться Васе и не препятствовал ему в шатании по городу.

Вася с год служил писцом в ломбарде, и столько же — статистиком в земской управе.

К грошовому жалованью отец добавлял карманные деньги.

— Только на книги, — хмуро говорил папа, давая их, — ни на что другое.

У Васи был уже большой книжный шкаф. Федор Степанович изредка поднимался без сына в мезонин, проверял шкаф и, довольно усмехаясь, шутил с мамой:

— Лоботрясит, а книг прибавляется! Может, перебродит дурь!.. Я ведь и сам до солдатчины был ухо! Дерзкий!.. Да ведь, Марьюшка, и время дерзкое. Не одним нам, отцам, печаль. Все отцы жалуются! Вон, говорят, у самого вице-губернатора сына-студента в Сибирь угнали! А дочь распетушица, ходит в мужском платье и сама сапоги шьет! Не хочет учиться!

Кобылку постепенно, год от году тверже, топтал испытанный жандармский сапог. Но все же Кобылка не та. Она сделалась более своевольной и смелой. Ее не затопчешь!

Те же люди. Те же — и другие. Они явно и открыто враждебны. В полицейские и жандармские разъезды летит мелкий и крупный булыжник. Быстро, как по невидимому сигналу, собирается толпа, окружает разъезд, отбивает арестованных пьяных, лезет под конские копыта, берется за узды и повода. Открыто пели революционные песни.

Темное, нeладное здание бывшего ростовщика — кто-то пришел ночью и задушил хозяина — известно на всю Кобылку. Там заводская чайная и закусочная. Ее открыли в пятом. Она уцелела от всех нападок. Чайную окружала полиция, и... мастерские останавливались. Караулы снимали. В чайной под-

польный клуб, рабочее правление, явки, встречи ссыльных с рабочими...

Мещерин был там своим. Он приходил туда даже с Клавдей, или она дожидалась его через улицу напротив.

— Клавдюшка! — кричал из окна Петрухин. — А мы твово молодца нынче и не отпустим! Закабалим! Он нам резолюцию пишет, а то больно мы сами-то грамотеи с изъяном. Подь суды! Мы тя чаем с кренделями напоим. У нас здеся под закрылиной, а то неровно на тебя досужий человек наскачет на лошадке!

Мещерин высовывался сзади и подавал знаки не ходить. В каком бы Вася ни пребывал очаровании и восхищении от своих старых и веселых товарищей-рабочих, он малость стеснялся за них. В чайной грязь, как в „Светлорядской" на черной половине. На столах груды неряшливо раскиданных рыбьих и мясных костей, так их метлой время от времени смахивала прислуга на пол в порядке оптовой уборки. Выметали грудой. В чайной табачный дым, как от костра с мокрым валежником: низкий, густой, плотный. За столом гвалт. В чайные стаканы льют водку из принесенных в карманах бутылок. Слова невоздержны и откровенны: Клавде они непривычны.

Вон несколько пар злых глаз: для них Клавдя только барышненка, да и сам Вася — неизвестно почему и для чего снующий в чайной нерабочий парень. Шляпа. Интеллигент.

Мещерин ясно видел и знал, что на Кобылке он люб далеко не всем. С ним говорят, его слушают, но глаза товарищей порой неловко косят в сторону.

Николай Павлович и Анна Яковлевна не удивлялись на жалобы.

— Это пройдет. Это временно. Это старое наследие. До этого довели их. Всякий, кто почище, подозрителен... А не барин ли? А не чужак ли? Ведь он на заводе не работает! Так же и мужики в деревне всякого взвешивают: не за сохой — значит не нахлебник ли, не ему ли оброк плати?

Вася подсчитывал количество кружковцев.

— У меня тринадцать, — удовлетворенно говорил Вася своей возлюбленной. — Тринадцать кружков. А в них семьдесят два человека. Я, понимаешь, неплохой организатор...

Мещерин мечтал быть пропагандистом, как Николай Павлович, Анна Яковлевна и недавно присланные из Москвы и Харькова в ссылку товарищи Сидор, Медяшкин и Дора Брукман.

У Доры Брукман Вася и оскандалился.

В длинной и узкой комнате собралось человек двадцать кожевенников. Дора поручила организатору заменить ее. Мещерин струхнул. Но ведь это же являлось началом пропагандистской работы! Вася не пропускал ни одного заседания агитаторской и пропагандистской коллегий. Там он с жадностью прислушивался и узнавал, как надо было с большей пользой вести кружки и агитировать. На заседаниях отчетливо запоминались все нехитрые приемы, какими действовали товарищи. Вот бы сейчас перейти в соседнюю комнату и попробовать!

Попробовать пришлось недели через две после собрания. Сколько раз Вася слышал разъяснения Николая Павловича о политическом и экономическом значении всеобщей забастовки! Об этом только и требовалось сегодня рассказать кожевенникам.

Вася откашлялся и начал смело. Проскочили первые заученные фразы. Проскочили гладко. Рабочие внимательно сосредоточились. И вдруг точно из-под Мещерина выдернули стул, на котором он сидел... Запинка... Вася повторил снова сказанное. И еще раз.

Рабочие переглянулись и пошевелились. Мещерин вспыхнул. Тогда он решил не глядеть на слушателей. Вася сознавал, что язык его плел чушь. Мещерин с болью и обидой прислушивался к перешоптыванию рабочих. Вася ни к селу, ни к городу приводил всяческие сравнения, прибаутки и поговорки. Значение всеобщей стачки было неуловимо, как

облака. Наконец Мещерин решился прекратить доброзольное мучение, осекся и замолчал.

Кожевенники откровенно улыбались. Они как будто навсегда потеряли уважение к незадачливому учителю.

— Ты, Вася, — сказал пожилой рабочий Пивоваров, — лучше нам книжку почитай. Ты по книжке. Складнее выйдет.

— И язык меньше устанет, — поддакнул насмешливо другой.

— Гляди, ровно сорок верст отшагал — пот-то с тебя льет, хоть рубаху выжимай, — сочувственно добавил третий кожевенник, обнимая Васю за спину, — и лицо раскраснелось, ровно девка любимого парня повстречала, где не надо...

Пришла Дора Брукман и выручила.

— Мы тут хорошо поговорили, — не удержался от шутки Пивоваров, — всё бы слушали да глядели на Васю... Мы на него, а он того пуще на нас.

Мещерин уже успел шепнуть Доре:

— Я провалился...

Дора Брукман, слегка картавя, сразу зажигаясь, знакомо и уверенно и быстро овладела вниманием кожевенников.

Сердце у Мещерина неприятно ныло, но он заслушался Дору и отвлекся от своей неудачи.

Но если трудно стать агитатором и пропагандистом, это может не всякий, — могут те, кто не боится смотреть в глаза слушателям и никогда ни от чего не смущается, — то неизвестно еще, кто больше приносит пользы — организатор или ораторы?

Года через два работы Мещерин недосчитывался многих из кружковцев гимназистов и гимназисток.

Правда, появились новые.

На загородных массовках неожиданно заговорили приказчики, портные, мыловары, кожевенники. Вася с легкой завистью к вчерашним безмолвным кружковцам и со страхом за них, ожидая провала от выступлений, следил, как они один за другим поднимались на ораторское место и подолгу,

нескладно размахивая руками, однако горячо и сильно ораторствовали.

Васе казалось, что он больше знал, больше думал, но он никак не мог найти таких ловких, кстати и убедительных слов, какие, словно из богатого лукошка, полными горстями сыпали новые агитаторы.

Мещерин не расставался с заветным желанием выступать. И никак не решался. Толпа смотрела во все глаза и связывала.

На бумажную фабрику „Сокол“ под Вологдой протянулась тоненькая, неверная ниточка организации. Васю послали завязать ниточку крепче. Вдвоем с товарищем, портным, Мещерин приехал туда. Вася считался „главным“.

Недалеко от фабрики, в лощинке, в обеденное время, когда бумажники шли в соседний поселок, где они жили, решено было их встретить и устроить летучий митинг.

Пока никого не было, Мещерин свободно и независимо ходил по лужку. Но вот начал накапливаться народ.

— Пора! Начинай! — прошептал портной.

Мещерин быстро-быстро пошел, словно не мог остановиться, скоро запутался, понял, что он произносил пустые и малопонятные слова, и окончательно смешался.

Портной оттолкнул Васю. И портного стали слушать и рукоплескать ему.

Мещерин не во-время и некстати принялся ожесточенно разбрасывать прокламации.

На вечернем маленьком собрании в поселке, перед пятьюшестью человеками, на квартире рабочего, с которым связалась организация, Вася выправился, вел себя как „главный“, к нему даже прислушивался сам оратор-портной.

Это немного успокоило от боли за косноязычие „перед массами“.

Мещерину казалось, что он жил такой же таинственной жизнью, как и все настоящие революционеры. Вася был поглощен своей работой. Все его поступки непосредственно

связывались с нею. Бывал ли Мещерин в театре, в цирке, на улице, на ярмарке, на гуляньях в летних садах, на катке,— везде, на каждом шагу он с удовлетворением чувствовал себя революционером.

Мещерин мнил себя бесстрашным. Он будто бы был готов на любое дело, которое ему поручит организация.

В канун одного из летних праздников, после всеночной в соборе, по городу разбрелись шайки черносотенцев. Всё больше расходясь, они били казавшихся им подозрительными отдельных пешеходов в шляпах и кепках, сожгли народный дом, где часто бывали всякие открытые собрания, лекции и концерты, разгромили несколько еврейских лавочек и растащили их содержимое...

Кобылка взъерошилась. Возникла рабочая дружина с охотничьими ружьями, с вытащенными из подполья браунингами и редкими маузерами. Мещерин оказался среди дружинников.

— Разогнать эту сволочь! — закричали на углах и перекрестках Кобылки. — Дать отпор, покуда они не разыгрались во-всю! Покуда полиция только присматривается и не помогает! Ждут ночи!..

Мещерин испытывал странное возбуждение. Никогда раньше он не переживал ничего подобного. Было жутко и в то же время увлекательно. Вася невольно говорил с дрожью в голосе, задыхался, беспокойно суетился. С некоторой неловкостью он наблюдал за своими дрожавшими руками.

На квартире у Николая Павловича собрались Медяшкин, Дора Брукман, Егор и Сидор. Петя Соломкин и Мещерин, по просьбе Житницына, срочно собрали их.

Мещерин неприязненно думал о себе как о трусе, который, должно быть, храбрился, пока не было опасности, но едва она наступила — он сделался сам не свой. Все эти мысли пришли ему при виде Николая Павловича и Егора и Медяшкина.

Состояние товарищей ничем не отличалось от обычного. Они вели себя совершенно спокойно, как будто в городе

не было черносотенцев и те никому не угрожали. Васе показалось, что он заметил только небольшое волнение у Сидора и у Доры Брукман. И это точно облегчило и оправдало его собственные переживания.

Николай Павлович просто и коротенько сделал ряд предложений по борьбе с погромщиками, быстро и находчиво набросал небольшую прокламацию, как ни в чем не бывало шутил и смеялся при случае и вообще ничем не нарушил привычного образа жизни.

Когда Петя Соломкин жадно схватил листовку, чтобы сейчас же умчаться печатать ее на гектографе, Николай Павлович предупредительно остановил его.

— Не спеши, — сказал Житницын, — а то размажешь. Чернила еще не засохли. Успеем, Петя.

Анна Яковлевна опоздала на собрание.

— Мы, Аннушка, все без тебя обстряпали, — встретил ее Николай Павлович. — Я думаю, ты не будешь возражать против отпора „Союзу русского народа“ всеми нашими маленькими средствами — и моральными и физическими? Ребята на Кобылке связались с нами раньше, чем закипело у них в сердце. Движение вполне организованно. Пускай черная сотня встретит сопротивление рабочих. Это ее малость одернет и в настоящем и предупредит на будущее время.

Мещерин с завистью и с удивлением любовался Николаем Павловичем. Вася пристально всматривался в него и все проверял, не скрывается ли Житницын, не старается ли он под внешним спокойствием утаить подлинные свои чувства...

Но Мещерину пришлось признать, что Николай Павлович был решительно неуловим, ни в каком притворстве его нельзя было уличить.

— Вот и хорошо, — ответила Анна Яковлевна. — Я бы, полагаю, не заспорила, но все же малость затянула заседание.

— Опаздывай чаще, — вставил шутливо Медяшкин, — мы без тебя будем управляться скорее.

— Слушайте! — вскрикнул неожиданно Сидор, взглянув на часы. — А времени-то сколько, ай-яй!.. Мы же опоздали к обеду. Наша хозяюшка и пережарит и последними словами нас выругает... Пора, товарищи!

Мещерин знал, что ссыльные столовались в одной квартире на Желвунцах. Он бывал там. Некая хозяйка-повариха Наталья Ивановна, промышлявшая домашними обедами, красная, вся в каком-то масляном лоске от полноты, с почти заплывшими от жира глазками, любила порядок, гордилась своим искусством и требовала совершенно безупречной аккуратности от нахлебников.

— Ох, что мы наделали! — засмеялся Николай Павлович.— Наталья Ивановна нас съест... вместе с революцией. У поварихи подгорает, а мы тут заседаем!

Ссыльные заторопились. Вася невольно и молчаливо осудил эти маленькие заботы о каком-то заурядном обеде. Должно быть, по выражению лица Мещерина Николай Павлович понял это.

— Что, брат, Вася, — поддразнил Житницын, — у тебя в голове, наверное, одни возвышенные мысли, а тут о каше говорят... Ничего! И то и это нужно. Не мешает и тебе заправиться. Ты когда обедаешь? — вдруг с теплой внимательностью и совершенно серьезно спросил Николай Павлович.

— Всяко, — застеснялся Мещерин, которому вопрос представился неуместным и почти чудовищным своей ничтожностью.

— Ну, это совсем плохо, — громко протянул Николай Павлович. — Аннушка, пробери нашего организатора железнодорожного района и наставь его уму-разуму, чтобы он всегда обедал в определенное время, а то он раньше срока испортит себе желудок.

Анна Яковлевна, уже на ходу, улыбаясь, ласково отшутилась.

— Ты главное и нужное сказал, — сделала она притворно-внимательные и словно озабоченные глаза. — Мещерин, пом-

ни — хороший желудок далеко не пустяки, и он весьма и весьма необходим даже революционеру...

Вася не до конца понял своих руководителей. В сознании его осталось непримиримое чувство, не позволявшее ему объединить в целое и возвышенное и низменное, а особенно почти уравнять их между собой.

Мещерин сомневался и старался побороть пренебрежение к ссыльным, вдруг заслонившее перед ним, как непроницаемой стеной, все другие переживания.

Кобылка встретилась с черной сотней на бульварах. Вдруг Вася пережил самую неприкрытую трусость. Редкие фонари вдоль бульваров плохо светили. Две черные кучи людей сходились медленно... Мещерин внезапно очутился позади всех. Сердце дрожало, как лист на рывучем ветру. Точно Васю надо было подталкивать вперед, а то ноги упирались сами. Мещерин на секунду подумал: а не спрятаться ли вот за эту толстую и непроницаемую березу? За ней не достанет пуля. За ней можно подождать — и выскочить после, когда всё решится и кончится.

— Ну-ко, товарищи, прибавим шагу! — сказал кто-то впереди. — Иди груднее! Пальнем разок! И непременно гнать их, негодяев, по бульвару!

Между Кобылкой и Васей образовался промежуток. Мещерина мгновенно охватило возмущение на себя за все колебания, и неоправдываемо представилось, что поведение его было низко и позорно.

Как будто кто-то ударил Васю по спине. Мещерин заторопился, влез в самую гущу Кобылки, стрелял в темноту, слышал визг пуль противника, гнал его вместе с товарищами...

Была победа... Вася пил ее сладость, задыхаясь от восторженности, не мог наговориться, фантазировал, преувеличивал...

В возбуждении и бессоннице он мерял нарочно крупными шагами свою мезонинную комнатушку всю ночь. Ему хотелось как можно скорее дождаться утра, встретить Клавдю, Сте-

шу Грибкову, даже Верхнераменского и рассказать им о горячей встрече с черносотенцами.

На Васю наплывали какие-то волны повышенно-радостных чувств. Он записал это в своем дневнике. Он попытался изобразить свои переживания в стихах. Он начал рассказ и... застрял на первых строчках.

— Ух, как страшно! — вздохнула и поежилась Клавдя. — Я бы убежала!

Мещерин притворно нахмурился и сказал:

— Бойцы должны быть бесстрашны...

— И ты ничего, совершенно ничего не боялся? — любопытствовала, не доверяя, Клавдя. — Так-таки без всякого чувства страха и бросился на черносотенцев?

Вася отвел свои глаза и, подумав, ответил важно:

— Мне даже странны такие вопросы... Я просто их не понимаю...

Вася снисходительно улыбнулся, повел плечами и решился взглянуть на покоренное лицо Клавди. Но девушка звонко и оскорбительно засмеялась.

— Так я тебе и поверю! — бросила она, прижимаясь крепко к его руке. — Сознайся, что соврал!

— Герой! — пренебрежительно поморщился Верхнераменский.

— Надо проверить, — совсем обидно вставила Стеша Грибкова, — был ли на самом деле Васька на бульваре.

— Эх-х! — покачал головой Мещерин. — Революционеры называетесь! В случае вооруженного восстания на вас нельзя надеяться! Убежите постыдно и трусливо!

В свою очередь обиделся Верхнераменский, заметивший сочувствие Васе со стороны задумавшейся Клавди.

— Мы это еще посмотрим! Кто хвастается, а кто... в себе держит! Мужество... настоящее... в некоторых людях живет... без огласки на всю улицу.

Эта фраза больно уколола Мещерина. Точно бы Верхнераменский произнес ее с особо скрытым в ней смыслом, уга-

дывая, о чем думал Вася накануне, когда поздним вечером возвращался из квартиры Николая Павловича.

Житницын лежал на кровати. Голова у него была забинтована, правая рука на перевязи, зловещей чернотой расплылись синяки под глазами.

— Ах, мерзавцы, как меня разделали! — с непонятным добродушием и досадой на свою вынужденную беспомощность жаловался Николай Павлович. — Все по глазам норовили бить... и закрыли бы мне, кажется, глаза... да, спасибо, какие-то проходили доброжелатели и отняли. Я так и не разглядел, кто они были. Мне пришлось ретироваться во двор, едва я освободился. Кровь потекла из зубов, из носу, глазами ничего не вижу... Выбыл из строя. Черносотенцев погнали, а я уж оказался не в состоянии помочь моим заступникам крепче проучить бандитов. Медяшкина избили гораздо больше. И Сидора. И Егора. Пришлось отправить в больницу. Жалко ребят! Словом, черносотенцы потешились над каждым из нас в отдельности. Подстерегли у квартиры и Дору Брукман и Анну Яковлевну. Дорка — молодец! Она не растерялась. Успела выстрелить и... разогнала шайку. На Аннушке растрепали все платье, оторвали рукав у пальто... Аннушка вбежала в калитку и успела захлопнуть ее на щеколду. Но все же в спину Аннушке так сильно запустили камнем, что она тоже лежит дома с компрессами. Впрочем, — задумался Житницын, — она не одна. Дорка — умница из умниц. Ей как еврейке следовало опасаться худшего. Девушка поняла. Она на ночь не осталась у себя в квартире, а перебралась к Аннушке. Там теперь пока и живет... Действительно, в ту же ночь черносотенцы ворвались к Брукман на квартиру, выхлестали все стекла в рамах, разгромили и растащили Доркину комнату. Вот негодяи! Я-то в конце концов пустяками отделался.

Покуда Мещерин не догадался помочь, Николай Павлович трудно поворотился, неловко задел больной рукой за железную спинку кровати и простонал.

— У, слабня! — улыбнулся Житницын. — Благородная девица! Все вам больно да неладно... А могло быть и почище! Ты, Вася, понимаешь, откуда черносотенцы адреса квартир политических ссыльных получили? Из жандармского управления или из полиции. Сначала били у квартир, дорогу узнавали, а теперь, пожалуй, заберутся и до самой кровати.

— Так как же быть? — в ужасе спросил Мещерин. — Вам надо как можно скорее переехать на другую улицу.

Николай Павлович, чтобы не причинить себе боли от смеха, с трудом сдержался, чуть ухмыльнулся, помолчал и снисходительно ответил:

— Милый мой, а что толку? Полиция и жандармы, к сожалению, на всех улицах.

— Так вы и будете дожидаться? — в недоумении спросил Мещерин.

— Так и буду, — совсем развеселился Житницын. — То есть специально дожидаться не буду, но другого выхода нет.

— Надо бежать! — обрадовался своей догадливости Вася.

— Бежать? — поднял высоко брови Николай Павлович. — Бежать из-за одного подозрения, что тебя могут убить, а могут и не убить?.. Ну, это дудки! Ты меня, Васенька, подталкиваешь к смешному положению. Нет, голубчик, так не выйдет. Конечно, легко и приятно, когда победы, когда все гладко. А кто же будет работать, когда вокруг поражения, трудно, даже опасно, даже кто-то погибнет? Дело у нас с тобой более сложное и... замысловатое. Надо быть на месте до конца!

Оставшись один, Мещерин взвесил свое поведение дружинника, утратил минутное очарование от кажущейся победы над собой и со стыдом почувствовал, что Житницын преувеличил, приравняв Васю к себе и приписав ему качества, которыми тот не обладал...

Фразу Верхнераменского Мещерин понял как злостный и меткий намек, ничего на нее не ответил, но постарался замять дальнейший разговор о столкновении с черносотенцами.

Вася несколько недель не расставался с браунингом, таская неудобную тяжесть в кармане. Он напрашивался в лишние, без очереди, патрули дружинников, в лишнюю опасную работу, только бы никто, а главное — он сам, не мог заподозрить в Мещерине малодушия.

Мещерин с юношеской готовностью и самопожертвованием служил организации.

На Кобылке охотничьи ружья, дробовики, финские ножи... Но там же и винтовки, и револьверы, и бомбы. Организация большевиков накапливала вооружение.

Один рабочий-токарь доставил из Сормова шесть двадцатифунтовых бомб. Не завозя их на свою квартиру, бывшую под подозрением, он поместил бомбы у своего товарища, слесаря, на другой улице. Чтобы бомбы не колотились, они были чуть переложены паклей. Бомбы лежали в двух открытых высоких коробах. Помещены они были в сенях, в темном чуланчике, заваленном углями, корытами, кадками с огурцами и капустой, всякой хозяйской рухлядью. В чуланчик ходили жены рабочих и косились на короба. Для чего-то в бомбы были введены раньше времени запальники. В городе происходили повальные обыски.

Мещерину было поручено вынуть запальники и бомбы уничтожить, чтобы они напрасно при обысках не достались жандармерии и не подвели всю рабочую квартиру.

Ночью, со свечкой, Вася и слесарь вошли в чуланчик. Запальники вынимали попеременно. Один высоко держал свечу, другой вынимал. Потом передавал свечу товарищу — и роли менялись.

— Стой, — шептал слесарь, — дай, лучше я. У тебя дрожит рука.

— Ничего, — хрипел Мещерин, — у тебя тоже.

— Не торопись, а то богу душу отдадим, и полквартала снесет, как под гребенку...

— Я не задену...

Последний запальник вытащил Мещерин. Он едва его не

разбил. У самого отверстия руку качнуло, послышался легкий звон стекла... Слесарь, охнув, подставил ладони.

Когда Мещерин и слесарь вернулись из чулана в комнату, сели, закурили, они с радостным и горделивым чувством от выполненного поручения уставились друг на друга.

— Даже пар от меня идет, — сказал слесарь и начал вытирать влажный лоб, — ворот рубахи прилип к телу. Зимой — лето...

Мещерин засмеялся, прислушался к своему голосу и не узнал его: он был странно не похож.

В середине ночи, в три приема, Мещерин и слесарь, завернув обезвреженные бомбы в газетную бумагу, сторонясь постовых городовых, пережидая за углами проходящую группу жандармов, — куда-то шли с обыском, — пробирались к реке Вологде и спускали опасную кладь в полузамерзшую прорубь.

Дня через два жандармы добрались с обыском и до квартиры слесаря. Но там уже все было благополучно.

— Виселица! — сказала Дора Брукман, подавая пачку прокламаций, назначенных к распространению среди солдат Моршанского полка. — Помни, Вася, об этом.

Дора вела солдатский кружок, и недавно его разгромили. Она едва успела скрыться от облавы.

Было жутковато... Но надо же кому-нибудь доставить листки солдатам?

Казармы на берегу реки. На лодке поехали с Клавдей: катались. Девушка гребла. Вон у казарменных ворот часовые... Часовые вокруг забора и складов. Лодка видна на средине реки. Видимость проверена раньше, с берега. И лодка плывет в недосягаемой тени под кручей.

Вася выскакивал и раскладывал листки на бревнах, под лопухами, под камнями, чтобы не унесло ветром. Против самых казарм — купальни и лодочная пристань. Тут все перед глазами часовых. Но рано утром сюда-то и прихлынет после „зори“ солдатский поток. Моршанцы поплывут, будут нырять, будут сидеть на бревнах, на камнях...

— Веди лодку у самых купален, — шептал, дрожа от нетерпения, Вася.

Белые пятнышки всюду. Обратно переменились местами: нужны сильные руки, чтобы гнать лодку.

На знакомой скамейке (Подзорная улица тиха и таинственна) подолгу сидели перед расставанием. Теперь Клавдя клала голову на грудь к Мещерину.

— Ты меня покачай, как маленькую, — счастливо смеясь, бормотала девушка.

Среди поцелуев влюбленные тихонько обсуждали, что будет через несколько часов у казарм, и решали снова проехаться на лодке, уже днем.

Лодка, залитая солнцем, шла ближе к тому берегу.

— Они не знают и не представляют, — сиял Мещерин, — что это мы сделали!

Часовых стало больше: новые посты у купален, один солдат ходит по пристани, другой стоит в самом лопушнике.

— Давай проедемся возле них! — предложила, озорничая, Клавдя. — Интересно — пропустят или не пропустят?

Мещерин серьезен и осторожен. Он недовольно видит, как она сразу хватается за кормовое весло и поворачивает лодку наперерез струи.

— Так нельзя, Клавдя, — шепнул Вася, — мы должны сначала далеко выехать за город, а потом, как будто ни в чем не бывало, как будто мы ничего не знаем, проехаться под самым носом солдат.

Вася нажал на левое весло и принялся выпрямлять лодку.

— Это очень далеко! — капризничала Клавдя, не уступая и действуя кормовиком. — Ха-ха! — залилась девушка. — Ты на меня смотришь строго, как старый муж.

Лодка вертелась, описывая круги, и ее сносило к купальням.

— Эй, вы, ребята! — закричал и взмахнул винтовкой караульный солдат. — Чего балуетесь? Утонуть охота? Нельзя сюда!

— Ага, подействовало! — торжествовал Вася. — Надо сказать Доре Брукман. Дело вышло! Хо-ро-шо!

Мещерин иногда слышал звонок у своей двери. Он сам провел отдельный звонок на проволоке в мезонин. Вася высовывался в окно и видел Дору, загнувшую кверху голову. Мещерин мчался открывать.

Мать строжáла и возмущалась:

— Не доведут тебя до добра эти жиды длинноносые! Чего ей, этой, надобно? Какие у тебя с ней шуры-муры? Кто она такая?

Мещерин вспыхнул от негодования. Он посмотрел на толстую и добрую свою мать с презрением, содрогнулся от внутренней боли и внушительно сказал:

— Мне за тебя стыдно!

Он гордо и прямо поднимался к себе по внутренней лесенке. Мать раздраженно дразнила вслед:

— Пускай она когда снова придет, я так ей и скажу! Знаем их, христопродавцев! Они все крамольники! Они спят и видят погубить православных и... Россию забрать в свой карман! Вон в городе-то и немного их, а что ни жид, то подлец! Одни Кисины да Грубины хорошие люди!

Мещерин знал, что мать дружила с этими двумя семьями, ходила к ним в гости на пасху и почему-то не пропускала ни одних еврейских похорон.

— Уж я плакала, плакала! — рассказывала она после одних таких похорон. — Как они все враз завыли, так меня будто прострелило насквозь! Горе и у них!

— Эксплоататоры твои Грубины и Кисины! — крикнул Вася. — Душат своих же евреев-рабочих, переплетчиков и скобенников!

Однажды Дора Брукман сказала:

— У тебя мать антисемитка.

Мещерину хотелось оправдать свою мать. Вася заметил в глазах Доры неприятные огоньки. Она не умела их скрыть, хотя и сделала вид, что была совершенно равнодушна.

— Это понятно, — притворно зевнув, протянула Дора, — она же невежественная женщина. Она мне открыла двери. Я спросила тебя... Она ничего не ответила и захлопнула двери...

Вася беспокойно ерзал на месте.

— Ну, да это пустяки, Вася, — приветливо улыбнулась Дора. — Мы еще с тобой дождемся конца этой розни. Она идет из тысячелетий... У нас тоже есть невежественные фанатики евреи... Они не лучше относятся к русским... Ты ничего не говори своей матери.

Дора Брукман была хороша собой. И тем обиднее казался поступок мамы. Разлад с сыном затягивался на недели: Вася чуждался матери, пока боль не изживалась. Время лечи́ло ее.

Мещерин много думал о розни между евреями и русскими. Он копался в своей душе и находил, что там не все гладко. Предрассудки были живучи не у одной мамы. Вот Берта Фрумкина и около нее кружок сионистов и сионисток раздражали, были неприятны.

При встречах веяло чем-то чужим и враждебным с обеих сторон...

Революция поглощала Васю без остатка. Точно он прыгнул с кручи вниз головой и ушел глубоко на дно.

Но ряды заметно редели.

В один из осенних вологодских дней, когда зарядил серый настойчивый дождь, Мещерин с недоумением остановился возле дверей Николая Павловича. Внутри было необычно шумно, точно на веселой и пьяной вечеринке.

— Садись, садись! — закричал Николай Павлович Васе. — Пришел кстати. Вместе отпразднуем наш праздник.

На столе вокруг самовара было несколько тарелок с ветчиной, с колбасой, стояли две-три консервных банки и бутылки с красным и белым вином...

Вася увидел подвыпившую и раскрасневшуюся Дору. Отчаянно весела и шумлива была Анна Яковлевна. Медяшкин

беспрерывно смеялся. А Сидор даже играл на гитаре. Мещерин и не знал, что Сидор был гитаристом.

— Вина̀ ему не давать, — приказала Анна Яковлевна Николаю Павловичу, — а пусть только кормится! Ешь, Вася!

Оказалось, Анна Яковлевна кончила ссылку и праздновала завтрашний свой отъезд.

Вася никак не мог разобраться в своих чувствах, чем-то обиженных и задетых уезжавшей Анной Яковлевной. Почему-то ссыльные радовались отъезду. Разве в Вологде было недостаточно нужной работы?

— Встретимся, может, еще, Васенька! — нежно сказала Анна Яковлевна, лучась по-детски от предстоящей разлуки.

Мещерин с удивлением заметил, что Анна Яковлевна почти беспрерывно курила.

— Смотрите! — закричала она. — Вася не верит своим глазам: я — с папиросской!

Анна Яковлевна близко наклонилась к Мещерину и продолжала:

— Это потому, что все во мне ходуном ходит от волнения и, может быть, даже от счастья. Я теперь — свободный человек!.. Правда, — подумала и грустно усмехнулась она, — относительно свободный. Ну, да это все равно! Все же я могу в некоторой степени независимо хотя бы сесть в поезд и поехать, куда хочу. Ты, Вася, не представляешь, как тяжела ссылка, как хочется много-много работать, сделать гораздо больше, чем можно сделать в этой маленькой, дрянной Вологде...

— Условие, Аннушка, — крикнул Николай Павлович, — дольше, дольше водить за нос жандармерию и не попадаться!

— Постараюсь, — сияла Анна Яковлевна. — Приму все меры. Изучу топографию Москвы так, чтобы знать наизусть все проходные дворы, научусь быть невидимой, неуловимой...

— И даже похудей, — вставил Медяшкин, — чтобы в игольное ушко пролезать.

— А там и мы нагрянем,— серьезно сказал Сидор,— вместе с Житницыным и с Георгием... И заживем. Ох,— неприятно морщился он,— чертовски мне прискучило здесь! Ей-ей, мне иногда кажется, что я нарочно затягиваю работу, чтобы на завтрашний день осталось, а то совсем сдохнешь! Я только в ссылке понял, что̀ значит работать вполсилы...

— Эти подлецы-тюремщики,— неожиданно помрачнела Анна Яковлевна,— придумали иезуитское средство уничтожать революционную энергию. Безделье — самое убийственное орудие. Ссылка выматывает человека, ослабляет его... Немало наших товарищей не выдержало и надломилось. А ведь были хорошие товарищи...

В последние минуты перед отходом поезда Анна Яковлевна, с легоньким чемоданчиком, как и накануне — с папироской в зубах, отвела Васю в сторонку от провожавшей толпы ссыльных и знакомых и на прощанье пожелала ему:

— Если я тебя через несколько лет где-нибудь встречу студентом, мне будет приятно, и я буду страшно рада. Надеюсь, ты и тогда не сделаешься белоподкладочником? Не забудешь нашей общей работы?

Мещерин застеснялся и возбужденно ответил:

— Это я обещаю!

Дора, Сидор, Медяшкин — те мечтали о конце своей вологодской ссылки без всякого укрывательства.

— Харьков,— говорила Дора.— Наш большой и замечательный Харьков!

— Эге-ге! А Москва какова? — облизывался Медяшкин.— Да я бы ее всю обошел. Товарищей-то сколько там! Родная Пресня! Кудринка! Земляной вал! Гужоны! Прохоровцы!.. Замоскворечье! Серпуховская площадь!

А вскоре в Вологде из старых товарищей остались только Житницын и Дора Брукман. Сидора и Медяшкина выслали дальше — в Сольвычегодск. Правда, прибавились новые ссыльные...

Мещерин пристально приглядывался: эти моложе, почти сплошь студенты, говорливы, и некоторые непривычно нарядны и непривычно не похожи на прежних, — те лучше, теплее и ближе.

Мама привыкла к частым обыскам. Ей даже нравилось, что ходили теперь раньше, еще до возвращения папы со службы.

— Не держи у себя ничего, дрянь, — хмурилась и сердилась мать, — тогда не попадешься. Безо всего не возьмут. Вор не пойманный — не вор.

А кружки начали убывать.

На зимних студенческих вечеринках в залах Благородного собрания или Страхового общества до упаду танцовали. В смежных комнатах студенты и гости пили, поглощая водку и пиво, опустошали сытные буфеты, шумели, орали, пели... Еще недавно сюда часто входила настороженная полиция и прекращала летучие митинги, останавливала пение „Марсельезы". Отсюда брали непокладистых людей и уводили. Здесь почти всегда умело и ловко студенты устраивали сборы „на революционные цели". Сборщиков искали сами жертвователи...

Мещерин с удивлением заметил, что на вечеринках точно подменили присутствующих.

Пожалуй, очень немногие щеголяли такими черными рубашками с бантом, как у него. Подчеркнутая простота одежд исчезала. Студенты наряжались в мундиры.

Везде фраки, сюртуки. Девушки и женщины — в белых летучих платьях.

На одной из таких вечеринок Клавдя появилась в длинном сером платье с пелеринкой и в новеньких туфлях. Высокие каблуки приподняли ее словно на голову. Рядом с ней совершенным франтом шагал Верхнераменский. А Клавдина мама — вся шелковая, надушенная, завитая, в белом пушистом боа, свисающем почти до полу...

Вася почувствовал себя замухрышкой.

— А-а, — сказала Клавдина мама с полнейшим ласковым простодушием, — знаменитый потрясатель основ! Долой, долой!.. Ха-ха! Здравствуйте, Вася! Верхнераменский! — кокетливо распорядилась неунывающая женщина. — Возьмите меня под-руку, а Вася пойдет с Клавдией. А то мы вчетвером весь коридор заняли.

Мещерину показалось, что Клавдя с неудовольствием сравнила бедный и скромный его вид с другими, постеснялась ходить с таким бедняком по коридору, а потом вдруг покраснела, взволновалась и потащила Васю отыскивать где-нибудь незанятый диван.

— Какие все расфуфыренные! — пробурчал с неприязнью Мещерин.

Клавдя заспорила.

— А что же в этом дурного? Так приятно видеть хорошие костюмы и платья! Верхнераменский говорит — опрощаться любят только одни дураки! Я с ним согласна!

Вся эта вечеринка прошла как-то для Васи неудачно. Клавдя кололась, точно сплошными иголками было утыкано ее красивое серое платье.

Правда, она заставила Верхнераменского провожать домой не ее, а маму; правда, на Подзорной улице луна мирно и светло залила скамейку, нежно синел вокруг пушистый снежок, и девушка позволяла целовать свои пересохшие от мороза губы, но влюбленные несколько раз ссорились.

Расставание было совсем странно. Клавдя неожиданно закончила разговор:

— Никакой революции нет... И не было... Пошумели... — девушка передразнила чей-то голос.

— Да-а? — отшатнулся Мещерин, будто девушка засмеялась над ним с особо обидным смыслом.

— Лет через сто она, может быть, и будет, — твердо сказала Клавдя. — Не раньше. Так думают и Верхнераменский, и Перышкин, и даже Стеша Грибкова. Мы тут долго спорили и все сошлись на этом.

Вася злобно и враждебно бросил:

— Это вас всех Верхнераменский в свою веру перекрестил! О нем еще Анна Яковлевна перед отъездом сказала... Верхнераменский не внушает никакого доверия, он непременно будет врагом революции.

Клавдя безнадежно махнула рукой:

— Что твоя Анна Яковлевна может сказать! Она теперь сама рада-радешенька, что уехала отсюда. Наверное, очень жалеет, что напрасно потеряла несколько лет в ссылке. Занималась бы в больнице! Врач. Это нужнее, чем спорить с меньшевиками и делить шкуру неубитого медведя. Ха-ха! Нет, она больше в ссылку не поедет!

Мещерин, все больше волнуясь, докончил свою фразу:

— Неверный вертун этот Верхнераменский! Мнение Анны Яковлевны. И не одной ее, а всех...

Настроения Клавди менялись быстро. Поступки ее всегда противоречили друг другу. Вася никак не мог примениться к их колебаниям.

Вот она еще мгновение назад была и холодна и равнодушна к Мещерину, бормотала неприятные слова, словно желала если не совсем расстаться с ним, то подчеркнуть их расхождение.

А тут так же внезапно и даже стремительно отмякла, энергично сунула в рукав шубенки Васи руку в перчатке и ласково попросила:

— Погрей, Вася. У меня совсем застыли пальцы.

И опят рывок — и опять новая выдумка:

— Нет, ты лучше подыши на них!

Мещерин крепко сжал руку и подышал на нее.

— Не доходит...

Тогда Вася догадался стянуть перчатку и подышать на голую руку.

— Теперь лучше...

Клавдя стащила и другую перчатку.

— Бери обе...

Мещерин, довольно посмеиваясь, добросовестно согревал застывшие руки.

— Может быть, ты меня за пазуху посадишь? — начала опять дурачиться девушка. — Ну, я тебя вознагражу за эту услугу. Пойдем, я тебя провожу до угла. Так и будем ходить взад и вперед: сначала я тебя отвожу, потом ты меня опять...

У Мещерина отлегло: словно и не было неприятного разговора.

— Какая красота вокруг! — вздохнула Клавдя. — И небо, и луна, и земля! Люди спят. А завтра проснутся... И все хорошо. Взойдет солнце. Ночью все серебряное, а днем золотое! Вот это жизнь!.. Чем это можно заменить? А ты...

Клавдя не докончила и убежала.

— Правда, Вася, — подтрунивала дома мать, — скоро, говорят, ни одного забастовщика не останется... Всех переловили. Папа вчера смеялся над тобой: „Что-то, мол, давно не видался я с Васей-Красным. Зашел бы. Я его телячьими ножками угощу. Ножки — первый сорт. В сухарях и с маслом“.

Люди убывали... Клавдя появлялась реже и реже в мезонине. Она даже не оправдывалась.

— О, как долго я у тебя не была: целый месяц! — восклицала она.

А однажды Мещерин почувствовал себя так, точно не он был хозяином комнаты, а Клавдя и Верхнераменский. Соперник еще никогда не бывал у Васи.

— Мы зашли к тебе за папироской, — дурачилась Клавдя, — проходили мимо. Шлялись за городом. Видим — огонь... А этот курильщик хочет папирос. Я у него десяток выбросила в Золотуху с моста. Дай ему! Только одну!..

Они почти тотчас же ушли, не пригласив Мещерина. Вася, стиснув зубы, слышал, как Клавдя задорно над чем-то смеялась, каблучки ее стучали под окном на гулкой ночной панели.

Работа в организации замирала. Начал колебаться и Мещерин. Но как будто это были случайные настроения. Они

приходили и раньше. Вася успешно отгонял их. С новой силой и рвением, точно заглаживая измену, — измена даже в одних мыслях, — он делал порученное ему дело. Мещерин с гордостью сознавал свою непреклонность, когда вокруг все было нерешительно и неверно. Из кружка телеграфистов никого не осталось, кроме него и Пети Соломкина.

Но вскоре Мещерину пришлось пережить одну из самых тяжелых минут в жизни. Николай Павлович, как-то немного смущаясь, неожиданно сказал:

— Ты, Вася, передай часть кружков Соломкину.

Мещерин остолбенел.

— Почему?

— Ты, я вижу, замучился, — глядя в сторону, настаивал Житницын и в то же время старался объяснить как можно правдоподобнее свое внезапное решение. — Надо занять Соломкина, он у нас стал свободнее. И это такой парнишка бедовый! У него все горит под руками...

Вася удивленно смотрел на Житницына.

— Ну, ты уж сразу и подумал, — примирительно ухмыльнулся Николай Павлович, — что Соломкин лучше тебя и я потому хочу заменить одного организатора другим. Конечно, это не так. Но Пете не мешает заняться кружками. Что он у нас сидит на одной технике?.. Впрочем, я, пожалуй, ошибся, — подумав, словно обрадованный найденным выходом, заключил он, — не надо передавать, а работайте вместе. Или так распределите как-нибудь... Словом, ваше дело. А Петю надо, надо пристегнуть. Ты, ясно, коренник, а Петя под твоим... началом.

Мещерин понял, что в отношениях его с Николаем Павловичем и Петей Соломкиным не осталось прежней простоты и ясности. Наоборот, Житницын и Соломкин теперь встречались все чаще и чаще. Вася с завистью заметил, как Житницын однажды выходил из калитки дома Соломкиных: значит, Николай Павлович бывал у Пети, в то время как он никогда не заглядывал к Мещерину.

Соломкин окончательно выяснил недоумение Васи. Старые товарищи расходились. Петя жил особой, замкнутой жизнью и точно прятался от Мещерина.

— Ты, — отрубил Соломкин, — глядишь в сторону. Ты гладкое место любишь. По шоссе всякий ходит. У проселка с ухабами мужики шлею на лошади подправляют и подпругу подтягивают. Ты закрутился с Клавдией, с другими девчонками, с гимназистами... Ты, Васька, под их влиянием. Ты с ними. Тебе это самому хуже видно, чем, например, мне. Не отпирайся!

— А ты? — вспылил оскорбленный Мещерин.

— Я? — спокойно ответил Соломкин. — Я сам по себе. Я всякую гниль ненавижу. Я если пошел, то иду, покуда ноги у меня переставляются.

Товарищи не раз сталкивались и спорили.

— Ты басу Николая Павловича подражаешь! — закричал однажды, стараясь задеть Петю, Мещерин.

Соломкин снисходительно усмехнулся.

— А хоть бы и так. Бас ничего, стоющий... А ты совсем сбился. Подумай, что ты говоришь! У тебя в голосе неприязнь к Житницыну. Для Николая Павловича организация не только личное дело, как для тебя, со всякими привязанностями и симпатиями. Житницын обязан подбирать работников. Ты уж, Вася, шагаешь мимо...

Ссорились и работали.

— По-твоему, я должен уйти, — резко спросил Мещерин после одной ссоры, — пока меня не выгнали?

— Нет, зачем же, — холодно бросил Соломкин, — может быть, ты еще окрепнешь и... разберешься во всем. А тогда уж и решишь...

Мещерина раздражал уверенный и почти покровительственный, как ему казалось, тон Соломкина. Петя изменился совершенно незаметно для Васи, приобретя удивительное спокойствие, сосредоточенность, словно он теперь даже двигался по-иному, чем раньше.

Вася попрежнему колебался.

На Кобылке снова запили. И больше и отчаяннее. Там откуда-то взялся рабочий-ножевик и собрал вокруг себя большую артель таких же буйных ухарей, как он сам. Артель Пищалкина победно заходила по Кобылке. Ее боялись. Пищалкин командовал в мастерских, в домах, на улицах, в чайной. Он враждовал с целым миром. Он требовал подчинения себе. И тогда прошел слух:

— Провокатор!

Огромный черный костистый кузнец, с лапами, как железные кошки, улавливающие на глубинах речное дно, с вытаращенными, блистающими непонятным пьяным огнем глазищами, всегда насупленный, летом в опорках, зимой в чудовищных по размерам валенках, — Пищалкин был страшен.

— Мы анархисты! — орал он. — Задушим всех, как червей! Молча-ать всем сволочам! Убью! Я, Пищалкин, один знаю, что надо делать на Кобылке!

Мещерин старался не попадаться ему на глаза. Пищалкин сначала был в организации. Но быстро вызвал недоверие пьянством и буйством. От него спрятались.

— Провокатор!

Пищалкин мстил. Он упорно избивал и преследовал всех близких к организации рабочих. Он с ненавистью сорвал однажды с Васи шляпу, столкнувшись с ним недалеко от мастерских. Сорвал, растоптал и зловеще рассмеялся.

А потом он схватил Мещерина в рабочей чайной, вытащил его на улицу, крикнул своим ближайшим помощникам — и артелью, словно арестовав Васю, с песнями пошли грязной дорогой.

— Вася, я тебя люблю, я тебя знаю, — притворился Пищалкин и дико скрежетал зубами, — пойдем ко мне... в мой дворец... Я хочу тебе сказать одно слово...

Вся артель подозрительно ухмылялась.

В грязной, но обширной комнате Пищалкина стояла деревянная кровать, без матраца, с брошенным на нее, прямо

на доски, ситцевым замасленным красным одеялом; посередине логовища тесовый стол с пустыми винными бутылками, глиняная чашка с оглодками соленых огурцов.

— Ты сядь к свету, барин! — крикнул Пищалкин, и обмершего в испуге Васю он толкнул на стул. — Видишь? — заорал Пищалкин, бледнея, отчего он сделался страшнее, и вытаскивая из-за пазухи светлый, никелированный Смит-Вессон. — У меня эта дрянь, а у тебя браунинг! Х-ха-роший браунинг! Я тебя, захочу, могу и пристрелить! Верно, товарищи?

— Вали! — согласно сказал ближайший рабочий.

— Давай браунинг! — приказал Пищалкин, почему-то отворачиваясь от Мещерина. — Он у тебя только карман рвет, а мне пригодится. Я тебе взамен отдам своего смит-вестошку. Н-нет! Ничего не отдам! Я вас, болтушек и кумушек, должо̀н обезоруживать!

У Мещерина отобрали браунинг, принадлежавший организации. Пищалкин тяжело рухнул к столу, рванул ящик и достал бутылку. Выпили. Вася прикованно сидел, покуда на него с дикой злобой не воззрился Пищалкин.

— Я вам грудь, тонконогим, вырву! — зарычал в неистовстве Пищалкин. — Ш-шля-пы! Мусье-пусье! Ах, ох, товарищи, братики и сестрички!..

Вася решительно ничего не понимал. Пищалкин вскочил, замахнулся на Мещерина стулом и долго стоял с дрожащими губами.

Вдруг с прищурившимися узко и зловеще глазами он крикнул:

— Бить вас, мерзавцев!

Пищалкин швырнул стул, забрал освободившейся лапой в горсть пиджак на груди Мещерина, помотал из стороны в сторону и рванул. Он отхватил все пуговицы на пиджаке.

— Вон! — загремел и затопал ногами Пищалкин. — Чтобы я тебя больше не видал на Кобылке! Ха-ха! Небось, струсил!

Кто-то запустил в Мещерина соленым огурцом. Под довольный хохот и крики Вася кинулся наутек.

Пищалкин неистовствовал. Он вооружил всю свою артель отобранным у многих товарищей оружием. Пищалкин безнаказанно буйствовал и своевольничал.

Он нагнал ужас и смятение на Кобылку. Его подозрительно не трогала полиция, точно любуясь невиданным молодечеством и разбоем.

И Кобылка собралась сама с силами, раскачалась... Пищалкина убили несколько сговорившихся токарей. Кобылка освободилась...

Николай Павлович и Петя Соломкин словно не интересовались ни буйством Пищалкина, ни его уничтожением.

— Наконец-то убили! — сказал удовлетворенный Мещерин, прибежав к Николаю Павловичу с известием о смерти страшного кобылкинского бандита.

— Кого? — безразлично спросил Житницын.

— Пищалкина! — задыхался Вася.

— А-а, — протянул Николай Павлович. — Давно пора. Рано или поздно товарищи рабочие вынуждены были освободиться от этого насильника. Он особенно опасен. Происходил из своей собственной, рабочей среды. На него дуло кривило. Это не чужак. Того убрать легче... Хорошо, хорошо! И организация свободна. Теперь не будет об этом Пищалкине разговоров. А то на каждом собрании мешал. Вместо прямого дела постоянно отвлекались в споры о похождении этого... Бовы-королевича...

Николай Павлович долго смотрел на запыхавшегося и возбужденного Мещерина. Вася подхватил этот взгляд.

— Пищалкин... ладно, — пробурчал Житницын, — я твою радость разделяю. Негодяй препятствовал работе. А вот нехорошо, что и ты ерундишь.

Вася обиделся и нахмурился.

— Я не разбираюсь, — с раздражением бросил Мещерин, — как будто бы...

— Да, да, — перебил недовольно Житницын, — вот тебе и „как будто бы“! Ты ничем не отличаешься от других. Опыт произведен на тех, а ты только лишь повторение. Еще один лишний нытик...

Столкновение с Соломкиным было резче и грубее.

— Да какая в конце концов разница, — скучая, вымолвил Петя, — между Пищалкиным и теми, кто предает рабочий класс? И тот и другие — вредны. Один больше, другой меньше. Один бьет по голове дубиной, другой исподтишка пакостит...

Вот тогда Мещерин в ярости и негодовании сорвался.

— Что же, ты меня, — и пренебрежение послышалось в его словах, — опять-таки с чужого голоса готов сравнить с Пищалкиным?

— Я не сравниваю, — вяло сопротивлялся Соломкин. — К чему эти сравнения? Они излишни. Дело и без сравнений ясно. Я уподобляю одно явление другому, при всех, конечно, особенностях.

— Я рассчитывал на уважение хотя бы во имя нашей давнишней дружбы! — возмущенно горячился Мещерин.

Петя Соломкин устало и равнодушно посмотрел куда-то мимо глаз Мещерина.

— Дружбы? Странно.

— Ты находишь и нашу прежнюю дружбу странной? Ответь мне прямо.

Соломкин глубоко задумался, точно спрашивая в молчании сам у себя ответа.

— Нахожу, — наконец убежденно пробормотал он. — Во всяком случае... я ошибся в тебе. Я не ожидал такой... шалтай-балтай...

Соломкин сделал оскорбительное движение руками: оно должно было изображать всю неустойчивость Васи.

Мещерин с тоской и мукой все больше начал утрачивать веру в неизбежность революции. Колебался, сомневался, не спал ночей, ища выхода и упираясь в тупик.

Кто-то из таких молодых отчаявшихся резко сказал на собрании коллегии агитаторов:

— Масса в девятьсот пятом вышла из подполья, вышла на улицы и развернулась... Ее теперь снова нельзя загнать в подвалы! Кружки малы и тесны! Они потому и не выходят! Они пережили себя! А какие у нас есть другие способы?

— Есть, — злобно и презрительно оборвал маловера Петя Соломкин.

— Какие?

— Самые радикальные и необходимые.

— Ну, назови же! А то ты, как кликуша, что-то бормочешь неясное и... точно гипнотизируешь нас.

Петя безразлично пропустил открытую насмешку над ним.

— Надо очистить организацию, — серьезно отчеканил он, — от всех поддельных, на час, товарищей. Качество, а не количество. Очистить раньше, чем разбегутся сами. Помочь им. Нельзя тянуть волынку там, где все отчетливо, как сквозь вымытое стекло.

Мещерин не мог найти в себе веры, равной Петиной. Он чувствовал, что и Николай Павлович, и Дора Брукман, и Петя, и Егор, и, наверное, Медяшкин в Сольвычегодске, и другие такие же по разным местам огромной России умели оставаться одинаковыми и в грозу и после грозы. Они умели, он не умел.

— Мы всегда побеждаем! — как-то, выйдя из себя в споре с колеблющимися товарищами, крикнул Николай Павлович. — Пускай всем кажутся поражения поражениями, для нас они в конечном счете явятся победой!

Мещерин не мог обнять этой мысли.

— — — — — — — — — — — — — — —

На реке было много лодок с катающимися. Гармоньи. Гитары. Балалайки. Пели „Из-за острова на стрежень“, „Чайку“, „Ласточку“. А недавно еще — „Вихри враждебные веют над нами“, „Марсельезу“, „Замучен тяжелой неволей“.

Городовые дремали по углам. В соборных крестных ходах несли кресты и иконы двести окладистобородых хоругве-

носцев в серебряных ливреях. „Союз русского народа“ открывал свои погромные чайные.

Затишье. Мрак. Ни больших, ни малых дел. Вековая пыль на улицах, сор, грязь до трубиц... Гроза скатилась и умерла. И небо и земля скучны и бессловесны. Всё обычно и зарядно.

Мещерину казалось, что ничего не было. Отчаяние... Мещерин слонялся по городу в какой-то опустошенной обреченности. Зато окреп Федор Степанович и потребовал от сына заработков. Вася стал писцом.

Писец городского ломбарда...

— Суконная шуба на лисьем меху! — кричал оценщик. — Двадцать рублей! Золотой сюпир! Три рубля. Бобровый воротник! Ношеный! Пятнадцать рублей!

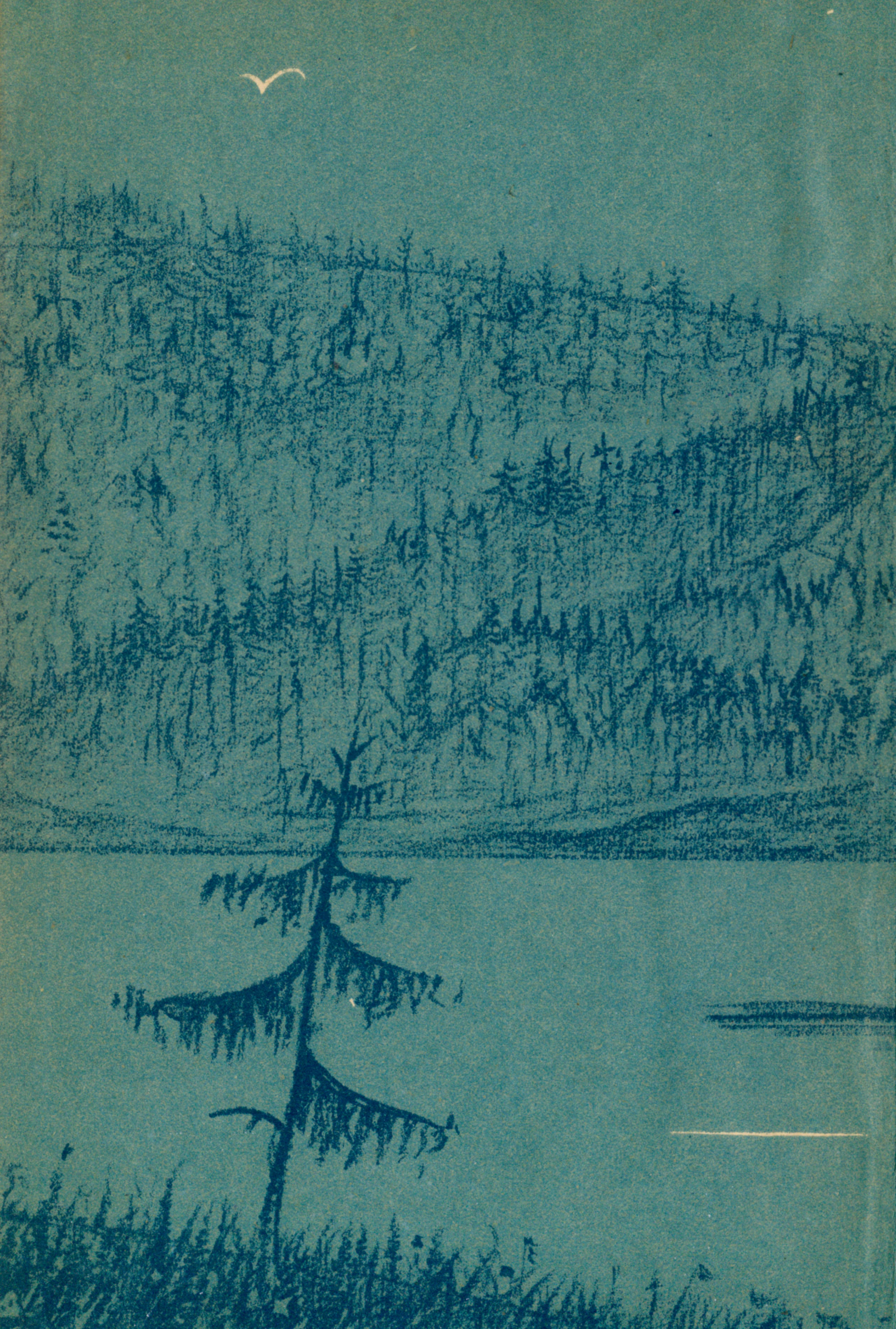
Мещерин обязан был успевать за хлопотливым оценщиком, заполняя бланки тоскливых накладных.

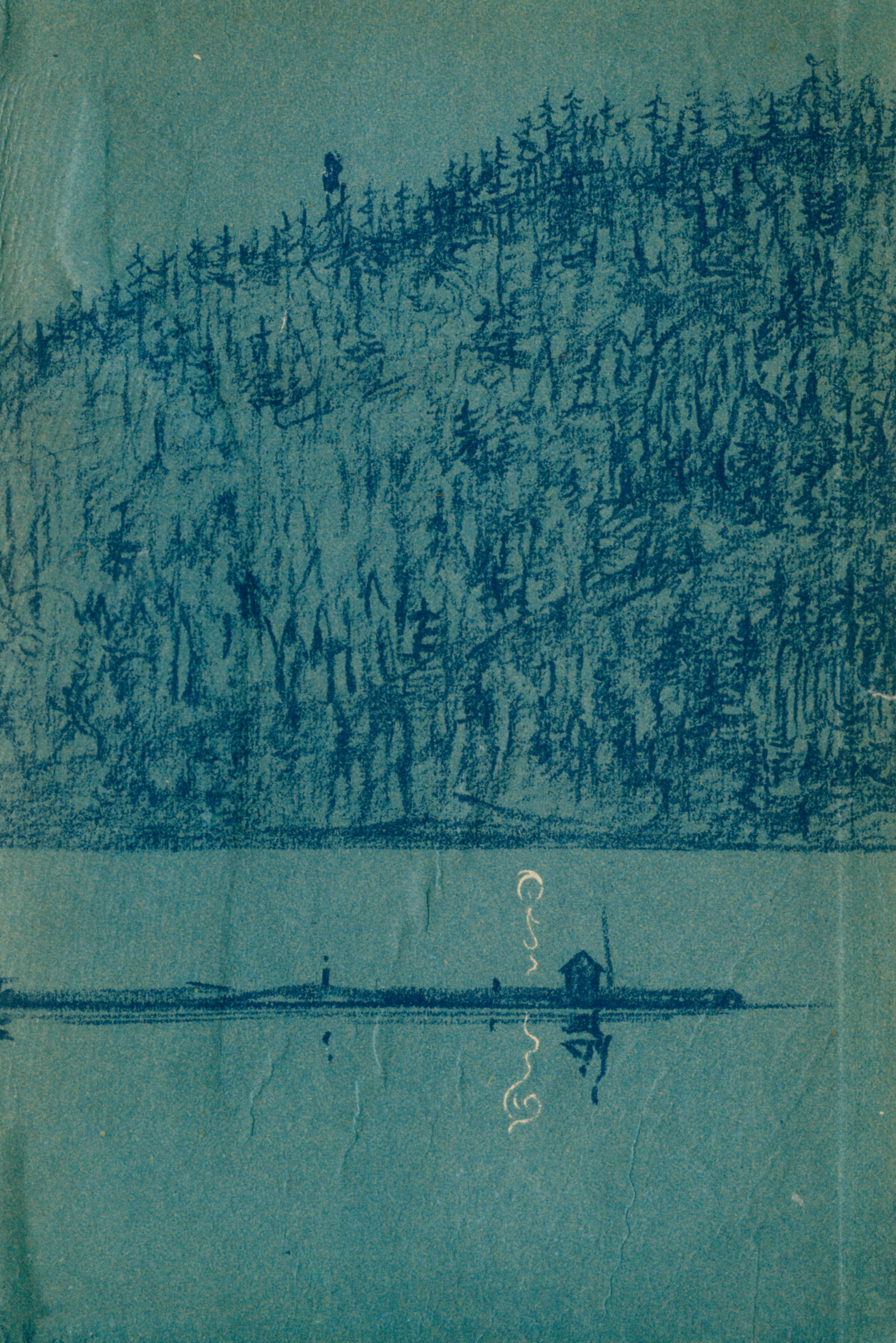
Снова недоросль... Ни швец, ни в дуду игрец...

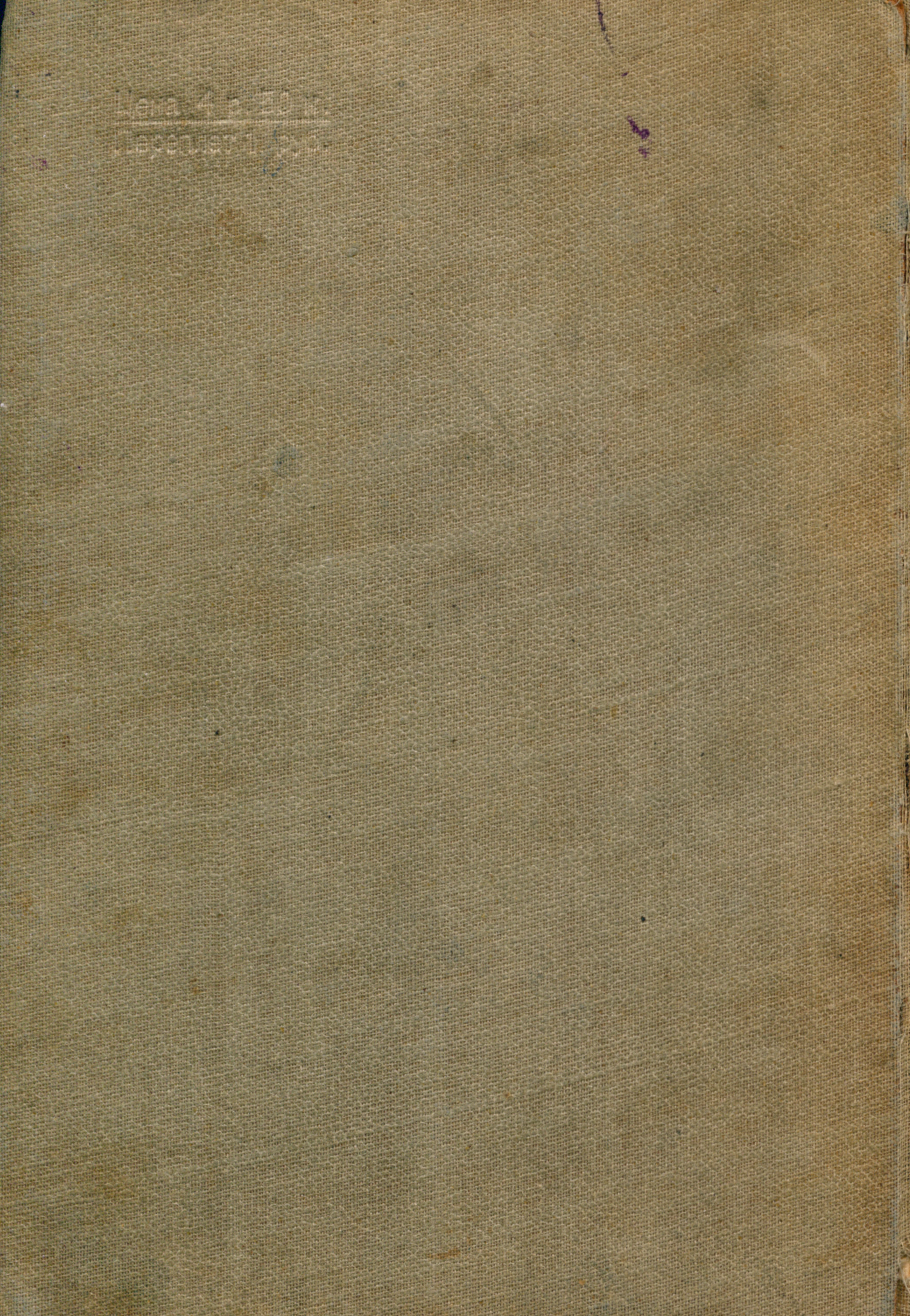
Проклятые, унылые годы!

Москва, 1933

ОГЛАВЛЕНИЕ






Цена 4 р. 20 к.